

**ВРЕМЯ  
И МЫ** 137  
1997



**БОРИС НОСИК  
ТРОЙКА, СЕМЕРКА, ТУЗ  
МАЯКОВСКИЙ В ПАРИЖЕ**

# ВРЕМЯ и МЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ЖУРНАЛ  
ЛИТЕРАТУРЫ  
И ОБЩЕСТВЕННЫХ  
ПРОБЛЕМ

*ДВАДЦАТЬ ТРЕТИЙ ГОД ИЗДАНИЯ*

выходит один раз  
в три месяца

137  
1997

НЬЮ-ЙОРК - МОСКВА - ИЕРУСАЛИМ  
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ И МЫ» - 1997

## **ИЗДАТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН**

### РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

ЛЕВ АННИНСКИЙ	ГРИГОРИЙ ПОЛЯК
ВАГРИЧ БАХЧАНЯН	ЛЕВ НАВРОЗОВ
ЮРИЙ БРЕГЕЛЬ	ВОЛЬФГАНГ ЗЕЕВ РУБИНЗОН
ДЖОН ГЛЭД	ИЛЬЯ СУСЛОВ
ВЛАДИМИР ДОБИН	МОРИС ФРИДБЕРГ
ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ	ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНТОХ
ЛЕОНИД ЖУХОВИЦКИЙ	ЭДУАРД ШТЕЙН
ЕФИМ ПИЩАНСКИЙ	ЕФИМ ЭТКИНД ( <i>зам. гл. редактора</i> )
ЯСЕН ЗАСУРСКИЙ	

Главная редакция журнала "Время и мы"  
409 Highwood Ave, Leonia,  
New Jersey 07605, USA  
Тел.: (201) 592-61-55  
Факс: (201) 592-69-58

Московский центр журнала "Время и мы"  
Заведующий центром Лев Аннинский  
Адрес центра: 117415 Москва,  
ул. Удальцова, 16/19.  
Тел.: 131-62-45

Израильское отделение журнала "Время и мы"  
Заведующий отделением Владимир Добин  
Адрес отделения: Ha-avot Street 20-6,  
Richon Le-Zion, 75323 ISRAEL  
Tel.: 03-976-42

Французское отделение журнала "Время и мы"  
Заведующий отделением Ефим Эткинд  
Адрес отделения: Residence Lorilleux  
Esc.U. appt 929, 15 Allee Henri Sellier,  
92800 PUTEAUX, FRANCE

## СОДЕРЖАНИЕ

### ПРОЗА

*Борис ХАЗАНОВ*  
Далекое зрелище лесов.....5  
*Юрий КУВАЛДИН*  
Титулярный советник.....85

### ПОЭЗИЯ

*Ирина МАШИНСКАЯ*  
До свиданья, мой друг.....117  
*Леонид БУЛАНОВ*  
Глагол в любом числе и роде.....125

### ПУБЛИЦИСТИКА

*Лев АННИНСКИЙ*  
Слово — при смерти. Кто тебя услышит?.....131

### ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

*Марк ХОЛМ ЯНСКИЙ*  
Немного о загадочной жизни советских людей.....142

### ПОЛЕМИКА

*Евгений МАНИН*  
Этюд о Жаботинском.....156  
*Ефим МАНЕВИЧ*  
Измышления в жанре этюда.....171

### ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

*Борис НОСИК*  
Русские тайны Парижа.....186

### НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

*Антонин ЛАДИНСКИЙ*  
Страницы воспоминаний.....241

### В КОНЦЕ НОМЕРА

*Виктор ПЕРЕЛЬМАН*  
«Время и мы» и его читатели.....257

### ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

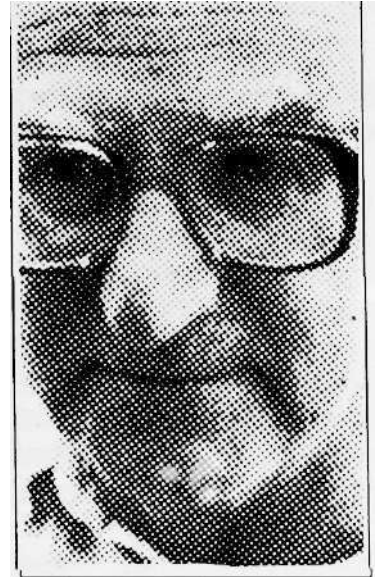
*Владимир МЕЛЬНИКОВ*  
Нас нельзя было считать троцкистами.....276

### ВЕРНИСАЖ «ВРЕМЯ И МЫ»

*В. ПЕТРОВСКИЙ*  
Один час в зале театра Кабуки.....279

ПРОЗА

---



*Борис ХАЗАНОВ*

## **ДАЛЕКОЕ ЗРЕЛИЩЕ ЛЕСОВ**

Роман

**Часть первая**

I.

Не так уж далеко пришлось ехать, но когда свернули с шоссе, стало ясно, что и к обеду не удастся добраться до места. К четырем стихиям классической древности следовало бы добавить пятую — грязь. Чтобы облегчить экипаж, пассажир вылез и хлюпал рядом по топкому лугу, между тем как водитель, плохо различимый за мутным стеклом, героически вращал баранку, качаясь и сотрясаясь в ревущей машине, и как-то даже не прямо, а косо продвигался по чудовищному проселку.

Прибыли в пятом часу. В кепке и брезентовом армяке, в резиновых сапогах, путешественник напоминал сельского чиновника: бухгалтера, заготовителя или агронома. Как свидетельствует исторический опыт, администрация долговечней тех, кто является объектом администриро-

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции

© "Время и мы"  
ISSN 0737-7061

OCR и вычитка Давид титиевский  
Библиотека Александра Белоусенко

вания, и в принципе нетрудно представить себе колхоз без колхозников.

Путешественник взошел на крыльцо, попробовал оторвать от двери приколоченную наискось доску. Дом был куплен за бесценок у родственницы бывших хозяев. Без формальностей; я тебе деньги, ты мне ключ. Дом, в сущности, не принадлежал никому. Водитель вытащил из багажника ломик, отодрали доску, отомкнули скрежещущий замок. В полутемных сенях справа находился чулан и вход в сарай. Слева низкая забухшая дверь вела в избу. Глазам приезжего предстала отгороженная печью от жилой половины кухня, в углу на табуретке стояла бочка с зацветшей водой, плавал ковш; висела полка с посудой; на плите, под закопченным печным сводом, стояли чугуны, жестяной чайник; из печурки торчал ухват. Здесь было все необходимое для жизни, лишь сама жизнь исчезла. Низкое окошко, затянутое паутиной, смотрело в огород.

Что касается собственно жилья, то оно представляло собой сумрачную, довольно просторную комнату, лавок не было, дощатый стол был придвинут к одному из двух окон, деревянная кровать завалена тряпьем, в углу полка, где когда-то стояли иконы, к потолку привинчены крюки. На стене обрывки плакатов и часы-ходики. Приезжий толкнул маятник. Маятник покачался и стал. Он попробовал подтянуть гири, цепочка с гирей оборвалась, упали на пол ржавые стрелки. Он приладил их кое-как. Тем временем шофер сорвал доски, прибитые снаружи к наличникам, распахнул ветхие ставни, в горнице стало светлей. На численнике, как называли здесь отрывной календарь, стояла старинная дата: возможно, день смерти.

И, собственно, больше ничего не было известно о хозяйке; родственница, давно жившая в городе, позабыла степень родства и не знала, сколько лет было старухе, которая доживала здесь свои дни, да кажется, здесь и родилась. Или пришла из заречной деревни, робкая, круглолицая, восемнадцати лет переступила впервые этот порог. Приезжий, как был, в армяке и заляпанных

сапогах, уселся на табуретку. В окна ненадолго заглянуло выбравшееся из-за туч солнце. Он оглянулся: часы стучали, как ни в чем не бывало, часы шли, под окном журчал дождь, сыпал снег, река вздувалась, поднялись над почернелыми лугами ледяные, желтые от навоза дороги, земля расступилась, вода сошла, земля подсохла и оделась травой. Одна беременность следовала за другой, с крюков свисали на веревках люльки. Лил дождь. Воды вышли из берегов. Сидя посреди избы, как на камне, приезжий окунал ноги в холодный поток; он не старался вообразить, кто здесь жил, зачинал детей, что происходило, а скорее созерцал свое изображение и вспоминал то, чему никогда не был свидетелем. Река несла прочь обломки жизни, предметы, лица. Все плыло и уносилось, и постепенно воды очистились и засверкали на солнце, это была чистая и свободная от воспоминаний стихия памяти.

Снаружи урчал мотор. Путешественник вышел. Водитель хлопнул капотом машины. Водитель был двоюродный брат приезжего и номинальный владелец дома. Куда ты торопишься, перекусим, сказал приезжий. Может, останешься на ночь? Нет, отвечал брат, я поеду через Ольховку; дальше, зато по грунтовой дороге. Он внес в избу корзину с провиантом. Приезжий из города тащил следом свой чемодан и плетеную бутылку с керосином. Они обнялись, словно капитан и моряк, которому предстояло жить на необитаемом острове.

## II.

С тех пор, как бессмысленность моего образа жизни стала для меня очевидной, я понял, что не могу продолжать свое существование, не исполнив того, что предстало передо мной сначала издали и в тумане, затем все ближе и все настойчивей.

Если я упоминаю о моих прежних занятиях, то лишь для того, чтобы подчеркнуть, что с прошлым покончено. Прошлое — и в этом, быть может, состояло его единственное оправдание — было не чем иным, как бессозна-

тельным приуготовлением к труду, ради которого мне понадобилось сломать привычную жизнь. Я вправе назвать этот труд моим *Magisterium magnum*. Нижеследующее докажет, что я не зря изъясняюсь столь выпрненным языком, недаром употребляю этот алхимический термин: да, мне предстоял особого рода подвиг наподобие тех, к которым готовились, изнуряя себя постом и укрепляясь молитвой, посреди перегонных аппаратов, плавающих печей и реторт. У меня, разумеется, не было реторт, у меня была чернильница. Дабы совершить задуманное, я должен был погрузиться в одиночество и тишину, короче говоря, я должен был уехать.

В сумерках я вышел на крыльцо, погода разведрилась, надо мной блистало огромное синее и серебряное небо. Дом стоял на краю деревни или того, что осталось от деревни. Соседняя завалившаяся изба, очевидно, была давно уже брошена, дальше вдоль улицы, если можно было назвать ее улицей, темнело несколько строений. Справа за околицей дорога, по которой мы прибыли, спускалась с бугра, и низко над ним сияла Венера. Стояла тишина, какой я в жизни не слыхивал.

Впереди за дорогой расстилалась пустошь. Я знал, что дальше за пустошью должна быть речка, но не мог в полутьме отличить прибрежные заросли от далеких лесов на темном горизонте. Внезапно что-то пронеслось с легким присвистом, метнулось вровень со мной в темно-блестящих, как слюда, окнах моего жилья, что-то вздохнуло и слабо вскрикнуло вдали. Не могу сказать, сколько времени просидел я на ветхих ступеньках моей хижины, очарованный тишью померкших небес. В комнате было так темно, что я вошел, простирая руки, как слепой, затем во мраке проступили окна, на стене белел календарь, и чье-то тело покоилось на кровати. Ибо на самом деле я уже лежал, словно умерший, накрытый ватным одеялом, умерший для самого себя — того, прежнего, в моей бывшей жизни. И, повернувшись на бок, я закутался в ветхое тряпье и уснул.

Прошло совсем немного времени, с этим ощущением я пробудился. Но было уже светло. День стоял в низких

окнах сумрачного жилища. Человек, ныне пишущий эти строки, с трудом себя узнающий, как змея, сбросившая кожу, — я и не совсем я — прошлепал босиком в сени, мучительно зевая, вышел на крыльцо, — солнце пылало за домом, на клочковатой траве перед избой, на изрытой, подсыхающей дороге лежала угластая тень. В майке, с полотенцем через плечо, словно дачник, в башмаках на босу ногу новосел пробирался по влажной тропинке среди путаницы побегов: пустошь, затянутая ползучим сорняком, в синих искрах росы, была колхозным огородом. Поле было обширнее, чем казалось, глядя с крыльца, как будто тени удлиннили его, кое-где глинистая почва обнажилась, попадались кустики свеклы, под конец тропинка пропала в густой траве. И когда, стуча зубами от холода, шурша мокрыми брюками, я выбрался из зарослей и увидел внизу нечто вспыхивающее огнями, зыбкое и ослепительное, то засмеялся от счастья.

Окунувшись в ледяную воду, я тотчас потерял дно под ногами; речка была неширокая, мутная, течение сносило пловца. С некоторым усилием я приблизился к противоположному берегу, почувствовал под ногами топкое дно и, размахивая руками, в темной медленной воде между ветвями ивы добрался до подмытого рекой берега. За деревьями расстилался солнечный луг. Я дрожал от озноба, мне было необыкновенно весело, голый, как дикарь, я прыгал и бегал взад-вперед по лугу, хлопал себя по бокам, испуская нечленораздельные звуки. Я шел вдоль обрывистого берега, высматривая свою одежду на другой стороне; течение отнесло меня довольно далеко. Река сделалась уже, темней, я давно прошел место, где бросился в воду. Солнце согрело меня. Я приблизился к роще. Первопроходец вошел в лес. Поток перегородило упавшее дерево, снизу за него уцепились растения, и блескучая вода неустанно расчесывала зеленые пряди.

Я вернулся и вскоре увидел на другом берегу, на песке свое полотенце. Надо было поторапливаться; немного спустя я шагал по огородному полю; отсюда была видна вся деревня.

## III.

Следовало немного убраться в избе, я отложил это скучное занятие на другое время. Я и так уже потерял много времени. Вместе с тем я заметил, что день еле движется. Было все еще раннее утро.

Обыкновенно я начинаю работу с того, что пишу, не заботясь о стиле, как Бог на душу положит; стараюсь лишь следовать ходу своих мыслей, хотя, по правде говоря, неизвестно, что от чего зависит. Некоторые представляют себе дело так, что сперва в голове у писателя рождается что-то такое, сюжет или «замысел», а потом он садится за стол, но я-то знаю, что никакого сюжета у меня в голове нет, а просто я надеюсь, что процесс писания разбудит мысль. Старомодно-выспреннее выражение «взяться за перо» в моем случае означает то же, что рвануть рукоятку завода, потому что сам собой мотор не заводится. Я чувствую отвращение и страх, чуть ли не ужас перед чистым листом бумаги, похожий на ужас, который испытываешь на краю глубокой ямы, мне кажется, что я забыл все слова, мною владеет суеверие, я думаю лишь о том, чтобы заполнить эту пустоту, забросать яму — неважно чем.

Я заранее знаю, что почти все, что я нацарапаю на этом листе, — я пишу только пером, — никуда не годится и будет порвано в клочки, вышвырнуто в корзину, словно в помойное ведро, с бранью и улюлюканьем; да, мне случалось и топтать ногами мое детище, и осыпать вслух непристойнейшими ругательствами; и все же я знаю, эти мелкие строчки (как все близорукие люди, я пишу скверным почерком) будут для меня утешением, доказательством, что я что-то сделал; ибо я ненавижу приниматься за дело.

Из сказанного видно, что было время, когда я относился к своей литературе всерьез. Мною написано несколько повестей и три романа, из которых, правда, ни один не удостоился быть напечатанным. Обычная история: редакции либо ничего не отвечают, либо ссылаются на переполненный портфель; если же я набирался отваги

навестить самому этих господ, то обыкновенно выслушивал кислые комплименты, человек листал рукопись, говорил, что он в общем-то «за», из чего следовало, что кто-то другой был против. Если бы вы согласились, говорил он, кое-что сократить, я, например, нахожу вступительную часть излишней.

Потеряв терпение, я как-то раз возразил, что Флоберу один приятель предлагал выкинуть всю первую часть его романа, вплоть до свадьбы Эммы с доктором Бовари; редактор скучно поглядел на меня и спросил: в самом деле?

Любопытно, что в этих переговорах никогда не вставал вопрос об идеологической неполноценности моих творений. Редакционные чины делали вид — возможно, старались убедить самих себя, — что действуют исключительно из эстетических соображений, или, как выразился кто-то из них, «в ваших же интересах». Находили ли они в моем творчестве явный идейный изъян, оставалось неясным; впрочем, это малоинтересная тема.

Итак... я уселся за стол, тень перед домом приблизилась к завалинке. И часы, несмотря на то, что маятник по-прежнему висел неподвижно, обнаружили косвенные следы жизни: лишь теперь я заметил, что стрелки часов за ночь каким-то образом передвинулись.

Я ждал — можно было бы сказать: ждал вдохновения. Но по крайней мере в моем случае — а теперь в особенности — этот термин был неуместен. То, о чем идет речь, не имело ничего общего с литературными упражнениями. Полный решимости взяться за труд, в торжественном ожидании, я сидел над девственно-белым листом бумаги. Мысли переполняли меня, и оттого, быть может, я не знал, с чего начать. Я встал — лучше сказать, мое тело поднялось и вышло через сени в огород. Там рос бурьян, и, собственно, никакого огорода давно уже не было. У задней стены дома под куском толя сложена была поленница, серые и обросшие мхом, отличные дрова, — я мог готовить себе пищу на плите. Сколько времени я собирался прожить в деревне? Это, как говорится, зависело. Но, как я уже имел случай отметить, время текло здесь

иначе. Мы говорим: «течет», другими словами, обладает известной скоростью, однако время само по себе — детерминант скорости; отсюда приходится заключить, что скорость движения времени есть не что иное, как отношение времени к какому-то другому времени. К какому же? К моему собственному.

Существуют, следовательно, два времени. Существует всеобщее, неподвижно-плывущее, подобное мертвой рыби, одно и то же для человека и камня и, в сущности, нереальное: время вообще, И другое, тайное, подлинное, присущее только мне. Надо было поселиться в заброшенном доме и увидеть на стене часы с умершим маятником, чтобы осознать мнимость внешнего времени. Вслушаться, уловить в тишине, как струится другое время... Такие соображения показались мне очень оригинальными, я подумал, почему бы с этого не начать? Как вдруг что-то донеслось с улицы, смешав мои мысли. Внешний мир вторгся в мое одиночество. Робинзон услышал плеск пиратских весел, рокот сторожевого катера.

Из-за плетня я наблюдал за тем, как через бугор перевалило страшилище. Гигантский облепленный грязью механизм на платформе с восемью парами колес, с мучительным ревом, выбрасывая облака ядовитого дыма из двух выхлопных труб, двигался по разбитой дороге, — куда? зачем?

Машина остановилась. Водитель в засаленной кепке, с лицом, почернелым от грязного пота, что-то кричал со своего сиденья, может быть, спрашивал дорогу; ничего не было слышно из-за тарахтенья мотора. На всякий случай я помотал головой. Он крикнул что-то, я развел руками. Водитель сплюнул, покрутил пальцем около лба и схватился за руль.

Грохот постепенно слабел, заблудившийся монстр ехал по деревне. Вернувшись к себе, приезжий окунул перо в чернильницу и начертал на первой странице, в правом верхнем углу эпиграф. Прекрасные старые стихи умершего добрых сто пятьдесят лет назад немецкого классика. Эпиграф заключал в себе двойной умысел: тонко намекал на мой замысел и вместе с тем обязывал пишущего волей

неволей подстраиваться к своему торжественно-мерному ладу. После чего я проставил, как в дневнике, число и месяц. Дата вынуждала к продолжению.

С пером наготове я впери́л взор в пространство, и понемногу во тьме моего мозга проступило мое собственное изображение: так смотрит из омота сквозь толщу воды призрачно-белый лик утопленника.

Я подумал о том, что задача моя ни в коей мере не сводится к тому, чтобы сгрести в кучу щебень воспоминаний, к описи старого хлама; это был бы лишь первый шаг. Автобиография — почтенный жанр, есть заслуживающие внимания образцы, но то, что я должен был совершить, никогда и никем, быть может, не предпринималось. Пишущий историю своей жизни, как и вообще человеческую историю, обыкновенно старается не думать, что было потом; ему кажется, что подлинность минувшего от этого пострадает. Мне же предстояло прошагать заново весь мой путь, но уже не вслепую; я знал, куда он ведет; весь путь был известен заранее, словно передо мной лежала географическая карта моей жизни, я видел каждый изгиб дороги и каждый поворот, видел земли, через которые он пролегал, и должен был продумать все упущенные возможности, подвести итоги, свести счеты. И хотя я вовсе не собирался возвращаться к «литературе», еще менее предназначал мое сочинение для читателей, мысль о том, что я создам парадигму человеческой жизни, так сказать, Автобиографию человечества на примере одной единственной, не ускользнула от меня, мысль эта маячила на горизонте сознания. Я убеждал себя, что не это — главное.

Главное было понять, в чем состоял смысл моей жизни, понять, что это значит: смысл жизни. Обозреть хаотическое прошлое — не значило ли это обнаружить в нем скрытую логику, тайную принудительность, о которой мы не догадываемся, пока живем? План, которому мы следуем, но о котором нам ничего не известно. Другими словами, я должен был сам внести в мою жизнь смысл — и, может быть, на этом ее и закончить. Я понимал, что имею дело с процедурой, напоминающей обмывание и одевание покойника перед тем, как уложить его в гроб.

## IV.

Может статься, что и живем-то мы в конце концов ради того, чтобы отдать себе отчет в прожитой жизни, увидеть ее во всем ее стыде и позоре, — и тогда, быть может, честное разбирательство покажет, что она была все-таки не такой уж постыдной, дрянной и никчемной. Это была работа на долгие месяцы, если не на годы. Я не собирался приукрашивать свое прошлое — вот уж нет! Я должен был тщательно припомнить обстоятельства моего детства, прежде чем взяться за юность, должен был прочесть юность, прежде чем перейти к дальнейшему. Не говорю — к зрелым годам, ибо юность сменилась деградацией. Да, я был обязан прошпионить за самим собой во всех закоулках и темных углах, проследить во всех подробностях, как рождалось, и металось, и постепенно гнуснело мое «ненавистное Я», *le Moi haïssable*, как говорит Паскаль. Это была долгая работа, но, как уже сказано, с одним чрезвычайно выигрышным условием: я знал, что будет дальше, чем все кончится, и мог перелистать свою жизнь от начала до конца и с конца до начала. И это знание давало мне в руки изумительный инструмент прозрения. Не есть ли это высший закон писательства?

Я смотрел на дверь, постепенно до моего сознания дошло, что кто-то пытается ко мне войти. Положительно день был неудачный для работы. Только было начал я разбираться в своих мыслях, ловить, как рыбу в воде, мелькавшую передо мной первую фразу, как меня вновь отвлекли.

Произошло это в ту минуту, когда, уже готовый приступить за писание, я вдруг передумал, мне пришло в голову, что предварительно следовало бы изложить то, что известно о моем происхождении. Тут исходная информация была крайне скудной; я мог кое-что рассказать о моих родителях, но уже предыдущее поколение было погружено в тень. Простая мысль подсказала мне решение: не зная ничего или почти ничего о прародителях, я мог бы реконструировать их из материала, который был в моем распоряжении. Проследить постоянные чер-

ты моего характера, те, что обнаружились с раннего детства и остались на всю мою жизнь. Это и было то, что подарили мне мои предки, это были бы их черты. Предки толпятся за нашими плечами; мы — их совокупный портрет.

Я попытался представить себя четырехлетним, трехлетним; попробовал увидеть себя со стороны. И тут опять едва слышный звук заставил меня поднять глаза от тетради. Кто-то шарил и дергал в сенях дверную скобу. Дверь толкали задом, что было совершенно бесполезно, так как она открывалась наружу. Я встал и отворил. Снизу вверх на меня глядел карлик. Точнее, ребенок лет четырех.

Моя фантазия реализовалась так неожиданно и буквально, что в первую минуту я принял его за себя самого. Почему бы и нет, — в этой заколдованной деревне все было возможно. На мне — ибо это был я — была рубашонка, из которой я успел вырасти, на голом животе штаны, доходившие до колен, мои загорелые, детские, исцарапанные ноги были в башмаках без шнурков; это был я, хоть и не совсем такой, каким я мог себя вспомнить. Я вернулся к столу. Мы устали друг на друга, мы были одно и то же лицо, о нас можно было сказать, как гласит известная эпитафия: *tu eram ego eris*, я был тобой, ты будешь мною.

Наконец, я спросил: «Ты откуда взялся?» Ребенок все так же молча, открыв рот, стоял у порога. «Тебя как зовут?» Он молчал, пялил на меня глаза, и я снова спросил, как он здесь очутился. «Мамка послала», — сказал он. Мы сошли с крыльца, мальчик вел меня мимо заколоченных изб и заросших бурьяном участков, печных труб, торчавших кое-где на месте бывших домов. Чье-то морщинистое лицо следило за нами из уцелевшей хибыры. Так прошли мы почти всю деревню и оказались перед железной свежeverкрашенной крышей, с крепкими воротами под навесом, с деревянным кружевом вдоль скатов, с узорными, веселенькими, как голубой ситец, наличниками вокруг окон. Крылечко с резными столбиками, железная скоба для ног.

«Ты здесь живешь?»

«Не», — покачал головой мальчик-посланец, который при своем маленьком росте был все же старше, чем показалось.

На крыльцо вышла опрятно одетая женщина.

«Это и есть твоя мамка?»

«Да нет, это он меня так зовет, — промолвила хозяйка, и мальчик побежал прочь. — Он вон там живет, с бабкой. Да вы заходите...»

Я взошел в некоторой нерешительности на крыльцо.

«Милости просим. Заходите. Надолго к нам?»

На кухне стояли крынки, пол устлан половиками. Мы познакомились, я назвал себя. «А меня Мавра Глебовна», — сказала хозяйка. Она подняла крышку в полу на кухне и полезла в погреб. Я возвратился домой, неся холодную крынку с молоком. Она держала корову, муж работал в городе; под городом здесь подразумевался районный центр. И так, у меня оказались соседи, и я не знал, надо ли этому радоваться.

После обеда я собрал на своем ложе ветхое тряпье, засунул в мешок и вынес в сарай. Теперь у меня была приличная кровать, белье, которое я привез с собой. Я подумывал о том, чтобы повесить занавески на окна.

В полудреме я видел сверкающую речку, прибрежные кусты, и, как это бывает, когда засыпаешь, время от времени ловил себя на том, что мои мысли принимают причудливый оборот; я следил за ними, как бы отделившись от самого себя. Мне хотелось захватить их, как хватают за руку непослушного ребенка, в тот самый миг, когда они начинают ускользать от моего контроля, и тотчас же я подумал: причем тут ребенок? Малыш, стоявший на пороге, припомнился мне... может быть, это был уже сон. Медленно, с наслаждением я повернулся на бок, подоткнул под себя одеяло, но довольно скоро мне стало жарко, я лежал на спине, усталости как не бывало; минутное забвение словно заменило мне ночь спокойного сна. В комнате было совсем светло, я снова подумал о занавесках. Одевшись, я вышел и сел на крыльцо; над рекой стояла туманная луна, значит, время было уже

близко к полночи. Оглушительно трещали кузнечики. Луна лишила меня сна. Ну и что? Завтра буду спать до полудня. Какая мне разница, я вольная птица, мне не надо смотреть на часы. Я мог превратить ночь в день, а день в ночь. Эта мысль привела меня в восхищение. Наконец-то я был свободен — от обязанностей, от рутины дня, от телефонных звонков, от женщин, приятелей, добрых знакомых, свободен от необходимости куда-то идти, что-то оформлять, где-то числиться, свободен от государства и мертвого времени народов. Робинзон! Робинзон на клочке земли посреди океана! Мне даже не пришлось пускаться в дальнее плавание. Не так уж далеко пришлось ехать, стоило просто свернуть с шоссе. Достаточно было, набрав побольше воздуха в легкие, нырнуть на дно заводи. Я почувствовал, — так мне, по крайней мере, казалось, — что подбираюсь к какой-то важной истине.

Несколько времени погода я шел среди черных трав поддымной луной к реке, где мерцал желтый огонь. Ноги цеплялись за сорняки, я потерял тропинку, огонек исчезал и появлялся, моргал мне навстречу, деревья расступились, тусклая река, как ртуть, блестела внизу, за излучиной стояло слабое зарево, свет дрожал на воде, костер горел на другом берегу. Вокруг ходили черные фигуры людей. Не было слышно голосов. Можно было разглядеть смутно озаренные лица, темная фигура приблизилась с охапкой валежника, и костер угас, но через минуту взвился к небу, полетели снопы искр, лица людей, кузов грузовика — все озарилось красным светом. Женщина, сидя на разостланной телогрейке, с младенцем на коленях, вынула грудь из расстегнутой кофты. Мужик сгребал угли, готовились ужинать; сидели кружком, перебрасывали на ладонях картофелины. Люди, которых никто не видел и не увидит, неизвестные, неопознанные граждане, бежавшие откуда-то, куда-то переселявшиеся. В кузове помещался зеркальный шкаф, в котором играл огонь. Два человека развязывали узлы, сваленные у колес, должно быть, устраивались на ночлег.

Грузовик стоял с потушенными фарами. Костер едва

тлел, люди лежали, сбившись в темную массу, высоко в пустынном небе, окруженная влажным венцом, стояла маленькая луна, окрестность потонула в тумане. Стало сыро, зябко, должно быть, оставалось недолго до рассвета. Отворилась дверца грузовика, кто-то спрыгнул на землю. Голоногая женщина шла к воде. Она сошла, высоко подняв юбку, на узкую полосу песка, сбросила кофту, вышла из одежды, как бледный призрак с темным лицом, с сужающейся тенью в круглой чаше бедер, медленно водила ногой по воде, присела и со слабым плеском бросилась в воду. Течение отнесло ее в сторону. Она приближалась к берегу, взмахивая белыми руками, и вышла шагах в десяти от места, где я стоял. Вода стекала с ее плеч и бедер, как ртуть. Она собирала волосы на затылке. «Ах!» — сказала она вдруг и остановилась, как вкопанная. Я думаю, это был не столько страх нагой женщины, застигнутой врасплох, сколько страх за людей, которых выследил чужой и опасный человек. Она пятилась к воде. Я постарался скрыться. Я прислушался: на другом берегу плакал ребенок. Заурчал мотор. Впереди за деревней занималась заря.

## V.

Маленькие приключения здесь превращались в события. Зевая во весь рот, приезжий стоял в потоке света на крыльце своего дома. Каждому, кто приезжает в русскую деревню, кажется поначалу, что жизнь прекратилась. Но жизнь идет. Неясные звуки доносятся с другого конца деревни, слабая музыка: радио. Курится дымок из трубы. Ковыляет старуха. Жизнь продолжается, пробивается, словно проточная вода, чтобы снова уйти под землю; жизнь не умерла, а заглохла, как старый сад, и затянулась вьюном. Солнце в небе, такое же лучезарное, как вчера, высоко стояло над деревней, пустошью и рекой и также восстанет и будет стоять, истекая светом, завтра. Чего доброго, думал пришелец, придется ставить палочки карандашом на притолоке или делать зарубки по примеру островитянина, чтобы не потерять счет дней.

Некто Аркаша обитал по соседству в жилище, которому трудно было бы подыскать название: хибара, логово, развалюха? Осевшая дверь с трудом открывалась прямо в избу, внутри ничего кроме щелястых бревенчатых стен, печь обрушилась, завалив пол черными раскрошившимися кирпичами, в углах свалена рухлядь. Хозяин, в лоснящейся телогрейке, в старой шапке-ушанке, лежал на ложе из трех ящиков, застланных безобразным бесформенным тряпьем, и смотрел телевизор, который стоял на полу, к потолку тянулась проволока. Приезжий явился с дарами. Хозяин перевел взгляд с бормочущего экрана на посетителя, тот несмело осведомился, не может ли Аркаша соорудить ему душ.

«Чего?» — спросил Аркаша.

«Душ».

«А чего это?»

Местоимение «чего», как известно, может означать и что, и почему; из вопроса Аркаши невозможно было понять, спрашивает ли он, что это такое, или хочет узнать, зачем это понадобилось.

«А, — проговорил он, — так бы сразу и сказал». На другой день он притащил бак, трубы, доски, добыл железную печурку. Подъехала телега с тяжелой ржавой ванной. В огороде был воздвигнут сарайчик. На полу лежала деревянная решетка. Над ванной — два крана и длинная трубка с лейкой, которую можно было поворачивать, поднимать и опускать.

К делу! За стол... Попытки взяться за труд, созревший, как плод в чреве, и просившийся наружу, — оставалось только дать ему выход, — попытки эти натолкнулись на неожиданное препятствие; мне нелегко объяснить, в чем оно собственно состояло. Язык может быть помехой для речи, как ноги, по пословице, мешают танцевать. Я сидел у окна, перед глазами расстилалась зеленая пустошь. Я писал и зачеркивал начатое, не успевал закончить фразу, как она увядала и падала, словно высушенное растение. К полудню я сидел перед страницей, покрытой сверху донизу начатыми и брошенными строчками. Зачеркивание приняло какой-то извращенный характер,

превратилось в постыдно-увлекательное занятие: не довольствуясь вымарыванием строк, я покрывал их густой сеткой линий; кончилось тем, что я обвел рамкой и старательно заштриховал всю страницу.

Расхаживая взад и вперед по избе, я разглядывал стены и вещи до тех пор, пока меня не осенило, ведь мой мозг продолжал работать, из строя вышел лишь механизм, который превращал поток мыслей в письменную речь; я подумал: а что если пренебречь этим механизмом, забыть о правилах последовательного рассказа, о логике изложения, вообще забыть о том, что я должен что-то «излагать», — одним словом: сбросить вериги словесности!

Раз навсегда избавиться от надзирателя, приставленного к нам, от контролирующего «я». Пораженный своим открытием, я остановился. Я попробовал исподтишка следить за собственной мыслью: предоставленная самой себе, она, как ручеек, устремлялась в каждую выбоину, то и дело меняя направление; она перескакивала с одного на другое и откликалась буквально на все; я взглянул на кровать и вскользь подумал о моей жене, перевел глаза на часы, на старый численник — и тотчас моя мысль устремилась вслед за словом «времяисчисление», я стал думать о календаре, мне представился Египет, от Египта я перескочил на почтовые марки, вспомнил детскую коллекцию, мебель в нашей комнате, переулочек и латвийское посольство, мимо которого я ходил в школу. Тут я спохватился, что думаю о постороннем, и стал сворачивать ленту с конца: посольство — квартира моего детства — марки — календарь... Одновременно я думал и о другом, и о третьем, мысль моя цеплялась за все, что попадалось по дороге, и вместе с тем, вопреки хаосу и кажущемуся разброду, без моего вмешательства, в ней самой было внутреннее упорядочивающее начало. Отнюдь не логика, нет. Я уловил этот принцип, это организующее начало, когда попробовал вспомнить, о чем я думал только что, о чем думал перед этим и перед тем, как думал перед этим: моя мысль не была клочковатой, не рассыпалась, но каким-то образом сохраняла

цельность; организатором было не что иное, как время, не имевшее, однако, ничего общего с тем, что обычно называют временем, — время моей мысли или, лучше сказать, время, которое и было моей мыслью.

Но я должен был оставаться начеку. Неусыпный страж — мое «я» — уже погромыхивал ключами от камеры, и стало ясно: то, что я пытался сейчас осознать, мои старания сформулировать фундаментальное свойство моей мысли, были сами по себе не чем иным, как вмешательством контрольной инстанции. Это было как наваждение, я бегал по комнате, точно в карцере моего сознания, и за мной неотступно следовал, находил меня во всех углах взгляд надзирателя, наблюдавшего за мной сквозь тюремный глазок. И все же моя победа была в том, что я отдал себе отчет в существовании контроля, я сам следил за своим соглядатаем!

Вывод был следующий: существовало и постоянно присутствовало контрольное «я», назовем его оковами языка, назовем его письменной речью; но существовало и нечто другое — непрерывно ткущая себя мысль, эту мысль я должен был поймать налету. Я уселся и торопливо стал писать о чем попало, едва успевая заносить на бумагу то, что приходило в голову, не заботясь ни о «стиле», ни даже о том, чтобы заканчивать предложения; надзиратель сердился и напоминал мне о синтаксисе; чтобы легче было писать, я выдрал из тетради десяток листов, я спешил, и чем быстрее двигалась моя рука, тем стремительнее неслась вперед моя мысль. Это напоминало погоню за тенью. Я остановился. За полчаса я испещрил ворох двойных листов своими записями, я написал столько, сколько не удавалось мне сочинить за неделю.

Я изобрел велосипед. Должно быть, каждый изобретает его в свое время. И я подозреваю, что истинный резон автоматического письма в духе какого-нибудь Бретона — не в том, что оно будто бы настигает некое первичное состояние нашего сознания. Нет, причина — страх перед пустыней чистого листа. Я собрал ворох исписанной бумаги, с удовлетворением глядя на свою работу. Это

продолжалось недолго. Как всякий, кто занимается литературой, я обзавелся корзиной. И вот я сидел и поглядывал на корзину, где, свернутые в трубку, покоились призраки моего мозга. Меня переполняло отвращение к самому себе.

Словно меня вырвало в корзину этой словесной кашей. Вместе с тем я испытывал облегчение. Сидя на ступеньках крыльца, я грелся на солнышке. День сиял невыносимой красотой и полнотой жизни, которая безмолвствует, погруженная в созерцание самой себя. Меня тянуло в луга. Душа моя жаждала покоя и ясности, жаждала языка и стиля, адекватного этой ясности. Как можно было об этом забыть? Всякое небрежение языком есть покушение на достоинство личности.

Нет! Ясность и простота. Сдержанность. Лаконизм. Сидя на крыльце, с тетрадью на коленях, я начертил:

«Я родился в понедельник 16 января 19... года в городе, который носит имя вождя революции. Я имел неосторожность родиться в день и час, когда Венера жестоко повреждена соседством Сатурна, в год, когда над старым континентом уже клубились облака войны...»

## VI.

Неплохое начало; и все же я задумался, не лучше ли мне начать с обстоятельств, предшествовавших моему рождению. Впрочем, и это был вопрос второстепенный. Я понял, что мои упражнения отвлекли меня от главной задачи.

Отчитаться перед самим собой, как если бы я предстал перед высшим судилищем, которому все известно. Стать одновременно судьей и подсудимым, злодеем и мстителем, да, отомстить себе и отомстить жизни, разведать все ее темные углы, где прячутся мерзкие ползучие существа. Пусть разбегутся во все стороны! Звучит эффектно. Можно сформулировать иначе. Я должен был вновь обрести себя. У меня было чувство, что я растерял, растратил свою личность.

Вот о чем следовало поразмыслить... Мое духовное

существо было расчленено, ядро моей личности было в трещинах. Семейная жизнь моя не удалась. Попросту говоря, у меня не было семьи. Во всяком случае, моя бывшая супруга сделала все от нее зависящее, чтобы наш ребенок, прелестная белокурая девочка забыла обо мне. Женщины, с которыми я поочередно был связан, разочаровались во мне одна за другой, и если случалось, что я первым прерывал отношения, то лишь потому, что чувствовал — ничего путного не получится, я не смогу ее удержать, лучше уйти первым. О моей «профессии» здесь уже говорилось. Религия никогда не была моим убежищем. Общественные идеалы, патриотизм? Я слышать не могу эти слова!

Считается, что в нашей стране человек прикован за руки и за ноги к государству: прописка, работа, военкомат, личное дело там, личное дело здесь, все эти цепи и цепи; надо где-то числиться, надо жить на одном месте и так далее. Всевозможные спецотделы, управления и целые министерства заняты учетом, сравнением, наблюдением, а между тем мне известно множество людей, которые успешно вегетируют в щелях нашего огромного государства, нигде не работают и непонятно на что живут. Людей, которых следует с точки зрения законов и инструкций считать правонарушителями и с которыми ничего не происходит, оттого ли, что нарушителей слишком много, или оттого, что так много инструкций. Да, считается, что человеку некуда бежать, а между тем не так уж далеко пришлось ехать, чтобы очутиться там, где я теперь жил или, лучше сказать, затаился, и деревня казалась мне именно такой щелью, и тяжелый каток государства, который разъезжал взад-вперед и утюжил все подряд, прокатывался над ней и, в сущности, ничего не мог с ней поделать.

В моей жизни был даже случай, когда я поступил в какой-то институт народного хозяйства, а именно, в очно-заочную аспирантуру, — так это называлось, — и начал корпеть над диссертацией, но скоро понял, что моя работа не стоит выеденного яйца. Я не стал ничего предпринимать, просто перестал появляться в институ-

те, перестал звонить моему научному руководителю, и, судя по всему, меня оставили в покое. Из этого незначительного эпизода я сделал важный практический вывод: назойливость государства пропорциональна назойливости просителя; имея дело с официальными инстанциями, разумней по возможности ничего не предпринимать; не надо увольняться, вас и так уволят, не надо «сниматься с учета», пройдет сколько-то времени, и вас снимут с учета автоматически, ваше имя завянет, и его вырвут из грядки; можно выбыть и никуда не прибыть, и вообще следует всюду, где только можно, считаться выбывшим.

Так обстояло дело с моей карьерой... Но не в том суть, что, оставив позади молодость, я никем не стал, а в том, что я больше не видел смысла своего существования; все прочее было следствием этого порой мигающего, как страшная догадка, порой ясного, как холодный свет, сознания. Отрешиться от всех побочных соображений, от тщеславия, от самолюбования, от мысли о читателе, — отстраниться от самого себя, — было для меня так же необходимо, как уехать, ни с кем не прощаясь. Теперь предстояло вести разговор с глазу на глаз с единственным собеседником — самим собою. Или, если угодно, вызвать его на поединок и хладнокровно смотреть, как ведет себя под дулом пистолета тот, другой...

Думая об этом, я решительно зачеркнул написанное и принялся писать заново, говоря о себе в третьем лице. Я начертал свое имя и проставил дату рождения, опустил астрологические сведения, которые показались мне смешными. В кратких выражениях мною были очерчены жилищные и социальные условия моих родителей. Простой грамматический прием, местоимение «он» вместо «я» разрешило все трудности. «Так началась его жизнь...» — написал я и остановился.

Проклятье литературного языка, коварство повествовательного процесса тотчас дали о себе знать, как будто меня поймали с поличным. Глаголы рассказывали, прилагательные описывали, существительные называли. Сам того не замечая, я раздвоился на повествователя и литературный персонаж, но ни тот, ни другой уже не были

мною. Я описывал воображаемого себя, следуя правилам игры, которая, как всякая игра, помещала меня в условное пространство. В мир, называемый словесностью. Простая и обескураживающая истина: сама грамматика безличного повествования превращала меня в «автора», чья объективность была все тем старым, банальным, давным-давно разоблаченным трюком. Персонаж, о котором я наивно думал, что это и есть я, был подобен фантому, который вышел из зеркала, чтобы, склонившись над моим плечом, диктовать мне свои привычки, свои условия: якобы правду жизни. Какая там правда, — это были правила литературы.

Нет, я ничего не выдумывал, мой герой в самом деле родился в указанный срок у моих родителей; но и родители в свою очередь, едва только я упомянул о них, стали «действующими лицами», марионетками кукольного театра литературы. Я ощутил чудовищный деспотизм беллетристики, не жизнь, а литература диктовала моим персонажам свои правила и условности, управляла моим сознанием, как дворцовый этикет управляет придворными и самим монархом.

«Повествование», сказал я; а кто же повествователь? Во всяком случае, не тот, кто сидел на табуретке за столом и уныло поглядывал на деревенскую улицу. Ибо я уже не чувствовал себя самим собой. Другими словами, я был дальше от своей задачи и цели, чем до того, как раскрыл тетрадь; я стал «писателем», то есть перестал жить собственной жизнью, я погрузился в топкое месиво текста и бродил там безликой тенью, — слышалось только чавканье ног, которые я выдираю из трясины, чтобы снова увязнуть. Я стал условной фигурой, как бы несуществующей, но на самом деле моя анонимность, мое всезнание были не более, чем роль; в лучшем случае я был режиссером этого кукольного спектакля.

Солнце перевалило на другую сторону неба и светило в избу; давно пора было подумать о еде. Мне не оставалось ничего другого, как изложить на бумаге все эти соображения, проблематику моего писания. Увы! Она тоже превращалась в литературу, в пресловутую реф-

лексию, которая так же неизбежна в современном романе, как описания природы в романах девятнадцатого века.

## VII.

Собака скулила в избе. Спящий проснулся и сел. Собака стояла перед кроватью и смотрела на него, виляя хвостом. Он видел ее блестящие глаза. Путешественнику хотелось спать, он погладил ее и улегся, собака тянулась к нему, он лежал на спине, свесив руку, собака вспрыгнула на кровать и положила обе лапы ему на грудь. Очевидно, она была исполнена самых добрых чувств, но ему было жарко, душно, он старался ускользнуть от ее языка, крутил головой; кончилось тем, что спящий протрезвел окончательно. Всем известны эти промежуточные состояния, когда сон, отличаясь от действительности своей причудливой логикой, нисколько не уступает ей в других отношениях, или когда действительность все еще принимают за сон. В избе горел свет.

Некто в рубахе и портках сидел перед керосиновой лампой, поджав босые ноги под табуреткой. Перед ним на столе были разложены бумаги, он листал приходно-расходную книгу, время от времени его рука перебрасывала костяшки на счетах. У порога стояли его сапоги, портянки висели на голенищах. На гвозде у притолоки — брезентовый армяк и старая шляпа.

Услышав вопрос приезжего, мужик обернулся, он был лысый, лет под пятьдесят, в никелевых очках, черты лица трудно разобрать, он загораживал лампу. «Это я тебя хочу спросить, — сказал он, — что ты тут делаешь?»

«Живу», — сказал постоялец.

«Живешь. А по какому праву?»

«Да ни по какому». Приезжий объяснил, что дом принадлежит брату.

«Вот именно что ни по какому. Какой еще брат?»

Приезжий пожал плечами.

«Документ есть?» — спросил человек с ударением на «у».

«Какой документ?»

«Документ, говорю, на право-жительство».

Путешественник сказал, что он может показать паспорт.

«На кой ляд мне твой паспорт. Интересно получается, — сказал мужик, потирая колени, — законы у вас такие, что ль? Приезжают в чужой дом, живут, а ты у меня спросил, прежде чем вламываться-то? Разрешения спросил?»

Двоюродный брат, сказал жилец, купил избу у прежних владельцев.

«Купил; ишь покупатель нашелся. У каких это таких владельцев? Вот сейчас вышибу тебя отседа к едреней матери со всем твоим барахлом. У владельцев... Я владелец!»

Приезжий попросил не рыться в его бумагах.

«Не твое песье дело, — проворчал мужик, не оборачиваясь, — еще приказывать мне будет... Нет тут твоих бумаг... Во-от, оно самое, вот тебе и акт, пожалста: мною, уполномоченным... Чего? — спросил он. Сидящий на кровати ничего не ответил, мужик продолжал читать: — В присутствии представителя сельсовета и понятых... знаем этих гавриков. Вечно тут крутились, ети их... Мною, уполномоченным. Сего числа проведено обследование хозяйства гражданина деревни... района... Обследование гражданина. Меня, стало быть. Обнаружено... Чего тут обнаружено? Дом в двух избах под одной крышей, одна изба восемь на восемь средней сохранности, вторая один на восемь ветхая. Какая ж ветхая, чего они тут пишут? Еще сто лет простоит. Двор 20 x 12, средний...» — читал он.

Приезжий хотел спросить, где же тут вторая изба, или имеется в виду сарай? Пламя коптило, мужик подкрутил фитиль, пододвинул к себе лампу, поправил за ушами оглобли очков.

«Из скота: лошадь мерин гнедой масти, 20 лет плохая, жеребенок подросток 2 года, коров — одна 6 лет, вторая во дворе принадлежит гражданке Воиновой за отсутствием своего двора... Телка полтора года, поросенок весом 3 пуда, тэ-эк-с. Инвентарь... Косилка средняя двуконная, плуг деревянный однолемешный, телега на деревянном ходу с колесами. Одни часы с боем... Они тут висели: куды часы дел?»

«Никуда не дел, — сказал приезжий, — вон они висят».

«Два самовара. Один из них плохой. Семья состоит из следующих лиц... Вот, — сказал он. — Черным по белому прописано, а они что творят? Хозяйство было обложено в текущем налоговом году по сельхозналогу в инди... визуальном порядке на сумму 129 руб. 15 коп., за вымочку озимого посева сложено 15 руб.»

Путешественник спросил: что это значит?

«За вымочку, дожди шли два месяца. Все озимые вымокли. Вот, черным по белому. Настоящая комиссия относит хозяйство Громовых к группе середняцких. Ясно? Иль неясно?... Средняцких! — стукнул кулаком по столу. — А они чего делают? Я спрашиваю. Куды хозяйку мою дели? Детей куды развезли?»

Снаружи послышался чей-то голос. Мужик растворил окно.

«Ну чего тебе».

Голос из темноты что-то ответил.

«Подождешь».

Там снова что-то сказали.

«Подождешь, говорю; сейчас поедем... Вот так, — пробормотал ночной человек, наворачнул на босые ступни портянки и сунул ноги в заляпаные глиной сапоги. — Ты вот что, — сказал он. — Пока живи. Я разрешаю... Все лучше, чем дому-то пустовать. А то последнее добро растащут. Я, может, еще вернусь. Вот тогда поговорим. Я им еще покажу, кто тут хозяин. Нет такого закона, чтоб у человека дом отымать».

## VIII.

Как и в первый раз, Мавра Глебовна вышла навстречу приезжему, опрятная, круглолицая, широкобедрая, с малиновым румянцем; возраст? Если ей было под сорок, то она выглядела старше своих лет, для сорока пяти казалась слишком молодой. Мавра Глебовна была родом из округи, а здесь проживала лет семь или восемь, дом достался мужу от пожилой незамужней сестры. Хотели сначала продать, да кто ж его купит?

«Вот этот дом?» — спросил приезжий удивленно. Она усмехнулась. Этот купили бы; этот сами построили. А тот разобрали. «Да что ж мы стоим-то...» Вошли в дом.

За выбеленной печью находилась горница с образами в красном углу, в кружевных полотенцах, с подлампадниками на цепочках. Далее еще одна комната за занавеской, подвязанной шнуром. Там был виден стоящий боком зеркальный шкаф-шифоньер, в овале отражалась никелированная спинка кровати, белизна подушек и кружевной подзор. Муж Мавры Глебовны работал в районном центре. Гость сидел за столом в первой комнате, пил прохладное молоко, поддакивал.

Она сказала:

«Вы заходите, если что; я всегда дома. Может, продуктов каких надо, хозяин привозит. Да я и сама схожу, тут у нас сельпо недалеко. — Магазин находился в Ольховке, верстах в десяти, расстояние по здешним понятиям небольшое. — Хлеб-то у вас есть?»

Гость поблагодарил и хотел подняться.

«Сидите, куда спешить... А вы кто же будете?»

В деревне расспросы — знак вежливости. Оказалось, впрочем, что Мавра Глебовна все знает от Листратихи. Это была, по-видимому, та старуха, с которой жил ребенок, давеча навестивший приезжего. Мавра Глебовна развязала платок. У нее были темно-русые ореховые волосы.

Договорились, что она будет покупать продукты, приезжий поспешил вручить ей деньги. «Да вы не беспокойтесь, сочтемся... Ай-я-яй, — сказала она, войдя к нему на другой день, — как же вы это живете?» Она разыскала ведро, швабру, приезжий бегал за водой на колодец, Мавра Глебовна мыла пол, подоткнув юбку, растворила окна, сожгла мусор в печке, вынесла вон старую одежду и полусгнившие валенки. Когда он снова вошел в избу, она сидела на табуретке боком к столу, расставив босые ноги с широкими ступнями крестьянки, и завязывала косички на затылке.

Прошло еще несколько дней; однажды, проходя по деревне, он увидел перед новым домом грузовик.

Парень в ватной телогрейке выгружал какую-то кладь. Сам хозяин, в майке и в галифе из синего коверкота, стоял на украшенном столбиками крыльце; увидав новое лицо, он сошел не спеша по ступеням. «Здорово, — сказал он, протянув ладонь, и представился: — Василий. Слышал о тебе. Заходи».

Генерал — изобретатель крылатых штанов не мог предвидеть, что они обессмертят его имя в загадочной полу-восточной стране, где он никогда не был. История галифе есть часть истории нашей страны; галифе цвета грозового неба сделались униформой вождей революции, как и ее врагов. Со временем крылья стали шире, туда можно было засовывать руки до самых локтей. Просторный покроем отвечал духу страны. И до сих пор синие галифе, вправляемые зимой в бурки, летом в сапоги, донашивает начальство районного масштаба. Хозяин дома был высок, дороден, могущественен, с бритым кожаным черепом и загорелым затылком; вослед за ним, оттерев подошвы о железную скобу, — жест почти ритуальный, знак почтения к дому и его обитателям, — поднялся и вступил в сени пишущий эти строки.

На столе, на белой накрахмаленной скатерти, были расставлены тарелки, узкие граненые рюмки, ситный хлеб нарезан широкими ломтями. Хозяйка внесла дымящуюся кастрюлю с половником и разлила по тарелкам густые золотистые щи. Явилась белая от инея бутылка. «Егорий, — позвал хозяин. — Егор!..» Парень вошел в избу, стягивая на ходу телогрейку.

Из кухни доносился стук ручной мойки. Василий Степанович ждал с откупоренной бутылкой. Мавра Глебовна, с передником в руках, который она отвязала, собираясь сесть за стол, смотрела, наклонясь, в окошко.

«Кого там леший несет», — проворчал хозяин.

Медленно отворилась дверь, в кухне у порога переминался друг Аркаша. Он пробормотал что-то вроде того, что не знал, что тут гости.

«Ладно, — сказал Василий Степанович. — Садись».

Мавра Глебовна принесла табуретку из кухни, поставила рюмку, глубокую тарелку, налила щей. Хозяин провозгласил:

«Что ж, будем, как говорится, знакомы!»

Они бодро чокнулись. Парень по имени Егор молча выпил свою рюмку, Аркаша ждал, когда чокнутся с ним, не дождался и тоже выпил.

«А ты чего ж», — заметил Василий Степанович. Жена пригубила рюмку. Молча, обжигаясь, принялись за щи. Хозяин обсасывал огромную кость. Хозяйка подала миску, Василий Степанович бросил кость, она тотчас вынесла миску.

«Так, значит, — проговорил он, разливая водку. Не обращаясь прямо к приезжему, он на сей раз употребил дипломатическое множественное число. — Решили, значит, у нас пожить. А чего ж, у нас хорошо, воздух чистый... Надолго?»

Приезжий из Москвы ответил, что еще сам не знает, надеется остаться до осени.

«Отпуск, что ль?»

«В этом роде».

«Это хорошо. У нас хоть не больно весело, зато жизнь настоящую узнаете. Как народ живет. Аркашка подтвердит; ты что скажешь? Вот он, народ-то».

Аркаша усердно загребал щи, а парень, с которым приехал Василий Степанович, буркнул:

«Какой там народ, народу-то не осталось».

«Есть еще народ, куда он денется. Аркашка! О тебе говорят, ты чего молчишь?»

Аркаша кивнул и взялся за рюмку.

«Ты постой, куда лошадей гонишь? Надо тост произнести».

Все смотрели на гостя. Путешественник поднял рюмку и предложил выпить за здоровье хозяев — Василия Степановича и Мавры Глебовны. Председатель одобрительно кивнул, хозяйка принялась было собирать со стола тарелки.

«Али кто добавки хочет?»

«Давно щец, не ел, давай еще полчерпачка... Чего ж это, Егорушка, ты нас за народ не считаешь?»

«Вы, Василий Степанович, не в счет».

«М-да... выпьем для ясности».

Мавра Глебовна унесла тарелки и появилась с большой чугунной сковородой.

«Хо-хо, — сказал Василий Степанович, потирая руки, — в гостях хорошо, а дома лучше! Братва, налетай».

Все накладывали себе сами, хозяин показал бровями на опустевшую бутылку, Мавра Глебовна принесла вторую.

«Я тебе так скажу... — заговорил Василий Степанович, перейдя снова на ты, что одновременно означало некоторую степень близости и согласие взять гостя под начальственную опеку. — Ты чего не пьешь-то? Давай, будем здоровы...»

Приезжий поспешно схватился за рюмку.

«Я тебе так скажу, это между нами... Что они тут знают? — ничего; а я знаю. Я в кругах вращаюсь. Сколько средств вкладывают в это самое сельское хозяйство, сколько денег ухлопано, уму непостижимо. Вот теперь новое постановление должно выйти. Это я говорю не для разглашения... О крутом подъеме в нечерноземной полосе».

Василий Степанович поднял голову от тарелки, смерил взглядом приезжего и несколько неожиданно закончил:

«А толку, между прочим...»

Он махнул рукой, последовало новое предложение выпить для ясности. После чего, хлопнув себя по ляжкам, сказал:

«Ладно! Надо собираться».

«Куды ж теперь, — заметила Мавра Глебовна, — на ночь глядя. Только приехали, и назад».

«Надо. Послезавтра в райкоме отчитываемся».

«Вот завтра и поедете. Как вы сюда-то доехали: мост, говорят, провалился».

«А зачем нам мост; мы через Ольховку».

Путешественник спросил, далеко ли находится райцентр.

«Далеко не далеко, а ехать надо. Егор! собирайся. Вот я и говорю, — продолжал Василий Степанович, — средства есть, техника есть, все есть. А работать некому. Народ такой пошел, все в город норовят. Сами видите, —

он указал на Аркадия, — только вот такие и остались. Развивать сельское хозяйство. Легко сказать; развеи его. Вот я сам работаю в сельском хозяйстве. Я район как свои пять пальцев знаю. Было шестьдесят колхозов. Разукрупнили. Сделали пятнадцать. А что толку? Его хоть разукрупняй, хоть не разукрупняй. Эва, полюбуйся на него, — сказал Василий Степанович, кивая на Аркашу, который сидел, свесив голову с мокрыми, слипшимися волосами. — Колхозничек... Эй! землячок. Аркашка! Пропиши все царство».

В ответ Аркадий проговорил что-то.

«Громче! Не слышу».

«А я чего, я ничего», — сказал Аркадий.

«Вот то-то и оно, что ничего!» — заметил наставительно Василий Степанович.

«Домой ступай, посидел и хватит», — приговаривала Мавра Глебовна, пытаясь вытащить Аркашу из-за стола. Гость вызвался помочь, вдвоем закинули себе на плечи руки Аркадия и повели его домой.

«Чего привязались-то? — Он лежал на лоснящемся от мазута тряпье. — Тить-твою...»

Вышли из вонючей хибары на волю. Мавра Глебовна вздохнула.

«Благодать-то какая. Век бы жила здесь».

Он спросил, что же ей мешает здесь оставаться.

«Да Василий Степаныч хочет в город насовсем переселяться. Новую квартиру дают».

«А как же хозяйство?»

«Распродать. А я не могу. Как это я свою корову продам? Да и кому продавать-то».

«Мне продай», — сказал Аркадий, выходя на порог.

«Эва, — сказала Мавра Глебовна, — покупатель нашелся. Да ты и корову доить не умеешь».

«Чего ж тут уметь. Тяни за сиськи, и все дела».

«Иди, спи».

«Сама иди; я уж выпался».

«Ладно, Аркаша, — промолвила Мавра Глебовна. — Люди меж собой разговаривают, ты не встревай».

## IX.

Казалось, что прекрасной погоде не будет конца, но спустя несколько времени новое удивительное явление природы изумило и озадачило жителя деревни; возвращаясь с прогулки, он увидел за рекой над лесами необычайный закат. Слепящее солнце опускалось, как в могилу, в магму лиловых облаков, подозрительный знак надвигающегося ненастья. Так и случилось, и даже скорее, чем предсказывала примета: кинжалы молний исполосовали небо, едва лишь спустилась ночь; вдали заурчало, зарокотало, грохнуло над деревней; всю ночь шумел ливень, приезжий из города поднимал голову с подушки и смотрел во тьму, где угадывались окна, а под утро заснул так крепко, что проспал добрую половину дня; часы показывали совершенно невообразимое время. Пошатываясь, он прошлепал по темной избе и приник к окошку: все струилось, все обволоклось мокрой ватой облаков, временами, остервенясь, дождь хлестал в стекло. Дачник пил из чайника остывший чай, выбегал в огород по малой нужде, — там все звенело и шелестело, — дрожа от холода, лежал под одеялом, поверх которого было наброшено пальто и еще что-то, и снова опустилась ночь, и во сне он слышал все тот же однообразный звон дождя. Его разбудил стук в дверь на крыльце, было мутное, серое утро; он выбрался из-под груды тряпья, отворил, соседка, босая, с мокрым подолом, с клеенкой, наброшенной на голову и плечи, с крынкою молока под мышкой, вошла следом за ним через мокрые сени в избу и оглядела стены и потолок: крупные капли падали на полку в красном углу, под окнами на полу образовалась лужа. Мавра Глебовна отодвинула стол, выжала в ведро под рукомойником мокрую тряпку, выплеснула ведро в огород. Он слышал, как зашлепали ее ноги в сенях, она стояла на пороге, высокогрудая, простоволосая, с блестящими глазами. Жилец спросил: «Надолго это?» — «А кто ж его знает; бывает, что и неделями. Авось пройдет, — добавила она, — потеряли маленько». Он пил молоко, завернувшись в одеяло. Мавра Глебовна собралась ух-

дить. Оказалось, что Василий Степанович, приехавший в субботу, был вынужден остаться в деревне. «Куды ж теперь; небось все развезло».

Дождь лил, моросил, снова лил, дождь шел подряд две недели, жилец писал карандашом на стене палочки, боясь, как Робинзон, потерять счет дням, и когда, наконец, на почернелых стенах избы слабо заиграло солнце, он увидел, выбравшись на крыльцо, что стоит на берегу реки, из воды поднимались ступеньки, не было больше ни улицы, ни пустоши, вдали смутно рисовались полузапленные деревья, мутные глинистые воды, поблескивая там и сям, степенно влеклись в золотом тумане, а в вышине, между серыми облаками выглядывало ярко-голубое небо. Было тихо, тепло, вокруг все дымилось и капало.

Невдалеке по стремнине вод влеклись обломки чего-то, щепки, валенки, куски рогожи, старые игрушки, проехал, ножками кверху, продавленный венский стул. Проплыл, переворачиваясь, захлебываясь в воде и вновь появляясь, громоздкий странный предмет, напоминавший прямоугольную пасть, это была клавиатура рояля. Следом за роялем река несла лодку, на корме сидел мужик с гармонью, рядом с ним краснолицая простоволосая тетка, похожая на семгу, которая пела, широко раскрывая рот. Гребец, сидя напротив, с усилием ворочал веслами. «Эй, землячок», — закричал он. Лодка подплыла к крыльцу, парень ухватился за ветхий столбик и вспрыгнул на ступеньку. «Земеля, закурить есть?» Жилец вынес круглую, из-под карамели, железную коробку с самосадом, оставленную ночным посетителем. Он как-то даже забыл об этом визите, о собаке, вскочившей к нему на кровать, и лысом хозяине в никелевых очках, и коробка напомнила ему о нем. «Чего торчишь тут, — сказал парень, закуривая, — поехали с нами». «Куда?» — «А куда-нибудь, чего тут делать-то». Жилец возразил: «Мне и здесь хорошо». — «Чего ж тут хорошего. Ну, как знаешь».

Солнце начало припекать, река блестела так, что больно было смотреть, и темные фигуры в удаляющейся

лодке уже едва можно было различить. Из-за полузатопленной хижины вышел по грудь в воде голый татуированный сосед Аркаша, держа в руках телевизор. Сделав несколько шагов, передумал, повернул назад, скрылся за углом своего жилища и выплыл с другой стороны, приветствуя горожанина белозубой улыбкой. Вода несла Аркашу на простор, он умело развернулся, уцепился за угол, взобрался на крышу, проваливаясь ногами сквозь дранку, стащил с себя мокрые порты, разложил сушиться и лег загорать. Солнце пылало с небес.

### Х.

Задавшись целью исследовать мою жизнь буквально ab ovo, я решил начать, как Тристрам Шенди, с рискованной сцены — реконструировать миг зачатия; судя по дате моего рождения, это событие совершилось в мае. Конечно, тут невозможно было обойтись без некоторой доли художественного вымысла или, вернее, домысла, ибо ничего необычного тут не могло быть; и, в конце концов, разве самый добросовестный историк не обязан порой возмещать недостаток фактов правдоподобной догадкой? Можно предположить, что дело происходило на рассвете выходного дня. Не хочу называть его воскресеньем, так как революция упразднила христианскую неделю, заменив ее шестидневкой, каковая существовала еще в дни моего детства. Итак, сотворение человека произошло на шестой день, после чего создатель вкусил заслуженный отдых. Будущие родители вновь погрузились в сон.

Замечу, что когда мы говорим, что нас никто не спрашивал, хотим ли мы родиться, то при этом как бы подразумеваются, что мы уже некоторым образом существовали до того, как началось наше реальное существование. Иначе некого было бы спрашивать. Продолжая эту мысль, придется допустить, что мы сами виноваты в том, что появились на свет: это нам захотелось быть, и не кто иной, как мы были вожделением наших родителей. Мысль, впрочем, отнюдь не новая.

Я лежал, покрытый легкой испариной, под бледно-розовым, толстым, пуховым и нежным, как пух, стеганым одеялом, на белоснежной простыне, уйдя головой в мягкую подушку, я покоился, словно усталый воин, вернувшийся из похода, или как ребенок, которого взяли к себе в постель, на высоком и узковатом для двоих ложе, уткнувшись лицом в мягкую, ароматно-пышную и напоминающую белый калач, полуобнаженную грудь, время от времени, как кот, открывал глаза и видел перед собой крупный темно-розовый сосок, вдыхал запах молока и перезрелых ягод, смешанный с запахом легкого и чистого женского пота и всей моей кожей, ногами, животом чувствовал кожу Мавры Глебовны. Да, как ни удивительно, это была Мавра Глебовна, ее комната с подвязанной шнуром портьерой, с вышитыми занавесками на окнах, ее никелированная кровать и зеркальный шкаф, так что, приподнявшись, я мог видеть ее негустые, рассыпанные ореховые волосы и рядом, над ее круглым плечом другое лицо, показавшееся мне диким в черно-серебряном стекле лица гостя; вот так гость, подумал я, не странно ли, что все так обернулось, а впрочем, если подумать, то что тут странного? И я снова погрузился в мякоть ее груди, испытывая неодолимую дрему, какая охватывает в неподвижный, приглушенно-жгучий, затянутый облаками полдень, и в полудреме на дне наших душ, в крестце, в ущелье ног сызнава пробудилось желание, на этот раз тяжелое и ленивое, как расплавленный металл.

Несколько времени спустя, окончательно очнувшись, я услышал ее голос: «Сколько же это время, батюшки... этак все проспим!», выбрался из-под одеяла и зашлепал в сени, а воротившись, увидел, что она сидит, накрыв ноги, на высокой кровати, уже в рубашке, со свисающими из-под одеяла широкими желтоватыми ступнями и, подняв крепкие локти, обнажив подмышки в коротких рукавах, завязывает косички на затылке; она повернула ко мне круглое лицо с сияющими, как бывает после сна, глазами, вздохнула всей грудью, словно после выполненной работы, так что ее рубашка с прямым вырезом высоко поднялась и опустилась, мельком оглядела себя,

свою грудь и живот, расправила на ногах одеяло и едва заметно усмехнулась. «Ты что, Маша», — проговорил я, это имя как-то произвольно выговорилось у меня, хотя никто, как потом выяснилось, никогда ее так не называл. Я смотрел на нее, и вид ее тела, скрытого под рубашкой, широкие плечи и короткая полная шея наполняли меня каким-то легким счастьем. «Ничего, — промолвила она, — дивлюсь я...» — «Да?» — спросил я осторожно. «Как это у нас вдруг получилось — сама не пойму». — «Вот так и получилось», — сказал я. Мне хотелось добавить: почему же это «вдруг», все, что произошло сегодня утром, мой визит в дом-терем с резными столбиками и запертыми воротами, она на крыльце, с извинениями, что не успела принести мне вовремя, как обычно, парного молока, и наше сидение в горнице, за тем самым столом, за которым пировали мы с Василием Степановичем, душный облачный день и короткие малозначащие реплики, мне казалось, что все это происходило в нарочито замедленном темпе, словно исподволь готовя нас к тому, что должно было случиться: медленно поднялась и вышла из-за стола Мавра Глебовна, подошла к окну, и невольно следом за нею встал и я, чтобы что-то увидеть в окошке, хотя знал, что ничего нового там нет, медленно и как будто нехотя двинулась она в другую комнату, мельком взглянув на меня, сняла с кровати подушки и отдала их мне, чтобы я держал их, покуда она снимала и складывала пикейное одеяло, вдвое, потом еще вдвое, потом взяла у меня подушки, взбила их, хотя они и без того были взбиты, обтянуты свежими наволочками и лежали рядом, как две горы, встряхнула и расстелила широкое супружеское бледно-розовое одеяло и остановилась, опустив голову, схватившись за пуговицы кофты, как будто задумалась на минуту или хотела сказать: может, не надо? может, ни к чему это совсем?

«Чего ты стоишь, мне, чай, одеться надо, — сказала она мягко. — Поди, что ли, там посиди». Я все еще медлил, держа в руках свою одежду; Маша покачала головой. «Вот так, чего уж теперь, раз так получилось, — бормотала она, просовывая руку сквозь вырез рубашки,

спуская рубашку с плеч, продевая руки в бретельки широкого лифчика. — Судьба, значит. Отвыкла я от таких дел... — Он повела плечами, взвесила в ладонях шары грудей в чашах лифчика. — Ну чего ты, али не нагяделся?»

Немного погодя, сидя за столом в светлой горнице, я вскочил, чтобы открыть ей дверь, и с немалым удивлением увидел мою хозяйку, несущую потный и фыркающий, ярко начищенный самовар; тотчас на него был водружен низкий и пузатый, с побуревшим носиком, фаянсовый чайник с заваркой, и на чайнике, прикрыв его, как наседка, своими юбками, восседала тряпичная, румяная, как свекла, баба в желтом платочке, Я уж и забыл, когда последний раз пил чай из русского самовара.

«Вот теперь попьешь», — промолвила Маша. На душе у меня было чувство глубокого мира. Не так уж далеко пришлось ехать, достаточно было только свернуть с асфальтовой дороги, но мне казалось, что я заехал в такую даль и глушь, до которой никому не добраться.

«Послушай, Маша...» Почти против воли я задал этот вопрос, и вообще мне не хотелось говорить на эту тему; налив, по ее примеру, чай в блюдце, я старательно дул на блюдце, как в детстве дул на горячее молоко, стараясь отогнать пенку, только теперь я сидел прямо, держал блюдце перед губами.

Мавра Глебовна перебила меня.

«Какая я тебе Маша».

Я возразил:

«Мне так больше нравится; а тебе разве нет?.. Скажи, Маша, — продолжал я, — ты ведь замужем».

«Ну», — сказала она спокойно.

«А говоришь, отвыкла».

«Мало ли что. Бывает, что и замужем, а отвыкают».

Кукла полулежала в своих юбках, на столе, рядом с ней, я протянул ей чашку, она налила мне крепкой заварки и нацедила кипятку. Помолчав, я сказал ей, что в моем доме творятся странные вещи. Ночью мужик приходил.

«Какой еще мужик?»

«Бывший хозяин. Я думаю, — сказал я, усмехнувшись,

— эта изба заколдованная. Вся деревня какая-то странная».

«Скажешь. Деревня как деревня».

Я пожал плечами.

«И чего он?»

«Сказал, что я не имею права здесь жить».

«Он-те наговорит. Один приходил?»

Я объяснил, что кто-то ждал на улице; какие-то люди, я их не видел.

«Ну и этого тоже считай, что не видел».

«Да он передо мной сидел, за моим столом, вот как ты сейчас».

«Ну и что? Мне тоже, — сказала она, — разные черти снятся».

«Ты его знаешь?»

«Кого?»

«Мужика этого».

«Да ты что? Он, чай, давно уж помер».

Она подняла на меня ясные глаза.

«Милый, — сказала она, — поживешь, привыкнешь».

В сенях послышался шорох. Мавра Глебовна встала и выпустила малыша, похожего на карлика.

«К мамке в гости пришел? — сказала она. — Чай с нами будешь пить?»

Мальчик ничего не ответил, сидя на коленях у Мавры, потянулся к вазочке и схватил несколько конфет.

«Куды ж столько? Ты сначала одну съешь. — Мальчик полез с колен. — Ну, поди, бабку угости».

Его башмаки зашлепали на крыльце. Длился, истекал зноом нескончаемый полдень, занавешенный белыми облаками.

Я спросил: где его родители?

«В городе. И носа не кажут. Вот так и живем. Еще чайку? Ну-кось, — сказала она, — дай руку».

«Зачем?»

«Руку давай, говорю».

«Ты что, гадалка?»

«Гадалка не гадалка, а сейчас все про тебя узнаю».

«Я сам могу рассказать».

«Откуда тебе знать. Никто пути своего не знает».

Она разглядывала мою ладонь, поджав губы, как смотрят, проверяя документы.

«Что же там написано?»

«А все написано».

Я сжал руку в кулак.

«Разожми. Боишься, что твои тайны узнаю? Эва! Долго жить будешь. Три жены у тебя будет».

«Откуда это известно?»

«Известно. Вот, видишь — первая, вот вторая. А вот там третья».

«Одна уже была».

«Значит, еще две будут».

Я засмеялся. «Что-то уж слишком много».

Она рассказывала:

«Василий Степанович у меня хозяйственный, все достает, если что надо, рабочих привезет. Жаловаться грех. Не знаю, — проговорила она. — Может, у него там в городе кто и есть».

«Отчего ты так думаешь?»

«Да чего уж тут думать, коли у нас с ним ничего не получается. И так, и сяк, а в избу никак. Может, я уже старая. А может, силы у него нет, вся сила в заботы ушла, его на работе ценят».

«Детей у тебя нет?» — спросил я.

«Нет. Была девочка, от другого, да померла».

«И у меня, — сказал я, — была девочка».

## XI.

Не могу сказать, чтобы работа моя подвигалась бодрым темпом, говоря по правде, она почти не двигалась. Не внешние, а внутренние причины были тому виной. Раздумывая над своим проектом, я обнаружил опасность, о которой давно следовало подумать: риск потерять свою личность. Смешно сказать: то, за чем я охотился, что я хотел восстановить, заново отыскать, отшелушить, как ядро ореха, — оно-то как раз и ускользало от меня.

Я должен был отдать себя ясный отчет в этой опасности: намерение реконструировать свою жизнь — месяц за месяцем, а если можно, день за днем, не упустив ни одной мелочи на дне моей памяти, ни одной тени в ее подвалах и закоулках, — неизбежно приведет к тому, что я не увижу за деревьями леса. Я предчувствовал, что из этого получится: старательное перечисление мельчайших событий прошлого заслонит, поставит под сомнение то, что было исходной посылкой всей этой затеи: уверенность в том, что я — это я, нечто единое и в основе своей неизменное.

Мои воспоминания о младенчестве можно было сравнить с клочками разорванного письма, плывущими по воде, с трудом можно было прочесть на них размытые обрывки слов. Начиная с какого-то времени, они сменялись более или менее четкими эпизодами, подчас даже чрезвычайно четкими, — но это была скорее память о вещах, чем о людях, чьи лица по-прежнему представлялись светлыми пятнами; эти эпизоды казались чрезвычайно значительными, хотя невозможно было понять, почему именно этот случай, эта, а не какая-нибудь другая домашняя вещь, картинка в книжке, чья-то мимолетная фраза или уличная вывеска впечатались в память; постепенно число их множилось, вещи обступали меня, и я готов был предположить, что на самом деле я помню все и храню все впечатления в архивах моего мозга, но неразвитость психического механизма, который можно назвать упорядочивающим началом, несовершенство, о котором я мог теперь судить задним числом, мешало мне выстроить цепочку воспоминаний и поднять со дна памяти целиком то, о чем я, как водолаз, мог судить, лишь обходя вокруг погруженный в ил корабль моего детства, раздвигая водоросли и всматриваясь в темные иллюминаторы. Там, в залитых водой каютах, покоилась цивилизация вещей, но я мог о ней лишь догадываться.

Таковы были первые три или четыре года жизни, когда мое «я» было скорее условием того, что все это некогда существовало, нежели чем-то первичным — автономным сознанием. Позже я замечал, что возвращаюсь к уже

знакомым местам, связь лиц и происшествий была не хронологической, но подчинялась иному закону, вроде того как товары в магазине разложены отнюдь не по датам их изготовления; я даже думаю, что сделал некоторое открытие, обнаружив среди завалов памяти область, уже достаточно упорядоченную, но все еще неподвластную деспотизму времени. Вскоре, однако, — само это слово «вскоре» говорит о том, что время взяло реванш, — хронологический принцип восторжествовал: начиная с шести или семи лет я обрел непрерывность своей жизни и плетусь дальше в своих воспоминаниях, держась за канат времени,

Это — скомканное, смятое, складчатое время воспоминаний, которое я пытаюсь разглядеть, чтобы восстановить то, навсегда ушедшее время жизни. И вот тут-то меня подстерегает ловушка! Чем больше я втягиваюсь в процесс «восстановления», тем гуще и тесней становится моя память, похожая на многонаселенную квартиру»; подробности обступают меня — вещи, лица, песни, запахи, и когда, наконец, я застаю мое «я» уже полностью сформированным, оно убегает от меня, мелькает за рухлядью жизни, за старыми вещами комнат, на лестницах и чердаках, за мокрым бельем, развешанным во дворе, и пропадает в переулках, где я помню каждый дом. Голоса зовут меня с улицы, и мне некогда оставаться наедине с собой.

Спрашивается: не есть ли мое «я», каким его возвращает прошлое, чистое «я» воспоминаний, не отягощенное анализом, не удвоенное моим сегодняшним «я», — не есть ли оно простая сумма этих впечатлений? Нечто такое, чего попросту нет вне впечатлений, пресловутая чистая доска?

Я снова стал думать о том, что ошибка — в выбранном мною способе изложения, в соблазне объективизма. Я намеревался составить протокол своей жизни, пожалуй, что-то вроде естественнонаучного описания; мне казалось, что таким способом я сумею объяснить самому себе свою жизнь. Передо мной маячил призрак сверхъязыка, на котором я смог бы ее описать, выразить истину

о самом себе, как бы выбравшись из собственной шкуры и воспарив над своим «я». Но такого языка не существует.

Погруженный в размышления, я пересек огородное поле, вода все еще хлюпала под ногами, я обходил лужи и озерца, пробирался между кустами, стоящими в воде, вышел на берег. Река вернулась в свое русло, но прибрежная полоса песка была еще затоплена. Я брел вдоль берега, обходя заводи, в засученных брюках, перекинув через плечо связанные шнурками ботинки, постепенно мои мысли приняли другое направление, можно сказать, что они следовали изгибам реки. Мутные вздувшиеся воды катились мне навстречу, река бежала все быстрее, воды блестели, кое-где обнажился песчаный берег в клочьях травы, в пятнах грязной пены, усыпанный черными щепками, мокрым мусором, брошенным на полдороге, поток бурлил, образовав горловину, кустарник превратился в лес, река неслась между глухими зарослями, я заметил полузатопленную переправу, вода перекачивалась через поваленное дерево. Привязанная к торчащим кверху обломкам корней, качалась и билась о ствол лодка, полная воды, она напомнила мне ту, в которой плыли гармонист и баба-семга.

## XII.

Далекий призрак лесов. Эти слова показались мне удачным заголовком для моего будущего труда. Я начертил их на отдельной странице и любовался ими, прежде чем понял, что они все-таки не годятся. Они отвлекали меня от цели. Они пришли мне на ум еще тогда — сколько же дней прошло с тех пор? — когда впервые, выйдя на крылечко, я обвел очарованным взглядом окрестность. Туманная, пепельно-голубая кромка на горизонте, далекий, дальний призрак — сколько до него ни шагай, никогда не дойдешь. Этот ландшафт наводил на мысль о мифическом времени, где ничего не происходит или, вернее, все происходит одновременно. Не оттого ли деревянные башенки, непременною принадлежность

дачной архитектуры, мое воображение превратило в башни рыцарских замков?

В шлеме с крестообразной прорезью, с мечом и щитом, на котором был намалеван мой герб, я стоял у калитки в предвкушении вражеского набега, я не успел загореть, мои ноги еще не были искусаны комарами: последнее лето на даче, последний, может быть, день детства. Я вспомнил, что сегодня как раз этот день. Мы выехали из города накануне, на грузовике, где стояли корзины, стулья, кухонный стол, патефон, ванночка, швейная машина, плетеная бутылка с керосином, все это, перевязанное веревками, дрожало и дребезжало, я подсакивал на матрасе рядом с мамой, голова моего отца виднелась в заднем стекле кабины, он сидел рядом с шофером и показывал дорогу, ему оставалось жить полгода. Был ли он убит или замерз в лесах, неизвестно. Машина расплескивала лужи, покачивалась на толстых корнях и мягко катила по лесной дороге; стоя перед калиткой в шлеме и латах утром следующего дня, ожидая вражеское полчище, я не знал, что вторжение уже началось на рассвете.

Я вспомнил, что сегодня как раз этот день, если только числа и дни окончательно не перепутались в моей голове, годовщина запоздалого переселения. Восстав в моей памяти, он отказывался вернуться в прошлое, как если бы в самом деле все совершалось одновременно или если бы русло времени искривилось и обогнуло войну, или если бы, очутившись в том времени, я увидел будущее во сне. Тут было все, что бывает в классическом сновидении: переправа, дорога, уединенная усадьба; я не верил глазам — лужайка, терраса, деревянная башенка, перед домом веревочный гамак на двух крюках, ввинченных в деревья, казались мне плагиатом моего младенчества; я подумал, что сам становлюсь действующим лицом чьей-то памяти или чьего-то сна: не я грезил, меня грезили.

Но прежде я должен вернуться к томительно-жарким часам после полудня, к этому дню, открывшему череду новых событий. Виной всему был мой образ жизни, вялое

сидение на крылечке, и облака, и безделье, и прохладное молоко в кринке, и теплые объятия Мавры Глебовны. Едва начатая рукопись на моем столе тревожила мою совесть, я не отказался от своего замысла или по меньшей мере внушал себе, что не имею права отказаться от него, иначе что же мне делать, куда деваться от самого себя? — и все же, говоря по совести, не становилась ли сама эта работа, то, что я называл работой, ради чего скрылся от всех, не становилось ли это времяпровождение в моих собственных глазах чем-то сомнительным? Я помню, как в детстве, увлеченный каким-нибудь новым проектом, я с жаром принимался за дело, раскрывал новенькую тетрадку, писал, чертил, рисовал, — и внезапно что-то рушилось, и я чувствовал, что игра мне надоела, едва начавшись, и не мог понять, что в ней можно было найти интересного. Какой непозволительной забавой, думал я, показался бы мой нынешний проект, мои усилия и сомнения, попытки вырваться из тисков литературы при помощи той же литературы и отыскать в подвалах памяти то, что когда-то было действительностью, какой чепухой показалось бы все это человеку другого, того времени, моему отцу; он просто не мог бы понять, чем я, собственно, занимаюсь.

Или прав был Василий Степанович, и моя жизнь в деревне должна была вернуть меня к подлинной действительности, о которой я, может быть, и понятия не имел, к «народу», этому потерявшему смысл понятию, но которое, вопреки всему, что-то все еще означало, — и таким образом возродить мое писательство, что, собственно, и означало возродить, восстановить, заново отыскать свою личность?

Короче говоря, нужно было встряхнуться. В этот раз я избрал другой путь, переправился вплавь и побрел напрямик через поля к роще. Я шел и шел без всякой мысли и цели, в густой траве, и роща, казавшаяся издали совсем небольшой, вставала и оаздвигалась мне навстречу. Я пробирался через подлесок, шагал среди мхов, между упавшими стволами, время от времени менял направление, выбрался на поляну; солнце, постепенно опускаясь, сверкало между деревьями, мое путе-

шествие затянулось. Лес поредел, но вместо опушки устланная иглами тропа привела меня к воротам.

Собственно, это были остатки ворот, каменные столбы, штукатурка осыпалась, обнажилась кирпичная кладка. Дорога со следами колес перешла в липовую аллею. Спустя немного времени я оказался на широком лугу перед домом с террасой, с деревянной башней и поникшим выцветшим флагом, с поблескивающими на солнце окнами.

Дача, наследница рыцарского замка! Дачу можно считать потомком барской усадьбы, а та в свою очередь ведет свое происхождение от надела, полученного в дар от монарха. Кто-то лежал в гамаке, свесилось одеяло. Кто-то ехал по аллее. Лошадь мелькала между деревьями; свесив ноги с телеги, ехал Аркаша. Я повернул к аллее и шагал ему наперерез, но, кажется, он делал вид, что не замечает меня. Я выбежал на дорогу. Телега остановилась. «Слушай-ка, а я и не знал, что...» — проговорил я. «А чего», — сказал Аркадий. «Ты тут работаешь?» — «Да какая это работа», — возразил он. «А лошадь откуда?» — «Председатель дал». — «Какой председатель?» — «Председатель колхоза». — «Какой колхоз, что ты мелешь, колхоза-то никакого нет!» — «Колхоза нет, а председатель есть».

Он ждал следующего вопроса.

«Аркаша, — спросил я наконец. — А что это за люди?» «Которые?»

«Да вот там» — и я указал на компанию, сидевшую в беседке за самоваром.

«А... — пробормотал он. — Живут».

«Как они сюда попали?»

«Как попали. Да никак; ты-то как сюда попал. Жили, и живут. А чего. Места у нас хорошие, воздух. Н-но!» Лошадь тронулась.

### XIII.

Путник приблизился к беседке. Хозяин, грузный человек с лоснящимся красным лицом, без пиджака, в цветном жилете и с бабочкой на шее приветствовал его иронически-ободрительным жестом. Хозяйка промолвила:

«Милости просим. — Она позвала: — Анюта!»

«Не беспокойтесь, мама. Я сама принесу», — сказала молодая девушка и побежала, придерживая платье, к дому. Она вернулась с чашкой и блюдцем, ему налили чаю, пододвинули корзинку с печеньями.

«Сливки?»

Гость поблагодарил. «Простите, — пробормотал он, — что я так неловко вторгся, позвольте представиться...»

«Мы о вас слышали», — сказал хозяин.

«Откуда?»

«Да знаете ли, земля слухом полнится. Не так уж много тут у нас соседей. Вы ведь в деревне живете, не правда ли?»

«Да, если это можно назвать деревней».

«Вот, — сказала, пропустив мимо ушей это замечание, хозяйка, указывая на господина неопределенных лет, который сидел очень прямо и выглядел весьма импозантно, со слегка седеющими баками, в скюртуке, высоком воротничке с отогнутыми уголками и сером галстуке с булавкой, — разрешите наш спор. Петр Францевич утверждает, что...»

«Мама, это неинтересно».

«Нет, отчего же... Мы, знаете ли, увлеклись теоретической беседой. Петр Францевич считает, что смысл нашей отечественной истории, не знаю, верно ли я передаю вашу мысль, Пьер... одним словом, что весь смысл в отречении».

Приезжий изобразил преувеличенное внимание. Петр Францевич солидно кашлянул.

«Если эта тема интересует господина... э... (Приезжий поспешно подсказал свое имя и отчество). Если вас это интересует. Я хочу сказать, что... если мы окинем, так сказать, совокупным взглядом прошлое нашей страны, то увидим, как то и дело, и притом на самых решающих поворотах истории, русский народ отрывается от самого себя. Да, я именно это хочу сказать: отрывается. Славянские племена, устав от взаимной вражды, призывают к себе варягов...»

«Эта теория оспаривается», — заметил гость.

«Да, да, я знаю... Но позвольте мне продолжить. При-

звание варяжских князей, отказ от собственных амбиций. Но зато удалось создать прочное государство. В поисках веры принимаем греческое православие — опять отказ от себя, опять отречение, но зато Россия становится твердыней восточного христианства. Приходит Петр, и наступает новое, может быть, самое великое и болезненное самоотречение, от традиций, от национального облика, — ради чего? Ради приобщения к западной цивилизации, и в результате Россия превращается в европейскую державу первого ранга. Остается еще одно, последнее отречение...»

Хозяин, по имени Георгий Романович, внушительно произнес:

«Х-гм! Гм!»

«Вы не согласны?» — спросил приезжий.

«Я? Да уж куда там...»

«Pardon, — сказал приезжий, — мы вас перебили».

«Остается четвертый и последний шаг — признать религиозное главенство Рима!»

«Ну уж, знаете ли», — засопел хозяин.

«Да что это такое. — сказала хозяйка, — Жорж, ты все время перебиваешь! Дай же, наконец, Петру Францевичу высказать свой avis\*...»

«Я прекрасно понимаю, — сказал Петр Францевич, — что моя теория, впрочем, какая же это теория, речь идет об исторических фактах, против которых возразить невозможно... я очень хорошо понимаю, что мой взгляд на историю России может не соответствовать мнению присутствующих. Но коли наш гость... Простите, — он слегка поднял брови, — я не знаю, в какой области вы подвизаетесь, или, может быть, я не расслышал?»

Путешественник промямлил что-то.

«М-да; так вот. Позвольте мне, так сказать, рекапитулировать. Обозрев в самом кратком виде отечественную историю, мы убеждаемся, что она представляет собой ряд последовательных отказов от собственной национальной сущности во имя... во имя чего-то высшего. Признав главенство папы, склонившись перед римским

\* Взгляд, мнение (фр.)

католицизмом, Россия завершит великое дело всей западно-восточной истории: осуществит христианскую все-ленскую империю. Именно Россия, ибо ни одно другое государство не имеет для этого достаточных оснований... Но, господа, величие обязывает! Я говорю не о патриотизме. И не о шовинизме, упаси Бог, я по ту сторону и православия, и католичества, я в лоне вселенской Церкви».

«А вам не кажется, что при таком взгляде наша история выглядит не очень привлекательно, русский народ оканчивается уж слишком пассивен...»

«Вот именно, — подхватил хозяин, — ты, матушка, не так уж глупа!»

«Георгий Романыч!» — сказала хозяйка укоризненно.

«Вот именно. Хгм!»

Она спросила:

«Еще чашечку? Вы, наверное, скучаете».

«Нет, что вы, — возразил приезжий, — у меня вопрос, если позволите...»

Петр Францевич приосанился. Но тут произошла заминка. Маленький инцидент: два мужика, на которых уже некоторое время с беспокойством оглядывалась хозяйка, подошли к сидящим в беседке.

#### XIV.

Два человека, по виду лет за пятьдесят, один впереди, щупая землю палкой, другой следом за ним, положив руку ему на плечо, оба в лаптях и онучах, в заношенных холщевых портах, в продранных на локтях и под мышками, выцветших разноцветных кафтанах с остатками жемчуга и круглых шапках, когда-то отороченных мехом, от которого остались теперь грязные клочья, с лунообразными, наподобие кокошников, нимбами от уха до уха, остановились пред беседкой и запели сиплыми пропитыми голосами. Вожатый снял с лысой головы шапку и протянул за подающим.

«Это что еще такое? — сказал Петр Францевич строго. — Кто пустил?»

Слепцы пели что-то невообразимое: духовный гимн на архаическом, едва ли не древнерусском языке, царский гимн и «Смело товарищи в ногу», все вперемешку, фальшивя и перевирая слова, на минуту умолкли, вожатый забормотал, глядя в пространство белыми глазами: «Народ православный, дорогие граждане, подайте Христа ради двум братьям, слепым, убиенным...»

«Господи... Анюта! Куда все подевались? Просто беда, — сказала, отнесясь к гостю, хозяйка. — Прислуга совершенно отбилась от рук».

«Мамочка, это же...» — пролепетала дочь.

«Этого не может быть, — отрезала мать. — Откуда ты взяла?»

«Мамочка, почему же не может быть?»

Отец, Григорий Романович, рылся в карманах, бормотал:

«Черт, как назло ни копыя...»

Петр Францевич заметил:

«Я принципиальный противник подавания милостыни. Нищенство развращает людей».

«Боже, царя храни», — пели слепые.

«Надо сказать там, на кухне... — продолжала хозяйка. — Пусть им дадут что-нибудь».

«Может быть, мне сходить?» — предложил гость.

«Нет, нет, что вы... Сейчас кто-нибудь придет».

«Интересно, — сказал приезжий, — как они здесь очутились. Если не ошибаюсь, они были убиты, и довольно давно. Вы слышали, как они себя называют? Подайте убиенным».

«Совершенно верно, убиты и причислены к лику святых. А эти голодранцы — уж не знаю, кто их надоумил. Недостойный спектакль! — возмущенно сказал Петр Францевич. Слепцы умолкли. Шапка с облупленным нимбом все еще тряслась в руке вожатого. — Обратите внимание на одежду, — продолжал он, — ну что это такое, ну куда это годится? Уверяю вас, я знаю, о чем я говорю. В конце концов это моя специальность... Вспомните известную московскую икону, на конях, с флажками. Я уж не говорю о том, что князя — и в лаптях!»

Братья наклонили головы и, казалось, внимательно слушали его. Молодая девушка произнесла:

«Может быть, спросим...»

«У кого? У них?» — презрительно парировал Петр Францевич.

Хозяйка промолвила:

«Наш народ такой наивный, такой легковерный... Обмануть его ничего не стоит».

«Как назло, ну надо же... — бормотал Григорий Романович. — Ма сhèге, у тебя не найдется случайно...»

«Кроме того, — сказал приезжий, — они были молоды. Старшему, если я только не ошибаюсь, не больше тридцати...»

«Совершенно справедливо!»

Наконец, явился Аркадий с деловым видом, с нахмуренным челом, в рабочем переднике и рукавицах.

«Аркаша, пусть им что-нибудь дадут на кухне».

«Да они не голодные, — возразил он, — на пол-литра собирают».

«Боже, — вздохнула мать Рони. — Что за язык».

«Кто их пустил?» — спросил строго Петр Францевич.

«Сами приперлись, кто ж их пустит. Давно тут околачиваются. Ну чего надо, гребите отседова, отцы, нечего вам тут делать... Давай, живо», — приговаривал Аркаша, толкая и похлопывая нищих, и компания удалилась. Наступила тишина, хозяйка собирала чашки. Петр Францевич, заложив ногу на ногу, величаво поглядывал вдаль, покуривал папироску в граненом мундштуке.

«Вы, кажется, хотели мне возразить», — промолвил он.

«Я?» — спросил приезжий.

«Вы сказали, у вас есть вопрос».

«Ах да, — сказал приезжий. — Я не совсем понимаю. Каким образом можно согласовать вашу концепцию с тем, что произошло в нашем столетии?»

Петр Францевич с некоторым недоумением взглянул на гостя, как бы видя его впервые.

«Что вы имеете в виду?» — спросил он холодно.

«Что я имею в виду. Ну, хотя бы революцию и... все что за ней последовало. По-вашему, это тоже самоотречение?»

Петр Францевич ничего не ответил, а хозяин осмотрелся и спросил:

«Где же Роня?»

Оказалось, что дочери нет за столом.

Путешественник почувствовал, что выпал из беседы. «Разрешите мне откланяться, — пробормотал он, вставая, — ваша уютная дача, я назвал бы ее помещьем...»

Хозяйка мягко возразила:

«Это и есть помещье, здесь мой дед жил».

«Да, но... Угу. Ах вот оно что».

«Заглядывайте к нам. Будем рады».

«Спасибо».

«Мы даже не спросили, как вам живется в деревне».

«Превосходно. Люди очень отзывчивые».

«О, да. Где еще встретишь такое добросердечие... я так люблю наш народ».

«Я тоже», — сказал приезжий.

Он не удержался и добавил:

«Но, знаете... Это помещье и моя деревня, это даже трудно себе представить. Два разных мира. Куда все провалилось?»

«Провалилось? Что провалилось?»

«История, — сказал приезжий. — Мы говорили об истории».

«Я так не думаю», — сопя, сказал хозяин.

«Не следует ли сделать противоположный вывод, — вмешался Петр Францевич, — а именно...»

«Где же это Ронечка?»

«Позвольте, я поищу ее».

«Да, да, сделайте одолжение... Смотрите, какие тучи». Постоялец вернулся домой, промокший до нитки.

## XV.

Проснувшись пред рассветом, я угадывал в потемках жалкое убранство моей хижины, мне до смерти хотелось спать, но заснуть я уже не мог. Настроение мое было смутным, в мыслях разброд. С одной стороны, я был рад моим новым знакомым, а с другой, как быть с моим

намерением сосредоточиться, остановить свою жизнь? Меня встретили весьма приветливо, и я предчувствовал, что не удержусь от искушения продолжить знакомство. Надо бы расспросить Мавру, наверняка она что-нибудь слышала об этих людях. Солнце уже сверкало позади моей избы, я фыркал под холодным душем, мне стало весело, я вернулся в мою сумрачную комнату; прихлебывая кофе, я озираю разложенные на столе письменные принадлежности, и голова моя была полна разнообразных планов.

Все, что происходило со мною в последние недели, могло бы послужить предисловием к моей работе; я подумал, что следовало бы описать приезд, описать всю длинную дорогу, которая теперь представлялась мне почти символической. Перед глазами стоял первый день, заляпанная грязью машина, заколоченные окна деревенского дома. Я увидел себя стоящим на пороге моего будущего жилья, стройные предложения, как световая надпись, бежали у меня в голове, не хватало лишь первой фразы. Это был хороший признак: я знал, что писанию всегда предшествует замешательство, короткая пауза, с пером, повисшим над бумагой. Вроде того как лошадь переступает ногами на одном месте, раскачивает оглоблями тяжелый воз, прежде чем нажать плечами и двинуться вперед, кивая тяжелой головой. Я прибегаю к известному приему. Окунув перо в чернильницу» поспешно начертил первые пришедшие на ум слова:

«Не так уж далеко пришлось ехать, но едва лишь свернули на проселочную дорогу, как стало ясно, что...»

Моя рука снова зависла над бумагой, я перечеркнул написанное и начал так:

«Два окошка, выходящие на улицу, были крест-накрест заколочены серыми потрескавшимися досками. Шофер вытащил из багажника железный ломик и...»

«Молочка! — раздался голос Мавры Глебовны. — Ба, — сказала она, входя в избу, — да ты уже встал».

Она поставила передо мной крынку и уселась напротив. Умытая, ясноглазая, мягколицая. На ней был чистый белый платок, она подтянула концы под подбородком.

«Чего так рано-то?»

«Да вот... — проговорил я, все еще с трудом приходя в себя, ибо инерция включенности в писание может быть так же велика, как инерция, мешавшая двинуться в петляющий путь по бумажному листу. — Да вот, — и я показал на то, что лежало на столе, скудный улов моей фантазии. — А ты уж и корову подоила?»

«Эва, да я знаешь, когда встаю. Все ждала, будить тебя не хотела».

«Я тоже рано встал».

«Отчего так? Куды торопиться?»

«Не спится, Маша».

«Мой-то, — сказала она, понизив голос, — в область уехал. Совещание или чего».

Область — это означало областной центр, от нас, как до звезд.

«Он у тебя важный человек».

«Да уж куда важней».

Наступила пауза, я поглядывал на свою рукопись.

«Я чего хотела сказать. Василий Степаныч все одно до воскресенья не приедет... Может, у меня поживешь?»

«Неудобно, — сказал я. — Увидят».

«Да кто увидит-то. Аркашка, что ль? Он вечно пьяный. Или на усадьбе работает. Листратиха, так и шут с ней».

«Послушай-ка... — пробормотал я, взял ручку и зачеркнул неоконченную фразу. Мне было ясно, что не нужно никаких предисловий; может быть, позже мы вернемся к первым дням, а начать надо с главного. — Что это за усадьба?»

Ответа не было, я поднял голову, она смотрела на меня и, очевидно, думала о другом.

«Чего?»

«Что это за люди?»

«Которые?»

«Ну, эти».

«Люди как люди, — сказал Мавра Глебовна, разглаживая юбку на коленях. — Помещики».

«Какие помещики, о чем ты говоришь?»

«А кто ж они еще. Ну, дачники. Вроде тебя».

Вздыхнув, она поднялась и смотрела в окошко. Я налил молока в кружку.

«В старое время, еще до колхозов, были господа, вот в таких усадьбах жили, — раздался сзади ее голос. — Я-то сама не помню, люди рассказывают. Деревня, говорят, была большая, землю арендовали».

«У тех, кто жил в этой усадьбе?»

«Может, и у тех, я почем знаю. Их потом пожгли. Тут много чего было. И зеленые братья, и эти, как же их, — двадцатитысячники».

«Пожгли, говоришь. Но ведь дом цел».

«Может, не их, а других. Люди говорят, а я откуда знаю?»

Я сидел, подперев голову руками, над листом бумаги, над начатой работой, мои мысли приняли другой оборот. Смысл моего писания был заключен в нем самом. О, спасительное благодеяние языка. Письмо не средство для чего-то и не способ кому-то что-то доказывать, хотя бы и самому себе; письмо повествует, другим словами, вносит порядок в наше существование; письмо, думал я, укрощает перепутанный до невозможности хаос жизни, в котором захлебываешься, как тонущий среди обломков льда.

Она обняла меня сзади, я почувствовал ее мягкую грудь.

«Отдохни маленько».

«Я только встал!» — возразил я, смеясь.

«Ну и что?»

«Работать надо, вот что». К кому это относилось, ко мне или к ней, не имело значения; мы перебрасывались репликами, как мячиком.

«Куда спешить, работа не волк».

«А если кто войдет?»

«А хоть и войдет. Кому какое дело?»

«Еще подумают...»

«Ничего не подумают. Да кому мы нужны. Ну чего ты, — сказал она мягко, — не хочешь, что ль?»

«Хочу», — сказал я.

«Ну так чего». Мы направились по пустынной улице к

ее дому. Ни облачка в высоком небе. В горнице отменная чистота, массивный стол — теперь на месте хозяина восседал я — был накрыт белой скатертью. Бодро постукивали ходики. Мавра Глебовна внесла шипящую сковороду, спустилась в подпол, выставила на стол миску с темно-зелеными, блестящими, пахучими огурцами. Я разлил водку по граненым рюмкам.

Она раскраснелась. Она стала задумчивой и таинственной. Медленно водила пальцем по скатерти. Мы не решались встать.

В дверь скреблись, вошла, подняв хвост, мраморного цвета кошка и вспрыгнула на колени к Мавре Глебовне.

«Пошла вон...»

Гость сидел, несколько развалясь, упираясь затылком в спинку высокого резного стула, это была, несомненно, барская мебель, сколько приключений должно было с ней произойти, прежде чем она водворилась здесь! Водка подействовала на меня, время застеклилось, самый воздух казался стеклянным, и кровать, как снежный сугроб, высилась в другой комнате. Хозяйка встряхивала двумя пальцами белую кофту на груди, ей было жарко. Я смотрел на нее, на ее полную белую шею, на огурцы и тарелки, на мраморно-пушистого зверя, неслышно ходившего вокруг нас, мне казалось, что сознание мое расширилось до размеров комнаты; если бы я вышел, оно вместило бы в себя весь мир до горизонта. Я заметил, что думаю и воспринимаю себя без слов, думаю о вещах и обзираю вещи, не зная, как они называются, это было новое ощущение, насторожившее меня. Я склонился над столом и, стараясь сосредоточиться, тщательно налил ей и себе.

Подняв глаза, я встретился с ее взглядом, но и она смотрела как бы сквозь меня.

«Ну что, Маша...»

«А?» — сказала она, очнувшись.

«Я что-то забалдел. У тебя водка на чем настоена?»

«А ты кушай. Кушай... Эвон, сальцем закуси».

«Я сыт, Маша».

«Сейчас с тобой отдохнем. Я тебя ждала».

«Сегодня?»

«Я, может, десять лет тебя ждала».

Раздался стук снаружи, я слышал, как Мавра Глебовна говорила с кем-то в сенях. Она вернулась.

«Давай, что ли, еще по одной...»

«Давай», — сказал я. Она поднесла рюмку к губам, я залпом выпил свою.

«Кто это?»

«Листратовна, кто же еще, глухая тетеря».

«Что ей понадобилось?»

«Да ничего, — сама не знает. Увидала, небось, пришла поглядеть...»

«Ну вот; я же говорил».

«Милый, — сказала она, — чего ты беспокоишься. Ну, увидела, ну, узнала; да она и так знает. И шут с ними со всеми. Я тебе так скажу... — Она вздохнула, разглядывая рюмку, отпила еще немного и поставила. — Если б и Василий Степаныч узнал, то, знаешь... Может, и рад был бы».

«Рад?»

«Ну, рад не рад, а в общем бы сделал вид, что ничего не знает».

Я ковырял вилкой в тарелке, она спросила:

«Может, подогреть?»

Кошка сидела на подоконнике. Мавра Глебовна продолжала:

«Василий Степаныч человек хороший. Я ему век благодарна. Заботливый, все в дом несет. У нас, — сказала она, — ничего не бывает».

«Что ты хочешь сказать?»

«То, что слышишь. Неспособный он. Уж и к докторам ходил; а чего доктора скажут? Электричеством лечили, на курорт ездил. Вроде, говорят, переутомление на работе».

«Ты мне уже рассказывала...»

«А рассказывала, так и еще лучше. — Она широко и сладко зевнула. — Устала я чего-то. Не надо бы мне вовсе пить... А может, и напрасно, — проговорила она, взглянув на меня ясными глазами, — я с тобой связалась.. А? Чего молчишь-то?»

Ее пальцы, которые я теперь так хорошо знал, отколупнули пуговку на груди, закрыв глаза, она лежала среди белых сугробов, на своей высокой кровати, под вечер доила корову, среди ночи вставала и босиком, в белой рубашке, возвращалась с ковшиком холодного, острого кваса. И кто-то шастал под окнами. Мы пили и обнимались, и погружались в сон. Наутро голубой день сиял между занавесками и цветами, сверкал никелевым огнем и отражался в зеркале, и смутные образы сна не разоблачали перед нами свою плотскую подоплеку, разве только объясняли на причудливом своем языке моему постылому «я», так много значившему для меня, что оно обесценилось в круглой чаше ее тела, в запахе ее подмышек.

И вот... странное все-таки дело — человеческий рассудок, странное существо, хочется мне сказать, ведь он и ведет себя, как отдельное существо, упорно отстаивающее себя; лежа рядом с моей подругой на высоких подушках, бодрый и отдохнувший, предвкушая завтрак, я не мог не размышлять, и над чем же? Я раздумывал о том, как я буду описывать эти, не какие-нибудь попутные, не хождение вокруг да около, а именно эти события в моей автобиографии, и сомнения готовы были вновь одолеть меня, я испытывал определенную неловкость, не потому, что «стыдно» (впрочем, и поэтому, ведь стесняешься не только возможного читателя, но и самого себя), а скорее оттого, что в таких сценах есть какая-то неприятная принудительность. В наше время автор просто принужден описывать альковные сцены, иначе писанию чего-то не хватает. Чего же: правды? Если бы кто-нибудь мог объяснить мне, что такое правда... Описанная вплотную, когда водишь носом по ее шероховатой поверхности, пресловутая правда жизни искажается до неузнаваемости. У нас нет языка, который выразил бы смысл любви, ее банальную неповторимость, не жертвуя при этом ее внешними проявлениями.

Не так-то просто отвертеться от этой церемониальной процедуры, от этого торжественного акта, от уплаты по векселю, и кому не приходилось преодолевать внутрен-

нее сопротивление, приступая к исполнению долга, который налагают на нас величие минуты, ситуация, участь женщины и честь мужчины? Что-то похожее происходит с литературой: дошло до того, что без «этого» литература как бы уже и не может существовать. А с другой стороны — я пытаюсь поставить себя на место романиста. Мне кажется, я увидел бы себя в западне.

Мною употреблено выражение «банальная неповторимость». Процесс, описанный со всевозможной простотой и трезвостью, который можно представить с помощью букв и операционных знаков, алгебра соития, где по крайней мере время, необходимое для того, чтобы записать уравнение, совпало бы с реальным временем. Но что такое «реальное время»? То, что совершается в считанные мгновения, не может быть рассказано в двух словах, требуется нечто вроде замедленной съемки. Физиологическое время должно быть заменено временем языка, вязкой материей, в которой вы бредете, словно в густом месиве. Время языка растягивает время «акта» или, лучше сказать, время подготовки, и обрывается там, где температура рассказа должна была подняться до высшей точки. Вместе с ним иссякают возможности языка.

Я спросил Мавру Глебовну — мы сидели за завтраком, и нелепая мысль, бесстыдное любопытство, а быть может, и неумение понять женскую душу, заставили меня это сказать, я спросил: что она испытала в эту минуту? Она передернула плечами. А подробнее, сказал я. «Чего подробнее?» — «Что ты чувствуешь, — спросил я — когда я...» Станным образом я все еще не мог найти нужное выражение. «Ну, когда мы...»

«Чего спрашиваешь-то. Небось сам знаешь». И это был лучший ответ.

## XVI.

Ночью раздались выстрелы. Постоялец пробормотал: «Завтра, завтра...» Это были не выстрелы, а стук кулаком в дверь снаружи. Потом нетерпеливо застучали в окошко. Он выглянул, но ничего не было видно. Он спросил в сенях: кто там? Голос ответил:

«Проверка документов».

«Утром приходите», — буркнул постоялец. Его ослепил фонарь, похожий на маленький прожектор. Двое в шинелях вошли в избу, один был с портфелем, другой держал пистолет и фонарь. Постоялец зажег керосиновую лампу, человек, вошедший первым, два кубаря, голубые петлицы, должность — ночной лейтенант, сидя боком к столу, перелистывал паспорт.

«Кто еще живет в доме?»

«Я один», — сказал приезжий

«Сдайте оружие».

Постоялец пожал плечами.

«Есть в доме оружие?» — спросил второй, стоявший сзади.

«Кухонный нож».

«Шутки ваши оставьте при себе, — сказал человек за столом. — Фамилия? — Он смотрел на жильца и на фотографию. — Паспорт какой-то странный, — проговорил он, — что у вас там, все такие паспорта?.. От кого тут скрываетесь?»

«Ни от кого», — возразил приезжий. Он объяснил, что хозяин дома — его родственник.

«А это мы еще разберемся, кто тут настоящий хозяин, а кто подставной», — отвечал сидящий за столом, захопнул паспорт, но не вернул его, а положил рядом с собой.

«Обыскать», — сказал он кратко.

«Что же тут разбираться, — сказал приезжий, поглядывая на руки помощника, которые ловко шарили по его карманам. — Тех, кто здесь жил, давно уже нет!»

«Вы так думаете? — спросил лейтенант, поставил портфель на пол возле табуретки и принялся разглядывать бумаги на столе. — Это что?»

Личный досмотр был закончен, путешественник, присев на корточки, добыл из чемодана удостоверение, род охранной грамоты.

«Писатель, — брезгливо сказал лейтенант. — И что же вы пишете? Вот и сидели бы там у себя. Сюда-то зачем приехали?»

«Здесь тихо. Чистый воздух».

«Не очень-то тихо, — возразил лейтенант. — А насчет воздуха я с вами согласен. — Он помолчал и спросил: — Кто тут живет, вам известно?»

«В деревне?»

«Известно ли вам, кто проживает в этом доме?»

«Никто. Дом был заколочен».

«Интересно, — сказал человек за столом. — Очень даже интересно. А вот у нас есть данные, что сюда вернулся нелегально бывший хозяин».

«Откуда?»

«Что откуда?»

«Откуда он вернулся?»

«Из ссылки, — сказал лейтенант. — Да ты садись, так и будешь стоять, что ли? Имеются данные. Это, понятно, не для разглашения, но вам как писателю будет интересно».

«Мне кажется, вы опоздали...» — заметил приезжий.

«Я говорил, надо было выезжать немедленно», — проворчал помощник.

«А ты помолчи, Семенов... Почему же это мы опоздали?»

Приезжий пожал плечами. «Другое время».

Ночной лейтенант взглянул на ручные часы, потом на ходики, тускло блестевшие в полутьме.

«Часы-то ваши стоят. Как же это так. — Он поглядел на писателя. — Живешь, а времени не знаешь, — сказал он, перейдя снова на ты. — Подтяни гирию, Семенов. Гирию, говорю, подтяни... И стрелки переведи. Да что у тебя, едрена вошь, руки дырявые, что ли!»

Помощник, чертыхаясь, подбирал с полу упавшие стрелки. Лейтенант продолжал:

«Насчет опоздания я тебе вот что скажу: опоздать-то мы не опоздали. А вот что положение становится час от часу серьезней, классовый враг свирепеет, это верно. Вот и носишься по всему уезду. Обстановка такая, что только успевай поворачиваться... Я тебе так скажу. Если в прошлом году у кулаков запасы хлеба были, округленно, от 100 до 200 пудов, то теперь, в среднем, до 500, а в ряде случаев даже до тысячи... В феврале — в одном только

феврале! — органами было обыскано 366 мельников и кулаков, обнаружено, точно не помню... что-то около 70 тысяч пудов зерна. Это же сколько же народу можно накормить! А между прочим, рабочий класс голодает. А у них 70 тыщ пудов спрятано. Вот так. — Он поднялся из-за стола. — А теперь посмотрим запасы. Где лабаз?»

«Какие запасы, сами видите, что тут».

«Огород. Хлеб закопан в огороде».

«Ищите, копайте, — сказал писатель. — Авось что-нибудь найдете».

«Найдем, можешь быть спокоен. В феврале нами обнаружено 70 тысяч пудов».

«В феврале. Какого года?»

«Нынешнего, какого же еще... Семенов! Зови людей. А вы пока что... — он дописывал бумагу, — подпишите».

«Что это?»

«Протокол. И вот это тоже»

«Но ведь вы же еще, — пролепетал приезжий, — не закончили проверку... осмотр...»

«Все своим чередом; подписывайте».

На отдельном листке стояло, что такой-то обязуется сообщить в местное управление о появлении в доме или в окрестностях бывшего владельца дома, а также членов его семьи.

Приезжий возразил, что он никого здесь не знает.

«Это не имеет значения. Там разберутся».

«Где это там?» — спросил приезжий.

«Не прикидывайтесь дурачком. Где надо, там и разберутся».

«А все ж таки?»

«Не имею полномочий объяснять. Управление секретное».

«Так, — сказал, берясь за перо, путешественник. — Значит, в случае появления человека, которого я не знаю...»

«Или его родственников».

«Или родственников. В случае появления людей, которых я не знаю, я немедленно сообщу о них в управление, о котором тоже ничего не знаю».

Ночной лейтенант пристально взглянул на него.

«Вы что хотите этим сказать?»

«То, что сказал».

«Это мы слышали, — сказал лейтенант спокойно, — так вы это серьезно?»

«Видите ли... — пробормотал постоялец, чувствуя, что его мысли принимают несколько причудливое направление. — Видите ли, тут вопрос философский. Смотрите-ка, — воскликнул он, — уже светает!»

«Да, — сказал офицер, взглянув на часы. — Надо бы поторопиться. Эй, Семенов! Ты где?»

«Если я вас правильно понял, секретными являются не только деятельность управления, круг его обязанностей и так далее. Секретным является самый факт его существования. Не правда ли? Но ведь вещи, о существовании которых мы не знаем, как бы и не существуют. Возьмите, например, такой вопрос, — продолжал приезжий, придвигая к себе табуретку и усаживаясь, — как вопрос о Боге».

Лейтенант тоже сел и слушал его с большим интересом.

«В рассуждениях на эту тему, я бы сказал, во всей теологии имеется логический круг: рассуждения имеют целью доказать существование Бога, но исходят из молчаливой посылки о том, что он существует! Улавливаете мою мысль?»

«Улавливаю, — сказал лейтенант, потирая колени. — Только я тебе вот что скажу. Ты мне зубы-то не заговаривай».

«Вы меня не поняли. Я не о вашем учреждении говорю. Я его использую просто как пример. Уверяю вас, я совсем не собираюсь на него клеветать, наоборот. В конце концов сравнить его с Богом — это даже своего рода комплимент! Так вот, что я хотел сказать. В определение существования входит допущение самого факта существования, если же факт остается тайной...»

Лейтенант сощурился и гаркнул:

«Встать! Руки над головой. Лицом к стенке. К стенке, я сказал!..»

Вошел помощник.

«Обыщи его».

«Уже обыскивали», — сказал, повернув голову из-за плеча, постоялец.

«Разговорчики! Еще раз. Как следует».

«Ноги расставить», — сказал Семенов.

«Ты в башмаках у него смотрел? Стельки, стельки оторви!... Можешь садиться, — сказал он писателю. — Скажи спасибо, едрена мать, что некогда тобой заниматься... Подпишись здесь. И вот тут... Что там у тебя в крынке, молоко, что ль? Налей-ка мне. Так что ты там толковал насчет Бога? Есть Бог или нет?»

«С одной стороны... — забормотал приезжий. — А с другой... Если допустить, что...»

Лейтенант перебил его:

«А это кто?»

«Где?» — спросил приезжий.

«А вон», — кивнул в угол лейтенант.

«Богородица с младенцем».

«Да нет! Вон энти двое».

«Это святые братья-мученики».

«Семенов», — сказал лейтенант.

«Здесь».

«Ты в глаз не целясь попадешь?»

«Чего ж тут не попасть; запросто», — сказал Семенов, расстегивая кобуру.

«Не стоит, — сказал приезжий. — Это дешевая икона».

«Ты-то откуда знаешь?»

Путешественник ответил, что он немного занимался этими предметами: ремесленная работа начала века. Хотя и восходит, добавил он, к очень древним образцам.

Он испытывал странное желание говорить. Не то чтобы он был слишком напуган этим визитом, но ему казалось, что, разговаривая на посторонние темы, он как бы свидетельствовал свою непричастность. Непричастность к чему?

## XVII.

«Барин-красавец, не уходи, позолоти ручку, побудь со мной, не уйдут твои дела».

Две молодки шли по деревне танцующей походкой, босые, вея пестрыми лохмотьями юбок; одна уселась на ступеньках, подоткнув юбку, так что ткань натянулась между скрещенными ногами, другая, с куклой, завернутой в тряпье, — или это был ребенок? — двинулась дальше.

«Ну-ка покажи...»

«Нельзя, карты чужих рук не любят».

«А кто это?»

«Много будешь знать. Мои карты особенные. Всю правду скажут. Ох, барин-красавец. Не знаешь ты своего пути. — Она сгребла карты, встала. — Пусти в дом».

«Ты мне тут погадай».

«Не могу, карты в дом просятся. Пусти, не бойся. Сама вижу, у тебя красть нечего. Бедно живешь», — сказала она, войдя в избу, быстро осмотрелась, поместилась за столом, заткнув юбку между ног, поставила пыльные и загорелые ступни на перекладину табуретки и спустила на плечи платок со смоляных конских волос. Ловкие руки сдвинули в сторону мои бумаги, пальцы летали над столом, одну карту она проворно сунула за пазуху.

«Жульничаешь, тетка».

«Нехорошая карта, худая, не нужна она нам...»

Собрала и перетасовала все карты, среди которых мелькали совсем необычные картинки, может быть, карты тарóк, но вряд ли она что-нибудь в них понимала. Похлопала по колоде, молча протянула ладонь; я выложил трешницу, которую она мгновенно запихнула в желобок между грудей.

«Еще дай, барин».

«Хватит с тебя...»

«Правду скажу, не пожалеешь».

Она протянула мне узкую ладонь с колодой карт.

«Сними верхнюю, своей рукой подыми, что там есть?»

Это был король треф. Пророчица покачала головой.

«Все не то; видать, не веришь мне, не доверяешь, душу не хочешь раскрыть. Еще сними».

Оказалась женская фигура в плаще, окруженная звездами. Третью карту она сняла сама и прижала к груди.

«Погляди в зеркало, себя не узнаешь, пути своего не ведаешь, зачем сюда приехал, здесь злой человек тебя сторожит, за тобой следом ходит, пулю для тебя приготовил... Не ходи за рекой, он тебя там поджидает. Лучше уезжай, пока не поздно, не будет тебе здесь счастья, не место тебе здесь... И к этой не ходи, забудь про нее, — она показала карту, — она порчу на тебя наведет; а вот как поедешь, в вагон войдешь, кареглазая подойдет, не отпускай ее, она твоя суженая. Вижу, ох, вижу, тоска на душе у тебя, оттого что пути своего не находишь. Еще денег дай, не жалея, а за то тебе всю правду скажу, только сперва икону закрой. Закрой икону...»

«Бесстыдница, ишь повадилась! — слышался снаружи голос Мавры Глебовны. — Не видали вас тут... А ну катись отсюда, чтоб духу твоего тут не было...» Ей отвечал чей-то визгливый голос.

Она вступила в избу и увидела гостью.

«А! и эта тоже. Зачем ее пустил, пошла вон...»

«Чего раскричалась-то, — возразила гадалка, собирая карты, — не больно мы тебя и боимся. А то смотри, беду накличешь...»

«Ах ты, дрянь, еще грозить мне будет, — бодро отвечала Мавра Глебовна. — Я их знаю, чай не первый раз, — сказала она мне, — наемни Листратовну обокрали, мальчонки вещи унесли... Пошла вон из избы, кому говорю!»

«Беду зовешь, вот-те крест, дом свой сгубишь, мужик от тебя уйдет... О-ох, пожалеешь».

«Змея подколотная, катись отсюда!»

Женщины вышли наружу, я следом за ними. Прорицательница прыгнула с крыльца, перед домом ее ожидала другая, с куклой на руках.

«И надо же, прошлый раз прогнала, они опять тут как тут. А ну живо, чтоб я вас тут больше не видела, поганки, шляются тут, людям покою не дают, и-ишь повадились!»

«Ты доорешься, ты доорешься», — приговаривала первая, поправляя платок.

«А вот этого-того — не видала? — сказал другая, сунула сверток своей товарке и повернулась задом к крыльцу. —

Накось вот, съешь!» — говорила она из-за спины, подняв юбку и кланяясь.

«Испугала, подумаешь, — отвечала презрительно Мавра Глебовна, — хабалка бесстыдная, тьфу на тебя!»

«А вот тебе еще, вот этого не видала?»

«Как же, испугались мы. И надо же, прогнала их, они снова».

«А вот тебе еще, нако-сь вот!»

«Дрянь этакая, еще раз припрешься, я тебе...»

«Дурной глаз наведу, доорешься».

«Только приди попробуй, еще раз увижу...»

«И приду, тебя не спрошусь...»

Обе двинулись в путь, гордо покачиваясь и пыля почернелыми пятками. Мы с Машей стояли на крыльце.

«И ты тоже. Нечего их пускать, чего им тут надо».

Она добавила:

«Боюсь я их. Еще нагадают чего-нибудь».

«Ты им веришь?»

«Верь не верь, а что цыганка наворожит, то и будет».

«Ты сама тоже гадаешь».

«Я-то? — усмехнулась она. — Это я так, в шутку».

Слегка парило; день был затянут, как кисеей, облаками; леса вдали неясно темнели в лиловой дымке. Немного погодя я побрел к реке.

## XVIII.

Я шагал по широкой лесной дороге, и навстречу мне шла фигурка в белом, под белым кружевным зонтиком, какими, может быть, защищались от солнца в чеховские времена. «Роня, — воскликнул я, — какая встреча!»

Она остановилась. Я подошел и сказал:

«Представьте себе, мне сейчас нагадали, что мне не следует появляться за рекой».

«Поэтому вы и пришли?»

Она свернула зонтик и держала его двумя руками за спиной, мы пошли рядом. Замечу, что ее нельзя было назвать хорошенькой; еще тогда, в мой первый визит, я мысленно отнес ее к типу девушки-подростка, который

когда-то называли золотушным: худенькая, почти истощенная, с нездоровой голубовато-молочной кожей. Пожалуй, только густые темно-золотистые волосы украшали ее.

«Вот именно. Бросил вызов судьбе».

Как-то сразу в нашем разговоре установилось ранговое различие, оттого ли, что барышня была некрасивой, или из-за разницы лет: я смотрел на нее сверху вниз, и она, очевидно, находила это естественным. Все же я должен был что-то сказать и заметил, что мне нравится ее необычное имя, а как будет полное? Она ответила: Рогнеда, явно стесняясь. Ого, сказал я. Есть такая опера Серова. Любит ли она музыку? В таком роде продолжалась беседа.

«Кто же вам это нагадал?»

Мы шли рядом, она спросила, глядя на свои белые туфельки, ступая несколько по-балетному:

«Вы верите в судьбу?»

«Здесь становишься суеверным, — сказал я, — вам снятся сны?»

«Иногда».

«Мне на днях приснилось... Перед этим я совсем было уже проснулся, но опять задремал. И вижу, что я уже одет, утро, выхожу на крыльцо. Вспоминаю, что я забыл что-то. Возвращаюсь и вижу свою комнату в шерстяном свете».

«Почему шерстяном?»

«Такое было чувство: мягкий и колючий свет».

«И все?»

«Собственно, да. На этом все закончилось. Но как-то очень запомнилось. И, знаете, вот что любопытно, — продолжал я, — не то чтобы этот сон что-то особенное значил. Но я не в состоянии решить, был ли это сон или... литературная конструкция, которая возникла в полузатуманном сознании и казалась очень удачной, а когда я окончательно проснулся, то вижу, чепуха».

«Вы писатель?»

Я почувствовал досаду. Во мне шевельнулось было желание пококотничать перед 17-летней барышней или сколько ей там было, но что я мог ей сказать?

«Почему вы не отвечаете?»

«Я сам не знаю, Роня».

Пожалуй, и тут была доля кокетства, но, видит Бог, я был искренен. Другое дело — что считать искренностью? Можно быть откровенным и вместе с тем чувствовать, что говоришь не то.

Я добавил:

«Скорее был им».

«А сейчас?»

Я снова пожал плечами. Мне было приятно, что меня спрашивают, и в то же время скучно отвечать.

«Значит, вы больше ничего не пишете?»

«Гм... так тоже сказать нельзя. Я попробую объяснить, если вам так интересно, но сначала ответьте мне на один вопрос...»

Я взял у нее из рук белый зонтик из шелковой ткани вроде той, из которой шьют абажуры, с кружевной оборкой, с тонкой костяной ручкой, открыл, снова закрыл.

«Таких зонтиков не бывает. Такие зонтики можно увидеть только в кино».

«Почему же в кино?» Она отняла у меня зонтик. Она ждала продолжения.

Мы свернули с просеки на тропинку в лес.

«Мне не совсем понятно... Впрочем. Я слишком мало знаю ваше семейство, которое, должен сказать, внушает мне большую симпатию!»

«Спасибо».

«Так вот, может быть, я слишком поспешно сужу. Но мне кажется, что все это какая-то игра... Ваши родители, дядя. Или кто он там».

Она возразила:

«А ваши слова, то, что вы сейчас произнесли, — не игра?»

«Не понимаю».

«Я хочу сказать, разве кто-нибудь сейчас так выражается: внушать симпатию, семейство?»

«Да, — сказал я, — мы с вами так выражаемся. Это наш язык».

«Но это язык, на котором давно никто не говорит. Это

язык сцены. И действие происходит при царе Горохе. Может, и нас тоже давно уже нет?»

«Вы так думаете?» — сказал я рассеянно. Поперек поляны лежало дерево, я расстелил свою куртку на замшелом стволе. Роня села и раскрыла зонтик.

Вдруг она вскочила, оглядываясь и отряхивая подол.

«Они забрались ко мне под платье! — Она переступала ногами в белых чулках и что-то счищала с внутренней стороны коленок. — Пожалуйста, отвернитесь».

«Пойдемте», — сказал я.

«Нет. Пойдите. Посмотрите, как они бегут друг за другом, как они заняты. И так целый день, без передышки... Откуда такая энергия?»

«Ваш дядя...»

«Двоюродный», — поправила она.

«Он из немцев?»

«Он православный. — Мы шли по лесу. Она добавила: — Он очень хорошего происхождения».

Я вспомнил рассуждения о судьбе России, комментарии Петра Францевича по поводу явления двух нищих и спросил:

«А чем он, собственно, занимается?»

«Он доктор искусствоведческих наук... Но вы мне не ответили».

«Вы тоже не ответили, Роня...»

«Я первая спросила».

«Что вы хотите узнать?»

«Вы приехали сюда, в эту глушь, чтобы... ? Или я вас неправильно поняла».

«Вас это действительно интересует?»

«Интересует».

«Почему мы должны говорить непременно обо мне?»

## XIX.

На самом деле мне хотелось говорить. Может быть, эта девочка слегка волновала меня, может быть — если уж на то пошло, — во мне заговорил инстинкт охотника, хотя, чего уж там говорить, я принадлежу скорее к породе мужчин, которые предпочитают не охотиться, а чтобы за

ними охотились. Но мне не с кем было говорить о предмете, который был моей последней надеждой, от которого зависело теперь все мое существование.

Помявшись, я ответил, что пытаюсь привести в порядок свое прошлое.

Фальшивое слово: получалось, что я человек «с прошлым».

«Видите ли, у каждого человека рано или поздно возникает желание разобраться в своей жизни, подвести итог, что ли...», — пробормотал я.

«Это автобиографический роман?»

«Не совсем. В том-то и дело, что я бы хотел покончить раз навсегда с беллетристикой, с вымышленными героями...»

«Я думала, мемуары пишут в старости!»

«Для мемуаров моя жизнь недостаточно богата внешними событиями. Кроме того, события меня не интересуют. Меня интересуют, — сказал я, — логика внутреннего развития».

И уже совсем упавшим голосом, чувствуя, что говорю не то, добавил:

«Знаете, писание вообще очень трудная вещь».

Она шла впереди меня по узкой тропинке, помахивая зонтиком; я услышал ее голос:

«Можно я вам сделаю одно признание?»

«Какое признание?» — спросил я испуганно.

«Я тоже писательница. То есть, конечно, не писательница: я пробую. Хотите, как-нибудь прочту?»

«С удовольствием».

«Это вы говорите из вежливости».

«Разумеется», — сказал я.

«Вот видите, я так и знала».

«Можно быть вежливым и в то же время искренним».

«Да? — спросила она удивленно. — У вас есть странная черта».

Она сидела на корточках, подобрала подол, ее коленки, обтянутые белыми чулками, выглядывали из-под платья, жалкие коленки школьницы, круглые женские колени, оттого, что она опустила на корточки, обрисовались ее

полудетские бедра, ее тело понемногу оправлялось от первого шока юности, зонтик валялся рядом.

Она что-то разглядывала на земле.

«Какая черта?»

Она встала.

«Вы не говорите да или нет. У вас как-то так получается, что и да, и нет».

«Что ж... Хм».

«Псчему вы так нерешительны?»

«Потому что сама жизнь так устроена. Сама жизнь нерешительна, Роня».

«А по-моему, жизнь требует определенных решений. Во всяком случае, мужчина всегда должен знать, чего он хочет».

«Вы меня не совсем правильно поняли. Конечно, каждому из нас приходится принимать то или другое решение. Хотя, на мой взгляд, это совсем не обязательно. На самом деле никогда не существует одного единственно правильного ответа. Мы живем в мире версий».

«Это для меня слишком сложно».

«Не думаю. Просто вы, как и большинство людей, инстинктивно стараетесь упростить вещи и выбираете из многих версий одну. Это и называется проявить решительность».

«Вы и пишете так же?» — спросила она.

«Как?»

«А вот так: и то, и се, а в результате ни то ни се».

«Если вы имеете в виду мое литературное творчество, то я действительно... сомневаюсь в действительности. Видите, получается дурной каламбур. Я просто хочу сказать, что действительность всегда ненадежна, проблематична: и то и се, как вы удачно выразились».

«Это все философия. А я говорю о жизни, об этом лесе, о том, что вокруг нас!»

«Я говорю о литературе. Я сомневаюсь, что эту действительность можно описать — во всяком случае, описать однозначно. Это касается самых главных вопросов — как к ним подступиться. Вот в чем дело».

«Что вы называете главными вопросами?»

«Кстати, Роня, — заметил я, поглядывая на верхушки деревьев, — а сколько сейчас времени?»

«Это и есть главный вопрос?» — сказала она, смеясь.

«В некотором смысле, да».

«А другие вопросы?»

«Это всегда одни и те же вопросы. Жизнь, смерть. Любовь. Отношения двух людей. Секс».

Она хмыкнула. Я взглянул на нее. Мне показалось, что мы говорим об одном, а думаем о другом — о чем же? Я потерял нить. Почему мы вдруг заговорили об этом?

Последняя фраза была произнесена вслух.

«Вы собирались посвятить меня в тайны творчества...»

«Чепуха, какие там тайны».

«Нет, все-таки».

«Что все-таки?»

«Вот вы говорили об игре».

«О какой игре?»

«Не притворяйтесь. Вы прекрасно знаете, что я имею в виду».

«Понятия не имею», — сказал я.

«Перестаньте! Конечно, мы играем. Мы играем самих себя, и в то же время... Например, сейчас мы играем в барышню и кавалера. Конечно, — добавила она, — совсем глупую барышню и солидного, знающего себе цену кавалера».

«Хм, допустим; что из этого следует?»

«А то следует, что если я барышня и дворянская дочь, то и должна ею оставаться».

Она встряхнула головой, волосы были прекрасные, ничего не скажешь, бегло оглядела свой наряд и подняла на меня глаза, как если бы перед ней стояло зеркало.

«Дворянская дочь, — сказал я. — Вот как? Интересно».

«Да, — отрезала она. — Так что все эти темы, позвольте мне заметить, совершенно не подходят pour une demoiselle de mon âge\*».

Я развел руками, несколько сбитый с толку.

«Скажите... — небрежно проговорила она, назвав меня по имени и отчеству. Разгладила на руках тонкие перчатки, выпрямила едва заметную грудь и раскрыла над головой зонтик. — Я вам нравлюсь?»

«Вы прелестны, Роня».

«Будем считать этот ответ признаком хорошего воспитания. Скажите это по-французски».

Я развел руками.

«Но ведь вы поняли, что я сказала».

Я кивнул.

«Вы, кажется, лишились речи!»

«Я согласен, Роня, — сказал я, — что все, что я старался вам внушить, совершенно не для ваших ушей».

«Но с другой стороны, вы сами говорите, что все в жизни так зыбко и неоднозначно... Относится ли это к любви?»

«Разумеется».

«Не будете ли вы так добры пояснить ваши слова».

«Охотно, — сказал я, — но лучше останемся в пределах литературы».

«Вы сами себе противоречите. Разве литература и жизнь — это...»

«Далеко не одно и то же. Вы сказали, что мы кавалер и барышня. С барышнями не полагается говорить о жизни».

«Хорошо, будем говорить о литературе. Итак?»

Некоторое время мы шли молча, у меня было чувство, что нечто начавшееся между нами, растеклось, ушло в ничего не значащие слова, — или они что-то значили?

«Видите ли, — заговорил я наконец, — в разные эпохи любовь описывалась по-разному. Что касается нашего времени, то приходится констатировать, что описание попросту невозможно! Описывать чувства? Это делалось тысячи раз».

«Но каждый человек открывает любовь заново».

«Может быть. Но слова все те же. И фраза, которую вы только что произнесли, тоже произносилась уже тысячи раз. Может быть, этим и объясняется то, что писатели переступили, так сказать, порог спальни. Хватит, сказали они себе, рассуждать, вернемся к действительности. Только и здесь они ничего нового не открыли».

«Видите, я похвалила вашу воспитанность, а вы снова».

«Что снова?»

\*Для барышни моего возраста (фр.)

«Опять заговорили о том, что не полагается слушать благовоспитанным девицам... Знаете что, — проговорила она, — другой раз как-нибудь; а сейчас расстанемся. Неудобно, если нас увидят вдвоем в лесу».

За деревьями уже виднелась усадьба.

## XX.

Я потерял счет дней. До сих пор я считал это изобретением беллетристов, но это произошло на самом деле. Полдень года длился и длился, и право же, не все ли равно, какое сегодня число, какой день недели? То и дело я забывал рисовать палочки и в конце концов забросил календарь. Я знал, что лето в полном разгаре и еще долго короткие ночи будут чередоваться с долгими, знойными днями. По-прежнему утром, когда я выходил на крыльцо из прохладных сеней, сверкало солнце позади моего дома, кособокая тень медленно укорачивалась на белой от пыли дороге. Все цвело, все млело и увядало под пылающим небом. По целым дням я валялся полуголый в огороде, раздумывая над своим трудом, и вел дневник. Этот дневник, который всегда лежал под рукой на подстилке, был моим изобретением, если угодно, это был компромисс: устав чертить завитушки, я решил, что мои сомнения могут быть плодотворны, если доверить их бумаге, и самый рассказ о том, как я пытаюсь взяться за дело, есть часть моего дела. Словом, я решил вести дневник своей нерешительности: вместо того, чтобы писать, я писал о том, как я буду писать, или, вернее, о том, как не следует писать. С замиранием сердца я думал о том, что нашел выход, ведь главное, не правда ли, — это копить написанные страницы. Я вспомнил один старый замысел: несколько лет я был увлечен проектом сочинить некий антироман — книгу о том, как не удастся написать роман. Сюжет есть, все есть, а роман не получается; это и есть сюжет.

Мне стало легко и весело. Я записал в дневнике, что завтра не буду делать никаких записей; жуя травинку, с увлечением я писал о том, что значит в жизни писателя

день, проведенный sine linea. На другой день рано утром, с ромашкой в зубах, с купальными принадлежностями под мышкой, я пришел в усадьбу. Экипажи ждали перед домом. В беседке Петр Францевич, весь в белом, в соломенной шляпе с петушиным пером, сидел над большим цветным планом окрестностей, который, замечу попутно, он сам начертил и раскрасил; в центре, подобно Иерусалиму на старинных картах, находилось поместье. Роня и ее мать уселись в просторной рессорной коляске, я напротив, рядом с могучим Василием Степановичем и спиной к Петру Францевичу, который вызвался править. Позади нас стояла телега с провизией, на передке помещался Аркадий, который по этому случаю облачился в армяк и насадил на голову древнюю фетровую шляпу; Мавра Глебовна сидела между корзинами, мы не разговаривали, здесь действовали другие правила. Что касается хозяина, почтенного Георгия Романовича, то он остался дома для беседы с управляющим (что это значило, я не стал выяснять) и в данный момент стоял на крыльце веранды, грузный и краснолицый, собираясь махнуть нам рукой на прощанье.

Мышастый жеребчик по имени Артур подрагивал и переступал задними ногами. Дамы раскрыли зонтики. «Ну-с», — бодро произнес наш возница. «Храни вас Бог!» — прокричал с крыльца Георгий Романович.

Мне тотчас представился классический сюжет: хозяин возвращается в дом, где Анюта, с занятым видом, опустив глаза, шныряет из комнаты в комнату. Скрипит дверь в кабинете... «Звали?» — «Да: вот тут то да се; да ты подойди поближе. Что так раскраснелась?» — «Бежала шибко». — «Куда ж ты торопишься?» — «Дела, барин. Работа ждет». — «Не уйдет твоя работа. Анютушка! побудь со мною». — «Лучше другой раз». — «Да когда ж другой раз; мы с тобой одни». — «Ах, барин, опять вы за свое. Пустите, барин». — «Анютушка... какая ты». — «Да ведь опять забеременею. Мне расхлебывать, не вам».

Коляска катилась по лесу, было все еще рано, птицы перекликались, и особенное чувство благодарности за жизнь, за это утро, за то, что мы существуем, охватило

всех. Дорога слегка петляла, солнце сверкало в кронах деревьев то слева, то справа от нас. Следом, блюдя некоторое расстояние, скрипела телега с прислугой, сидя спиной к вознице, я видел мелькавшую за серо-золотистыми стволами сосен, непрерывно кивающую голову мерина, надвинутую на уши шляпу Аркадия, покачивающееся, освещенное солнцем и как бы лишенное черт лицо Мавры. Мой сосед, полуобернувшись, давал указания Петру Францевичу, высокомерно молчавшему. Василий Степанович заявил, что знает эти места как свои пять пальцев. Возница всем своим видом показывал, что он здесь тоже не чужой. Деревья расступились, экипажи выехали на открытое пространство.

Василий Степанович показал на низкие сооружения на краю поля и арку с флагами, к ней вела, постепенно расширяясь, грязная дорога.

«Но!» — ответил Петр Францевич. Артур наддал, мы понеслись, подсакивая на рессорах, вдоль лесной опушки.

Мать Рони спросила:

«А где же коровы?»

«Какие коровы?» — спросил Василий Степанович.

«Вы сказали: коровники. Мне кажется, если выстроены коровники, то должны быть и коровы».

«Само собой, — возразил Василий Степанович, — но тут, как бы вам сказать, случай особый. Хотите, расскажу. Я как завотделом обязан присутствовать на сессии».

«Это какая же такая сессия?» — надменно спросил с козел Петр Францевич.

«Будто вы не знаете. Сессия районного совета».

«Угу. И чем же вы там занимаетесь?»

«Чем занимаемся, — сказал, усмехнувшись, Василий Степанович. — Делами занимаемся, вопросы рассматриваем. Сессия, известное дело, сама ничего не решает, решение готовим мы, а ихнее дело проголосовать. Я к чему это рассказываю. Дали слово одной доярке: поделиться передовым опытом».

«Как интересно», — сказала мать Рони.

«Погодите... Дали, значит, ей слово. Вот она делится.

Мы, говорит, тоже решили откликнуться на постановление о крутом подъеме животноводства. На нашей ферме содержится двадцать коров. Но, понимаете, товарищи депутаты. Мы столкнулись с таким вопросом, что весна уже проходит, лето на носу, давно пора выгонять скот на пастбища. А он стоит и не может выйти».

«Кто не может?»

«Скот не может выйти. Столько накопилось за зиму навоза, что коровы стоят, простите, в дерьме по самое брюхо. Еще немного, и, как говорится, с концами. Вот тебе и передовой опыт».

Коляска катилась вдоль леса, телега тащилась следом. Время от времени нас потряхивало, Роня, с полузакрытыми глазами, предавалась мечтам, ее мать, поджав губы, молча смотрела перед собой.

«Н-да, — отозвался с козел Петр Францевич, — хороши работнички. Ситуация Авгиевых конюшен. Впрочем, решение для такого случая уже давно найдено. Десятый подвиг Геракла».

«Не понял».

«Геракл, чтобы очистить от навоза конюшни, пустил туда воды двух рек».

«Где ж это было?» — спросил Василий Степанович.

«В Греции».

«Ну, может, у них это возможно, а у нас другие условия. Короче говоря, куда денешься. Бросили старые коровники и построили новые: вон эти самые».

«До следующего раза?» — спросил Петр Францевич.

Василий Степанович ничего не ответил.

«Да, но где же коровы? Я не вижу коров».

«А хрен их знает», — мрачно сказал Василий Степанович, и общество погрузилось в молчание. Дорога шла на подъем, опушка леса отодвинулась. Все шире раскрывалась и расступалась перед нами окрестность, поле казалось дном плоской перевернутой чаши, коровники, окруженные черной жижей, и деревянная арка с выцветшими флагами и лозунгом остались внизу, впереди синели леса. И почти уже нереальные, угадывались за ними другие, дальние и едва различимые лесные просторы.

Дамы дремали, повисшая голова Василия Степановича, с открытым ртом, моталась рядом со мной, на козлах величественно-неподвижно возвышалась фигура Петра Францевича с расставленными руками, в которых висели возжи.

«Где мы, собственно, едем?» — спросила, очнувшись, мать Рони. Коляска спускалась в ложину среди кустарника, закрывшего мало-помалу горизонт и синие дали; конь Артур, прядая ушами, осторожно ступал по еле видной колее, ветви обшаривали нас в зеленом сумраке, у Петра Францевича чуть не сорвалась с головы соломенная шляпа.

Василий Степанович, знавший окрестности, как свои пять пальцев, храпел и раскачивался. Лошадь шла все медленней и наконец остановилась, потеряв дорогу.

«Мы заблудились, Пьер!» — в ужасе прошептала мать Рони.

«Тем лучше, маман, как интересно!»

Василий Степанович открыл глаза, пожевал губами, поинтересовался, где мы. Никто не ответил, он обернулся к вознице. «А это что такое?» — осведомился он, увидев, что Петр Францевич расстелил план на коленях.

«Карта нашего уезда».

«Уезда, гм. Уездов теперь нет, драгоценнейший. И что же вы там нашли?»

«К вашему сведению, — холодно сказал Петр Францевич. — Здесь все есть: и ваша деревня, и...»

«Я эти места знаю. Я здесь вырос. Мальчонкой в этой самой речке барахтался. В общем, не надо нам никаких карт, поехали, давай», — промолвил Василий Степанович, переходя на «ты», хотя не совсем ясно было, к кому это «ты» относится. Артур выволок нас на лужайку, которая оказалась берегом реки; на той стороне, вдали виднелась деревенька и обломок церкви. Внизу между ветлами и кустами обнаружилась маленькая песчаная отмель. Несколько времени спустя, скрипя колесами, подъехала телега с Аркашей и Маврой Глебовной.

«Маман!» — послышался голос Рони.

Она стояла у воды, в купальнике, освещенная солнцем. Я вышел в плавках из-за кустов, и мы бросились в воду.

## XXI.

Если точно соблюдать последовательность событий, — если называть событиями обыкновенный банальный пикник и обыкновенные разговоры, — то дело было так: подъехали к речке, и я предложил сперва искупаться, а потом уже сесть за трапезу. Предложение было встречено общим согласием, прислуга занялась приготовлениями на лужайке, а мы втроем — я, Петр Францевич и Василий Степанович — отправились вверх по течению реки, предоставив маленький пляж в распоряжение женщин.

Под ветлами, среди ветвей, вибрирующих в темной воде, не было дна, зато на солнце, на середине реки вода была теплой, под ногами почувствовалось песчаное дно; я потерял из виду моих спутников, вступивших в нескончаемый разговор о проблемах сельского хозяйства; ближе к противоположному берегу течение вновь убыстрялось; выбравшись, я лег на траву. В вышине надо мной плыли рисовые облака, и такие же прозрачные, невесомые мысли струились на дне моих полузакрытых глаз, я думал о том, что в некотором особом состоянии самоотчуждения мы способны следить за нашей мыслью, не принимая в ней участия, я думал, что для того, чтобы наслаждаться жизнью, нужно, в сущности, отстраниться от жизни. Зыбкие воды неслись передо мной — темный, дрожащий и вспыхивающий на солнце поток. «Ку-ку!» — раздался голос рядом, я отвел руку от лица, щурясь от солнечного сияния, и увидел Роню, стоявшую надо мной в полосатом, белом с сиреневым купальнике, увидел ее ноги, слишком длинные оттого, что я смотрел на них снизу, обтянутый купальником лобок и возвышения груди. Солнце стояло у нее за спиной, лицо казалось темным в окружении пламенеющих волос. Она присела на корточки, держась одной рукой за землю, ее колени блестели. «Мне кажется, — сказал я, приставив ладонь к глазам, — таких купальных костюмов в то время еще не носили. Если я ошибся, поправьте меня». — «Вы ошиблись, — возразила она, — бикини появились в конце века».

— «Но мы должны договориться, по крайней мере, — продолжал я, — в каком времени мы живем. Я думаю, они назывались тогда иначе...» — «Разве это так важно?» — «Во всяком случае, — сказал я, смеясь, и положил руку на ее колено, — их должны были носить исключительно смелые девицы». — «Э, так мы не договаривались, — сказала она. — Уберите вашу руку, иначе я потеряю равновесие. У меня и так ноги затекли». — «Я задремал, — пробормотал я, — может, и вы мне снитесь, Роня?» — «Может быть», — сказала она. «Но ведь во сне, не правда ли, все позволено. Во сне все происходит так, как оно происходит, во сне не надо спрашивать разрешения». Она опустила на колени, оперлась ладонями о траву, и еще заметней выступили ее ключицы над круглым вырезом купальника.

Кончиками пальцев она слегка провела по волосам у меня на груди: «Как шерсть». — «Человек произошел от обезьяны, — сказал я. — По крайней мере, мужчина». — «Эх, вы», — сказала она с упреком. «В чем дело, Роня?» — «Почему вы говорите банальности? Почему мы должны вести себя, как самые пошлые... — она запнулась. — Или вы считаете, что я ничего другого не заслужила?»

Так или примерно так происходили «события», если считать событиями слова, что всегда казалось мне противоестественным. Устав сидеть на корточках, она уселась вполоборота, поджав ноги, моя ладонь покоилась на ее бедре, не пытаясь продолжить знакомство с ее телом. Она взглянула на мою руку. «Я жду», — сказала она.

«Чего вы ждете?»

«Я жду, когда вы извинитесь».

«За что?»

«Вы злоупотребили моим доверием».

«Роня, — проговорил я. — Во сне все разрешается».

«И тем не менее».

«Успокойтесь... мы не выходим за рамки».

«За рамки чего?»

«Времени, разумеется».

Я перевернулся на живот, подпер голову ладонями. Роня тоже изменила позу, вытянула ноги и оперлась о

землю рукой, такой слабой и тонкой, что, казалось, она вот-вот переломится в локте.

«Вы мне все-таки так и не объяснили...»

«Что не объяснил?»

«Давеча, когда мы гуляли в лесу».

«Я же вам сказал». После этого наступило молчание, ни малейшей охоты о чем-либо рассказывать у меня, разумеется, не было, но опять же я не мог подавить соблазн слегка пококотничать перед этой барышней, подразнить слегка ее любопытство. Я был искренен с Роней; моя искренность была наигранной. За кого она меня принимала? Мое замешательство подстрекало ее воображение.

«Кто я такой, гм... Пожалуй, вы примете то, что я скажу, за желание покрасоваться или заинтриговать вас, но, уверяю вас, ничего подобного... — проговорил я лениво, — я вообще совсем не то, чем я вам, по-видимому, представляюсь, я даже не то, чем я кажусь самому себе. Я, знаете ли, вообще не я, а он!»

«Как это?»

«А вот так. Он приехал в деревню, он поселился в заколоченной избе. Он взошел на крыльцо... Понимаете: не я, а он».

Я взглянул на Роню, или Рогнеду, или как там ее звали, и мои глаза словно под действием силы тяжести соскользнули на ее шею, ключицы, живот. Она выдержала этот невольный осмотр.

«Хорошо, — сказал я, — только это сугубо между нами. Поклянитесь, что никому не скажете. Нагнитесь, я вам скажу на ухо...»

«Зачем же на ухо; здесь никого нет».

Она наклонилась ко мне, я мгновенно перевернулся на спину, обхватил ее за шею, так что она чуть не повалилась на меня, и что же мне еще оставалось делать? Я поцеловал Роню.

Клянусь, при всей неожиданности этого события, — она его ждала.

«Mais... vous êtes impossible, — пробормотала она, — там, наверное, заждались...»

Я сидел, обхватив колени руками; ну вот, подумал я ни

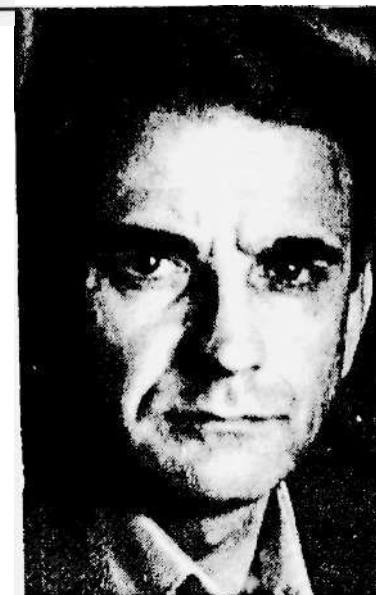
с того ни с сего, эксперимент удался. О чувствах не могло быть и речи. Мне показалось, что она ответила еле заметным движением губ на мой поцелуй, словно полусознательно хотела подогреть желание; словно чувствуя, что температура падает. Все шло как по-писанному. Если бы я взялся сочинять подобную сцену, мне не осталось бы ничего другого, как придумать то же самое, те же реплики; мне стало ясно, что «эксперимент» состоял именно в том, чтобы убедиться в рутинности наших слов и, увы, наших побуждений.

Согласно правилам, я должен был выступить в роли совратителя. От меня ждали поступков — иначе говоря, от меня ждали слов. В духе того времени, которое цепко держало нас, из которого — вот смех — мы не могли выбраться, от меня ждали признаний, которым не следовало доверять, уверений в том, что я ни на что не надеюсь. «Ни на что» должно было означать, что я именно на «это» и надеюсь. Моя любовь нуждалась в риторике, как тело требует одежды, чтобы подчеркнуть свою соблазнительность.

Отшатнувшись — или сделав вид, что она от меня отшатнулась, — она медлила: этого требовал сценарий. Она ждала слов. Чего доброго, она ждала клятв. Если же я молчу, значит, что-то должна сказать она: например, что, вопреки тому, что «случилось», она считает меня честным человеком. И тут, я думаю, она почувствовала, что я не то чтобы не владею искусством любовного красноречия, но принадлежу времени, когда красноречие лишилось смысла. Все слетело с нас обоих — игра, и правила, и французские фразы, осталась девочка в смятении оттого, что ее впервые поцеловали, и скучающий гражданин без определенных намерений и определенных занятий.

«Но вы так и не ответили», — пробормотала она. Вскочив, она побежала к реке, с плеском, с шумом бросилась в воду и поплыла к тому берегу.

*Окончание в следующем номере*



*Юрий КУВАЛДИН*

## **ТИТУЛЯРНЫЙ СОВЕТНИК**

*Повесть*

В пять утра Олегу Олеговичу сильно захотелось есть. Он перелез через толстую жену, так как спал у стенки, и босиком, зевая, проследовал на кухню. Слабый свет из кухонного окна через тюль осветил всю его фигурку. Это был, что называется, много раз описанный странными русскими перьями типический экземпляр титулярного советника, которых в одной Москве насчитывается столько, что собьешься со счета, и все титулярные советники хотят есть, ну, разумеется, не точно в пять утра, а по-разному, в течение суток, кто когда. Говорят, что теперь с красными флагами на улицы выходят те, кто хотят есть. Но Олегу Олеговичу казалось, что только ему одному хотелось есть. Странно, конечно, он был устроен, но по образу и подобию, как и подобает.

Он долго шарил по кухне в поисках еды, но кроме остатков гречневой каши на дне кастрюли ничего не нашел, даже хлеба. В нервном отчаянии он стал впихивать в себя кашу холодную эту. Что ж делать, виновато

правительство, приватизация, коммерциализация, номенклатура — бывшая и настоящая, долларизация, разгул преступности, инфляция, начальник отдела, главный бухгалтер и мерзкий московский климат! Это он, климат, сделал Олега Олеговича похожим на мопса — морщинистое серое лицо с жиденькой бородкой, которую когда-то в юности отпустил для солидности, и так и оставил на всю жизнь, даже удобно — бриться не надо. Роста он был низенького, телосложения — щуплого, а есть хотел, как Поддубный. Хотя Олег Олегович был не Поддубным, а подкаблучником, то есть в семье правила жена, а он как бы был при ней, вроде посыльного.

Олег Олегович проглотил кашу, икнул и сел на табурет, уставившись в окно. Никаких мыслей в голове не было, одно отражение, согласно Марксу, реальной действительности, жуткой и бездарной. В сумерках он видел в окно помойку, которую не вывозили всю зиму, и вот теперь, весной, вся эта грязь вылезла гниющей горой. Контора, в которой работал Олег Олегович, развалилась, и он оказался безработным. В трудовой книжке появилась сорок шестая запись: «Уволен по собственному желанию». В советское время он с легкостью менял места работы, искал наиболее выгодного, то есть такого, где бы платили максимальный оклад, самый максимальный за то, что ты показываешься там минимальное количество раз в неделю, просто показываешься.

Теперь же положение Олега Олеговича было аховым. Вот уже три месяца он не мог найти себе работу. Тащила кое-как воз семьи жена, работавшая некогда, до катастрофических событий в России, как считала она — и Олег Олегович в этом мнении был с нею полностью солидарен, — секретарем-машинисткой парткома военного завода, а теперь учетчицей в отделе труда того же завода, который дышал на ладан: зарплату не выдавали с января, а теперь май! Жена занимала, перезанимала, покупала у подруги на чулочной фабрике кое-какую продукцию и перепродавала ее родственнице на Украину, где уже положили зубы на полку, — в общем, спекулировала, как могла, а могла плохо, не будучи

подготовленной к рыночным отношениям. Ее не раз обманывали, брали носки в кредит, а деньги не платили. Вот тебе и родственники!

Олег Олегович неоднократно подумывал, а не выйти ли ему под красные флаги и не побить ли булыжниками ненавистные ему палатки коммерсантов, даже Володе Гусеву как-то звонил, расспрашивал о коммунистическом движении. Гусев ходил под красными флагами с Анпиловым, громил палатки, потому что Гусев был смелым и у него в трудовой книжке была лишь одна запись — принят слесарем в учреждение № 36795. С ним его познакомила много лет назад жена на одной вечеринке. Но Олег Олегович смелым не был, боялся, что его поймут и посадят. Так что от битья стекол он отказался, а других идей в его голове не возникало. Жена постоянно твердила: «Надо что-то делать!», но что делать, не объясняла Олегу Олеговичу, возила его с собой за тюками, он таскал эти тюки на барахолки, она торговала, а он при ней стоял и волновался, как бы не обокрали.

Олег Олегович находился в перманентном состоянии нервного потрясения. Три месяца в этом состоянии! Разве можно так жить? Он отвел взгляд от помойки и тихо заплакал, уронив голову в ладони. Стыдно было перед детьми, кормить их стало нечем. Скоро они поднимутся, а что им давать на завтрак? Может быть, жена что-нибудь для них припрятала? У Олега Олеговича было трое детей: Елена заканчивала институт, Вика — школу, Маринка ходила в детский сад. Дохода никто не приносил, но есть хотели все. Поплакав некоторое время, Олег Олегович пошел умываться, и пока умывался, повторял слова жены: «Надо что-то делать!». Повторив эти слова раз пятьдесят, он ничего не придумал и от этого бессилия проскулил тоскливо.

И с такой же тоскливостью булькала струйка воды из сорванного крана. Олег Олегович попытался плотнее закрутить его, но сорвал резьбу и вода хлынула потоком. Он полез перекрывать воду в уборной за перегородкой, но там на кране не было вентиля. В ванной вода била фонтаном. Олег Олегович испугался, пошлепал в

комнату будить жену. Та в ужасе вскочила, огромная, грудастая, вытащила из-под шкафа чемоданчик с инструментами, схватила разводной ключ и побежала перекрывать воду. Олег Олегович стоял в дверях уборной и наблюдал за уверенными действиями жены. Вода была перекрыта.

— Слесаря нужно вызывать, — сказала жена после этого.

— Он на бутылку попросит, — сказал Олег Олегович.

— Да, — согласилась жена. — Придется на заводе кран просить у сантехников. Но и им нужно платить. Хотя они подождут, — размышляла вслух жена и без перехода спросила: — Ты что-нибудь придумал?

— Что тут придумаешь!

— Надо что-то делать! — твердо сказала жена.

— Что? — возвел глаза к потолку Олег Олегович.

— Ох, интеллигенция! Что мне с вами делать? — усмехнулась жена и увлекла Олега Олеговича, заметно замерзшего, на брачное ложе, что она любила делать часто и истово.

Когда поднялись дети, жена разогрела припрятанную банку немецкой тушенки из гуманитарной помощи, которую за минуту как ветром сдуло.

— Я не наелась, — сказала Маринка.

— В саду покормят! — грубовато сказала студентка Елена, симпатичная девушка, понимая всю сложность текущего момента.

Олег Олегович одобрительно кивнул головой. Вчера вечером Елена разоткровенничалась с ним о создавшейся в семье ситуации, что дальше так жить нельзя и что она придумала кое-что, а именно она прочитала рекламу в газете, что можно выйти замуж за состоятельного западного бизнесмена, что эти бизнесмены ищут русских девушек себе в жены и что она уже написала по одному адресу в Нью-Йорк, теперь же ждет ответа.

— Только матери не говори, — попросила Елена, — а то она такое подымет!

— Могила, — сказал ей Олег Олегович и лег спать в десять часов.

Олег Олегович был ранней птахой. А если его уговаривали посидеть у телевизора, посмотреть какой-нибудь интересный фильм после двадцати двух часов, он, помучившись минут десять, засыпал прямо в кресле. Прежде он любил вечером просматривать газеты. Наденет очки и листает. А теперь и газет в доме не было. Не подписались по известным причинам.

Первой убежала в школу Вика. У нее уже были мальчики, об этом Олег Олегович догадывался, но не расспрашивал. Затем жена повела в сад Маринку, сказав, что сейчас вернется и поедет с Олегом Олеговичем на чулочную фабрику за товаром.

— Дай сигаретку, — сразу же, как дверь за женой закрылась, попросил у Елены Олег Олегович.

— Пап, свои нужно иметь! — усмехнулась Елена, но одолжила пару сигарет.

Елена курила уже полгода, но мать об этом не знала. Все откровения у нее были с отцом. А он за нее не беспокоился, он знал, что она — красивая, стройная, усидчивая — найдет свой путь в жизни.

— Ладно, пока! — покурив, сказала Елена и, уходя, добавила: — К ужину что-нибудь притащу!

Олег Олегович знал, что она держала на коротком поводке двоих однокурсников из довольно-таки состоятельных семей. Как бы ему, Олегу Олеговичу, стать состоятельным? Он прошелся из угла в угол и вдруг в голову пришла довольно-таки ясная идея — вызвонить всю свою телефонную книжку, может быть, что-нибудь ниспадет? Как ему раньше в голову не приходила подобная идея! И он принялся накручивать диск телефона. Даже палец устал. Однако толку было мало. Все были заняты, всем было некогда, все понимали его положение, но ничем помочь не могли, поскольку сами искали свою спасительную соломинку.

Закончив двадцать лет назад институт, ни с кем из однокурсников Олег Олегович контактов не поддерживал. А тут наткнулся в записной книжке на фамилию Маркова и вспомнил о нем, и набрал его номер. В трубке послышался мужской голос, должно быть, самого Мар-

кова, но Олег Олегович с некоторым сомнением попросил:

— Мне Андрея Ивановича.

— Это я, — сказал Марков.

— Привет, старик! — выпалил по-студенчески Олег Олегович. — Не узнал?

— Нет. Говорите скорее. Я спешу.

— Да это я, Олег, твой однокурсник.

— Олег? Хорошо. Слушаю, — столь же нейтрально проговорил Марков.

— Надо встретиться, — сказал Олег Олегович.

— Давай. Ты где?

— Дома.

— Сиди. Я через час сорок к тебе заеду, — сказал Марков. — Адрес?

Не успел Олег Олегович продиктовать адрес, как Марков положил трубку.

Олег Олегович вновь набрал его номер, но телефон не отвечал. Вернулась жена. Узнав, что он должен сидеть и ожидать какого-то Маркова, обозлилась и помчалась на чулочную фабрику одна. Олег Олегович стал в ожидании ходить из угла в угол. А что, если Марков как-нибудь поможет? Ведь, помнится, в стройотряде Марков был командиром, таким инициативным, и денег тогда дал Олегу Олеговичу за безделье много. Хотя, с другой стороны, прикинул Олег Олегович, номер телефона остался у Маркова тот же, стало быть, он живет там же, в двухкомнатной квартирке, что и в студенческие годы. Но тогда он на третьем курсе женился и на стройотрядовский заработок купил себе эту двухкомнатную квартиру, что по тем временам для студента было невероятно. Собственно, поэтому Олег Олегович набрал номер Маркова.

Ровно через час сорок явился Марков. Олег Олегович сделал кое-какое вступление, сказав, что и угостить его нечем, но Марков пропустил это мимо ушей.

— На ловца и зверь бежит, — прервал извинения Марков. — Я принимаю решения быстро. Ты позвонил как раз в тот момент, когда я подумал о тебе, Олег. Я вспомнил тебя и ты позвонил.

— Неужели?

Марков махнул рукой. Он был такой же собранный, быстрый! как и в студенческие годы, только седина говорила о том, что с той поры минуло двадцать лет.

— Мне нужен человек, такой как ты.

— Я сам хотел тебя просить...

— Помолчи. Я перебрал в памяти всех своих знакомых и остановился на тебе.

Через пять минут Марков достал из портфеля круглую печать и приложил ее к одной из последних страниц трудовой книжки Олега Олеговича с записью о том, что он принят на работу в должности заместителя директора производственного предприятия «Цветы России».

У Олега Олеговича от волнения дрожали руки, когда он писал заявление. Все это ему казалось сном. Марков с собственной печатью, должность заместителя директора и, главным образом, аванс в таком размере, о котором запрещено было думать в этом доме.

— Благодетель! — воскликнул Олег Олегович, склоняя лысеющую голову.

— Ладно. Помчались. Ты готов?

— Готов!

При виде «Мерседеса» у Олега Олеговича заблестели глаза, и он осторожно сел на мягкое сиденье. В Подольск они не ехали, нет, они летели, бесшумно, как птицы.

— Дело в том, что мне нужен верный человек, — сказал Марков. — Хоть ты знатный бездельник, но в верности и молчании тебе не откажешь...

И всю дорогу Марков говорил о своем индивидуально-частном деле, о том, что он уже успел принять на работу к себе и уволить порядка десяти человек, лживых, жадных мстительных, живущих одним днем.

День прошел за одну минуту. В конце его Олег Олегович под управлением Маркова закупил в новом коммерческом гастрономе таких вкусняшек и в таком объеме, что не помнил, как Марков подкатил его к подъезду и как он дотащил все это до квартиры. А дальше он прозрел и увидел алчущие физиономии детей и жены. Жена смеялась и плакала, напевала и заикалась, когда нарезала

тонкими прозрачными ломтиками осетрину, раскладывала по тарелкам шейку, говяжий рулет, швейцарский сыр и прочая, и прочая, и прочая...

— Что это?! — восклицала она.

И Олег Олегович, почувствовав, что он овладевает жизненной ситуацией, несколько приподнял голову и объявил, что он теперь заместитель директора одной из состоятельнейших частных фирм. И семья ела, ела, ела. И было счастье на лицах детей, и жена почувствовала, что муж Олег Олегович не такой уж подкаблучник. Они не уходили с кухни до двадцати двух часов, все ели, пока сам Олег Олегович не поднялся и не направился опочивать.

Он пробудился, как и обычно, в пять часов и по инерции пошлепал босиком на кухню, думая, что сейчас ему придется шарить в поисках еды. Но неубранный стол поразил его остатками яств. И Олег Олегович принялся есть и съел больше того, что мог съесть. Желудок уже отказывался принимать роскошную пищу, а глаза Олега Олеговича были голодны. И он все ел и ел. Пока пища не встала колом в горле. Только тогда он отвалился от стола и закурил собственную сигарету, но вдруг отложил ее, вспомнив, что купил прекрасный кофе. Приготовив его, он жадно выдул чашку ароматного напитка и вновь зажег сигарету.

В семь часов на кухню вышла в одной ночной рубашке жена и тоже принялась есть. Она хватала мясо, рыбу, сыр, маслинки прямо руками и засовывала жадно в рот. Потом плюхнулась тяжелым задом на табурет и тоже приступила к питию кофия с оттопыренным мизинчиком. Закончив, спросила:

— Ну, и чем же этот Марков занимается?

Олег Олегович многозначительно посмотрел на нее. Раньше у него взгляда такого не было.

— Цветами, детка моя.

Жена даже смутилась от такого снисходительного обращения.

— Да-а... — протянула она, — видно, выгодное дело.

Олег Олегович молча встал, прошел в прихожую, из-

влек из кармана деньги и, вернувшись на кухню, бросил их перед женой.

Взгляд жены будто помрачился, минуту она сидела каменной, затем решительно схватила деньги и прижала их к взволнованной груди.

— Пошли! — приказала она и увлекла Олега Олеговича на кровать.

Страсть ее была воистину беспредельна.

Потные, часто дыша, они лежали потом и смотрели в потолок.

— Надо сделать ремонт, — через некоторое время, успокаиваясь и обнаружив на потолке свисающую на паутине побелку, сказала жена.

За завтраком девочки ели так, что хрустело за ушами, и глаза их, полные счастья, истово смотрели в тарелки.

— Папа, ты молодец! — похвалила Олега Олеговича Елена, уходя в институт.

Вика сделала бутерброд с черной икрой и сказала:

— На переменке съем.

В девять часов, поблескивая никелем, у подъезда припарковался «Мерседес». Олег Олегович увидел его в окно. И жена увидела тоже, с нетерпением ожидая знакомства с Марковым и накрасившись так щедро, как давно не красилась.

— Андрей Иванович, — представился ей Марков.

— Кофейку? — спросил Олег Олегович.

— С удовольствием! — согласился Марков.

Пили кофе, Марков то и дело посматривал на часы.

— И как же вы, Андрей Иванович, вот так... в наше трудное время?

— А кто вам сказал, что наше время трудное? Коммунисты? Так они бездарны. Наше время самое легкое, поэтичное, — сказал Марков. — Какие проблемы? Проблем нет! Идите в регистрационную палату, открывайте свою фирму и работайте! Вот и все.

— Легко сказать, — засмеялась жена. — А налоги, а взятки, а рэкет?

— Вы начитались «Московского комсомольца»? Так не читайте этот бульварный листок, который делает бывший

правоверный комсомольский коммунист с сопливymi мальчишками из конъюнктурных соображений.

— Нет, нет я не читаю «Московский комсомолец», — словно бы испугавшись, сказала жена.

— Ну, тогда смотрите новости по телевизору. Там такие же совки на гособеспечении, бездарные и самомнительные.

— Выходит, только вы, Андрей Иванович, талантливы? — с укором спросила жена.

— Я этого не говорил. Но я — свободен в принятии решений. Сейчас самое лучшее время для работы. А тех, кто умеет работать, у нас почти что нет. Вывелись!

В «Мерседес» Олег Олегович садился уже более успокоенным, чем накануне, но волнение все-таки присутствовало, тем более, что за ним наблюдал их дворник, еще не проспавшийся после похмелья.

— Гора помойная гниет, — сказал Олег Олегович как бы для себя, — а этот пьет каждый день.

Марков подозвал к себе дворника и сказал:

— Ты можешь убрать все это? — кивнул он на помойку, затем достал несколько купюр и, протянув их очумевшему от вида крупных денег дворнику, добавил: — Чтоб завтра этого не было!

— Будет выполнено! — сказал хрипло дворник и вытянулся.

Летели в машине быстрее вчерашней птицы. Марков всю дорогу говорил. Было такое впечатление у Олега Олеговича, что Марков соскучился по разговору. У теплиц стояла огромная фура. Полдня грузили ящики с розами. Причем Марков работал энергичнее грузчика и шофера. Олег Олегович из-за своей комплекции титулярного советника едва успевал за ними, руки немели, ноги гудели, но он не жаловался, не хныкал, а стиснув зубы, таскал и таскал ящики, довольно-таки легкие, но походи за ними полдня туда-сюда на сто метров!

Фура ушла в Питер после того, как заехали по пути в одну посредническую фирму, где Марков получил столько наличных за эти розы, что Олег Олегович окончательно перестал понимать происходящее.

— А теплицы кому принадлежат? — по дороге к дому спросил он у Маркова.

— Мне, — ответил Марков.

— Так это ж целый совхоз!

— Это и был совхоз, пока я его не купил, — сухо сказал Марков, поправляя зеркало заднего вида.

— А где столько денег взял? — осторожно спросил Олег Олегович.

— Заработал.

— Ну, а сначала?

— С рубля начал, — сказал Марков. — Откуда у меня деньги! Занял на регистрацию предприятия. Розы в этом совхозе взял в кредит, на реализацию.

— Они сами не могли продать?

— В том-то и дело. Довели совхоз до того, что розы на свалку выбрасывали. Не идут, говорили. Лентяи чертовы. Привыкли, что оптом у них все забирали и твердо платили. А оптовая торговля рухнула. Ну, а эти... Впрочем, что говорить об этом! Это общеизвестно.

Олег Олегович радостно ехал к дому, полагая, что Марков отстегнет ему какую-то сумму, но не тут-то было, тот высадил Олега Олеговича и восвояси укатил.

Жена просто-таки надрывалась от счастья, когда показывала Олегу Олеговичу обновки: платья, юбки, сапоги...

— Деньги остались? — спросил несколько сосредоточенно Олег Олегович.

— Нет. Я все до копейки истратила. И за квартиру вперед уплатила.

Олег Олегович в задумчивости опустил к не столь уже роскошному столу. Ел не спеша, не потел.

— А что, он тебе сегодня денег не дал? — спросила жена.

Некоторое время Олег Олегович молчал, как бы закипая, а потом повысив голос, спросил:

— А тебе на работе каждый день зарплату дают?!

— Что ты волнуешься? — спросила жена. — Ты как с ним договорился?

— Никак.

— То есть как «никак»? Да это же самое главное?

Завтра немедленно же расставь с ним все по полочкам.

Вмешалась дочь-студентка:

— Пап, ты, прямо, какой-то. Да с ними нужно контракты писать! Дай-ка мне его телефон, я поговорю с ним!

Олег Олегович против воли продиктовал номер телефона.

Елена из другой комнаты позвонила Маркову.

— Здравствуйте, Андрей Иванович, — сказала она, когда тот снял трубку. — Это говорит дочь Олега Олеговича. Он у нас такой непрактичный... Я хочу спросить, сколько вы ему будете платить за работу и когда?

На том конце провода установилось странное молчание, затем трубка брякнула и послышались короткие гудки.

— Слышали, — ворвалась Елена на кухню, — он не стал на эту тему разговаривать!

Утром Олег Олегович проснулся раньше обычного, в четыре часа, потому что за окном гремели чем-то железным, рычала машина и раздавались бодрые голоса. Проплепав босиком на кухню, Олег Олегович увидел дворника в руководящей роли, а какие-то работяги разделялись с помойкой. Солнце еще не поднялось, а во дворе уже было светло.

В девять часов «Мерседес» не подкатил к окну, и Олег Олегович заволновался.

— Что это он не подъезжает? — спросила жена.

Олег Олегович ответил ей резковато в несвойственной ему манере:

— Не надо лезть не в свое дело!

В десять он набрал номер Маркова, но никто не отвечал. Весь день Олег Олегович находился в страхе. Вечером дозвонился до Маркова.

— У меня твоя дочь работает? — спросил Марков.

— Нет.

— Хорошо. Значит, так. Зарплата у тебя один раз в месяц, второго числа. Это первое. Второе: ты будешь получать пятьдесят минимальных зарплат с учетом инфляции. Вопросы есть?

— Нет.

— Тогда завтра в девять, как и обычно! — Закончил Марков и положил трубку.

У Олега Олеговича отлегло от сердца, он повеселел, ему даже захотелось посмотреть фильм после двадцати двух часов, и он принялся смотреть фильм, но через пятнадцать минут против желания — задремал. Жена и Елена перенесли его на кровать, маленького, размякшего, раздели и укрыли одеялом.

В пять часов утра он проснулся с легким чувством голода, перелез через жену и пошлепал на кухню босиком. С жадностью прикончил последний кусочек сыра и принялся дуть кофе и смачно курить.

В девять часов подъехал «Мерседес», и Марков пожаловал в квартиру.

— Кофейку? — с порога спросил Олег Олегович.

— Обязательно! — согласился Марков.

Появилась жена, сказала:

— Вы уж извините, но ничего особенного Елена у вас не спросила...

Олег Олегович дикими глазами взглянул на нее так, что она сначала попятилась, а потом исчезла. Но появилась в кухне Елена в прозрачной белой маечке, так что видна была молодая грудь с темными сосками. Марков смущенно отвел взгляд в сторону, а Олег Олегович спросил:

— Ты почему не в институте?

— Свободный день! — сказала Елена, схитрив, — она осталась дома специально, чтобы увидеть Маркова.

Она его увидела. За столом сидел мужчина ее мечты и, главное, с сединой в красивых волосах. Она и маечку эту прозрачную специально надела, чтобы увидела — какая она, Елена, привлекательная. Конечно, это доказывать было не нужно. Она и была привлекательной, с голубыми глазами, с тонкой талией. И, потом, эта грудь...

В машине Марков сказал:

— У тебя дочь красавица!

Олег Олегович смущенно промолчал, не зная с чего начать разговор. Затем, подумав, сказал:

— А помойку-то убрали.

— Заметил. Деньги — это вода, которая толкает лопасти турбин!

— Старик, ты извини меня, но я немножко не понял насчет оплаты, — начал Олег Олегович скромно, — бухнул все деньги на стол жене, а она их все потратила... Не мог бы ты... в счет зарплаты?

Марков, не снижая скорости машины, извлек из кармана деньги. Их оказалось вдове больше, чем он дал в прошлый раз. Олег Олегович прямо-таки затрепетал от охватившего его чувства. Хотелось расцеловать Маркова. Хотелось ликовать. Он закрыл глаза и ему показалось, что у него выросли крылья и что он летит.

— Советую не давать жене денег, — вдруг сказал Марков. — На хозяйство брось и достаточно. Женщины не знают меры.

— Это точно! — подтвердил Олег Олегович. — Но ведь и расход в семье большой. Как сядем обедать, так кастрюли нет.

— И все-таки будь жестче, — сказал Марков.

Вечером Олег Олегович не выдержал и отдал жене половину полученной суммы. Елена при сем присутствовала и попросила, когда мать вышла:

— Пап, подкинь бедной родственнице!

И Олег Олегович подкинул столько, что Елена подпрыгнула.

— Ну, ты выяснил, сколько он тебе платить будет? — спросила она, когда на кухню вошла мать.

Олег Олегович безоглядно выпалил:

— Пятьдесят минимальных зарплат! Второго числа каждого месяца.

Жена от близости наступления рая на земле всплеснула руками. Затем достала из какого-то своего тайника бутылочку.

— Выпьем? — спросила она.

— На троих? — спросила Елена.

Все рассмеялись. Олег Олегович, захмелев, сказал:

— А ты не ценила мой талант!

— Откровенно, не ценила, — согласилась жена.

— Пап, сейчас единицы столько зарабатывают, как ты, — сказала Елена, закусывая балыком из новой партии продуктов, закупленных Олегом Олеговичем в том же гастрономе.

— Я думаю, что нужно деньги вложить в товар, — голосом бывалой бизнесменши сказала жена. — Я уже договорилась насчет мужских курток. Но мне немного не хватает, у тебя еще есть?

Царственным жестом Олег Олегович бросил на стол оставшиеся деньги.

Утром, когда ел, сидя в трусах на кухне, корил себя за этот поспешный жест, но совесть не позволила в семь утра, когда к трапезе присоединилась жена, попросить у нее денег хотя бы на сигареты. Поэтому в машине он завистливо поглядывал на курящего Маркова, на пачку сигарет, лежащую на полочке перед рычагом скоростей. Но Марков, словно перехватил его взгляд, предложил закурить. Олег Олегович бережно взял из пачки сигарету. К концу же дня уже машинально, не спрашивая дозволения, брал пачку и курил вволю. Марков притормозил у коммерческой палатки, купил блок сигарет и, положив его на колени Олегу Олеговичу, сказал:

— Дома спрячь, и чтобы у тебя было всегда свое курево!

А Олег Олегович, как назло, забыл спрятать. Елена воспользовалась этим, взяла себе половину блока, а когда Олег Олегович сделал ей замечание, парировала:

— Ну, пап, ты даешь! Как мои курить — это можно, а как я взяла...

— Ладно, ладно, — испуганно смутился Олег Олегович, — а то мать услышит,

А мать в это время в большой комнате сдавала оптом куртки, которые успела выкупить, какой-то знакомой. Когда знакомая удалилась с товаром, жена вошла с улыбкой в кухню и сообщила, что наварила прилично, но деньги отдадут через неделю.

— Ты что, в кредит отдала? — удивился Олег Олегович.

— Да это в доску своя женщина! — ответила жена, махнув рукой.

Но через неделю денег не было, и через месяц не было, и знакомая, которая оказалась незнакомой, и куртки исчезли с концами.

Олег Олегович, распаковывая хозяйственную сумку с

очередным провиантом, пожурил жену за доверчивость, та не возражала и говорила, что впредь будет отдавать товар только за живые деньги, то есть в твердый счет. Олег Олегович положил на стол очередную зарплату, оставив себе кое-что на карманные расходы. Но вот незадача — на следующий день Марков остановился у магазина «Электрон», и Олег Олегович ходил за ним возле прилавков, наблюдая, как тот покупает то одно, то другое.

— Я заметил, у тебя телефонный аппарат разбит. Купи вот этот.

Олег Олегович мысленно прикинул остаток средств и понял, что на аппарат не тянет. Произошла заминка, которую Марков решил быстро: сам пробил в кассу и вручил коробку с телефоном Олегу Олеговичу, у которого на лице было выражение мелкого воришки.

Перед тем, как тронуться, Марков сказал:

— Твою жену надо как-то отсекай. Она обанкротит тебя. Я все вижу и все понимаю.

— Изголодалась она, — тихо сказал Олег Олегович, — а вокруг столько соблазнов, столько товаров!

Марков хмуро, не отводя взгляда, уставился на него.

— Жить нужно по средствам! — отрезал он.

— Я понимаю, но что с ней делать?

— Давай отошлем ее в деревню, — предложил что-то непонятное Марков.

— В какую? У нас нет деревни, нет даже шести соток, — сказал Олег Олегович и при этом даже покраснел — так стыдно ему вдруг стало, что у него нет ни кола, ни двора. Хотя трехкомнатная квартира, конечно, была. И все благодаря жене, она выхлопотала в свое время на заводе через партком. А сам Олег Олегович, ну, ничего ровным счетом за всю свою жизнь не выхлопотал.

— Едем! — сказал твердо Марков и со свистом рванул машину.

На сто семидесятом километре от Москвы Марков свернул с шоссе и через пять минут прижался к двухэтажному зданию районной администрации. Чиновница деревенского вида на глазах у терявшего сознание Олега

Олеговича выправила ему документы на владение землей и домом и с улыбкой благодарности приняла мзду от Маркова.

Дом стоял на опушке леса. Старый русский дом, который в народе называют избой.

Губы у Олега Олеговича почти дрожали, и он едва мог произносить односложное «да». Сон стал реальнее яви, а явь — реальнее сна.

К трем часам дня были уже у Олега Олеговича. Марков поднялся к нему в столь торжественный момент. На кухне сидели: жена, Елена, Вика и Маринка. И все вместе ели.

— Кофейку? — предложил Олег Олегович.

— Обязательно, — улыбнулся Марков.

Маркову освободили табурет у окна. От еды он отказался, но кофе пил с удовольствием.

— Я никогда не думала, что муж будет столько зарабатывать! — сказала жена.

— Ничего особенного, — сказал Марков.

— В общем-то, да, — согласилась жена и, как бы между прочим, добавила: — Я тоже могла бы свое дело открыть.

Олег Олегович поперхнулся и закашлялся, даже слезы появились на глазах. Марков тут же, уловив его смущение, сказал:

— Так в чем же дело? Регистрируйте фирму.

— Э, там взятки нужно давать, — сказала жена.

— Я помогу, обойдемся без взяток, я вам дам своего юриста.

Жена замялась, выискивая мысленно причину, которая бы ей не позволила открыть свое дело.

— Рэкета я боюсь,

Марков хладнокровно заметил:

— Против лома нет приема, кроме другого лома! Справимся.

— Нет, я боюсь. И потом — налоги!

— Вы их хоть когда-нибудь платили? — задал вопрос Марков,

— Нет.

— Ну, а что же говорите,

— Андрей Иванович, вы не думайте, что только вы

можете работать! Я тоже могу! — с некоторой укоризной сказала жена.

Олег Олегович наступил ей на ногу под столом.

— И нечего мне на ноги наступать! — крикнула жена на мужа, так что тот сжался, поник и опустил глаза в тарелку. — А то они — бизнесмены, а мы никто! Да на нас страна держалась!

Елена вскочила, схватила мать за рукав платья и потащила из кухни. Марков молчаливо наблюдал за происходящим. Олег Олегович готов был провалиться сквозь землю. Маринка застучала вилкой по тарелке. Вика положила свою руку с маникюром на руку Маркова и сказала:

— А вы не могли бы мне достать билет в Большой театр?

Марков с удивлением взглянул в ее глаза и вдруг обнаружил, что Вика гораздо красивее Елены.

— Нет проблем.

Олег Олегович поднялся из-за стола и сказал:

— Дайте нам поговорить с Андреем Ивановичем.

Девочки покорно покинули кухню, Маринка даже закрыла за собой дверь.

— Не обращай внимания, старик! — извинительно проговорил Олег Олегович.

— Знакомо. У меня тоже есть жена и тоже есть проблемы.

— Такие же?

— Дорогой мой, кушать хотят все, даже моя жена!

Олег Олегович впервые подумал о том, что и у Маркова, оказывается, есть семья и есть проблемы. Хотя, конечно, он знал, что у него есть семья, но знал как-то поверхностно, неопределенно, а вообще, если чисто-сердечно, никогда об этом не вспоминал. И вслед за этими мыслями полезли в голову Олега Олеговича совсем новые, ранее никогда к нему не приходившие мысли: а за что, собственно, Марков платит ему зарплату, разве за то, что катает на «Мерседесе» и болтает в дороге с ним обо всем, что придет в голову? Но эти мысли Олег Олегович поспешно потопил, потому что какими-то чудовищными в своей непонятности были эти

мысли, потому что они напоминали Олегу Олеговичу советское время, когда он получал зарплату ни за что.

— Пригласи жену и вручи ей документы на дом, — прервал его размышления Марков.

Когда жена вошла и поняла, что за бумаги ей подает муж, она побледнела и ватно опустилась на табурет.

— Ой! — сказала она.

На другой день Марков подрулил к Олегу Олеговичу, но дома была лишь Елена, и притом в своей прозрачной белой маечке.

— Они уехали в деревню, — сказала Елена. — Хотите кофе?

Марков изумленно стоял в прихожей, не зная, что делать: то ли повернуться и уйти сразу, то ли повременить.

— Ладно, выпью чашечку, — все же согласился он и добавил: — Странно, мне Олег Олегович ничего не сказал, что и он поедет.

— Да это все мать! — сказала Елена.

— При чем тут мать?

— Она сказала, что с вами ничего не случится, если папа отвезет ее с детьми в деревню.

— Но я не думал, что это произойдет в тот же день!

— Я говорила, что нужно вам позвонить, но мать категорически запретила. Сказала, что отец тогда заколеблется.

Марков ощутил весь идиотизм своего положения, почувствовал себя каким-то шофером, который приехал за хозяином, а тот уехал на дачу. Ему стало очень обидно, но он не хотел показывать виду перед Еленой. Тем более, что она всячески крутила попкой в облегающих шортах, придыхала, как будто намекала Маркову на что-то необычное. Но Марков как бы и не реагировал, а вскоре поднялся и, не обращая внимания на уговоры Елены еще посидеть и попить кофе, удалился.

Олег Олегович появился лишь на пятый день. Марков сначала хотел его уволить, такая мысль у Маркова возникла, только мысль, но он ее не высказал Олегу Олеговичу, склонившему повинную голову с объяснениями:

— Приехали, дождь... потом тракторист пьяный два дня пахал землю под картошку, потом сажали...

— И сколько же посадили? — с долей язвительности спросил Марков, закуривая.

— Гектар, — прошептал Олег Олегович и жадно посмотрел на сигаретный дымок.

Марков заметил этот взгляд и сказал:

— И ни сигарет, ни денег.

Олег Олегович отвернулся и покачал в знак согласия головой. Марков остановил машину у метро. Олег Олегович не шевелился, покуривал чужие сигареты.

— Давай, — сказал Марков, протягивая ему руку, — до завтра, в этом же месте.

Олег Олегович не понял, спросил:

— Ты что, ко мне не заедешь? Кофейку?

— Да у меня кофе есть, — сказал Марков.

Смущенный этим ответом, Олег Олегович открыл дверцу и виновато вышел, переспросив:

— Здесь же в девять утра?

— Да! — отрезал Марков. Сам дотянулся до дверцы, захлопнул ее и дал такого газу, что завизжала резина колес.

А Олег Олегович не знал, куда себя девать, потому что у него язык не повернулся сказать Маркову, что сегодня вечером он с Еленой по приказанию жены должен был ехать в деревню. С этой тяжелой думой он вошел в метро и машинально приехал на вокзал, взял билеты, и пока это делал, перед глазами стоял деревенский дом, простор, лес и речка тоже стояли перед глазами, и вечером он уехал до понедельника в деревню с Еленой.

Четверг и пятницу Марков работал один, забыв, какое время года на дворе, потом вспомнил, что лето, усадил в машину жену, сына, собаку, кота и укатил на дачу. Олег Олегович на сей раз вернулся, как и намечал, в понедельник, через каждый час звонил Маркову, через каждые полчаса звонил в течение недели, но никто не отзывался. Денег не было, еды не было, курева не было, Елена укатила на юг. Он не отважился поехать в деревню, вдруг да Марков появится, но тот не появлялся. Олег Олегович

в жутком страхе за себя, за семью шлепал босиком по квартире и бранил Маркова.

Да, Олег Олегович ругал не себя, а Маркова! В общем-то, согласно КЗОТа, делал это справедливо. Кто за кого отвечает? А? Марков отвечает за Олега Олеговича, потому что именно Марков принял на работу его, поставил круглую печать в трудовую книжку, зачислил заместителем директора. Если бы Марков не принял Олега Олеговича на работу, то Олег Олегович нашел бы себе другое место, может быть, повыгоднее. А, собственно, почему Олегу Олеговичу не поискать места повыгоднее? Он слышал краем уха, что некоторые бизнесмены на «Мерседес» зарабатывают за день, за месяц возводят особняки, летают на отдых на Гавайи. Они такие же люди, как Олег Олегович, у них есть глаза, как у него, уши, как у него, рот, как у него... Но тут в голове Олега Олеговича зазвучал голос жены с ее рэкетами, налогами, и Олег Олегович испугался своих мыслей. Испугался даже самой мысли о возможности регистрации своего дела. Ему представились бесчисленные коридоры, чиновники, справки, уставы, приказы, согласования, а там еще банк, платежки, накладные, бухгалтерия... Он вспотел от этих мыслей, но тут как раз и зазвонил телефон.

Звонил, ура! Марков.

— Ну, как там деревня? — спросил он как ни в чем не бывало.

— Да вот торчу здесь, как дурак, — с обидой в голосе сказал Олег Олегович.

— Действительно, дурак! — согласился Марков. — Я тебя отправил в отпуск на два месяца, до первого сентября. Подъезжай на наше место к метро, получишь отпускные!

Олег Олегович расцеловал телефонную трубку и бережно положил ее. На крыльях обожания Маркова он примчался минута в минуту в назначенное место. «Мерседес» Маркова был припаркован. Олег Олегович счастливо плюхнулся на воздушно-мягкое сиденье. Марков без промедления выдал ему пять банковских упаковок.

— Это все мое? — похолодел Олег Олегович.

— Твое! — рассмеялся Марков.

— Ну, ты даешь, старик!

Марков смеялся, а сам думал, извинится ли Олег Олегович за прогулы или нет? Не извинился. Теория Маркова подтверждалась и поэтому Марков еще громче рассмеялся, а затем вдруг посерьезнел и спросил:

— Ты не мог бы мне сегодня помочь?

Олег Олегович испугался, он тотчас собирался в деревню, смертельно соскучился по жене, по детям, по приволью провинциальному. Но и Маркову было отказать невозможно, и Олег Олегович против воли сказал:

— О чем речь, старик, без вопросов.

— Тогда — вперед!

Через полчаса были в Голицыно на кирпичном заводе. Через час за ними ползли два трейлера с французским кирпичом. Французы там в четвертом цеху линию поставили. Не кирпич, а шоколад!

— И куда же мы?

— Ко мне! — сказал Марков.

Оказывается, пару недель назад он купил землю, пятнадцать соток, на берегу Москвы-реки за Николиной горой. Олег Олегович был подавлен размахом строительства: огромные бетоновозы заливали котлован под фундамент, кран разгружал поддоны с кирпичом.

— Сколько этажей будет, — осторожно спросил Олег Олегович.

— Три хватит, — сказал Марков, усадил Олега Олеговича и помчался с ним на ДОК.

Там-то и был нужен Олег Олегович для погрузки. Потому что грузчиков не было. Часа два грузили половую шпунтованную доску, вагонку, дверные и оконные блоки. Олег Олегович умаялся, но понимал, что помогать надо начальнику, а то — обидится.

На обратном к владениям Маркова пути Олег Олегович посетовал:

— Ты меня вроде как за грузчика держишь...

Марков сверкнул улыбкой, сказал:

— Сами грузим, сами строим, сами деньги раздаем! Олег Олегович не принял улыбки.

— Ты бы мне, старик, поручил какую-нибудь самостоятельную работу.

— Придет время, поручу, — сказал Марков и, как понял Олег Олегович, проговорился: — Ты у меня на испытательном сроке.

Произошла заминка, после которой Олег Олегович спросил:

— То есть?

— Когда я принял тебя на работу, то издал приказ о зачислении тебя заместителем директора с испытательным сроком на год.

— Понятно, — поникшим голосом промолвил Олег Олегович и в задумчивости погладил свою жидкую бородку. — Не доверяешь, значит, старому институтскому другу?

— А я с некоторых пор никому не доверяю, — сознался Марков. — Я пять лет работаю самостоятельно. Начал с кооператива. Это когда у меня рубль был в кармане. Взял цветы на реализацию. Большой доход получил и решил его весь в производство запустить. Но не тут-то было. Компаньоны, — а нас в кооперативе было пять человек, — говорят, давай делить поровну. Я, разумеется, спорить не стал, поделил. И на другой день кооператив закрыл. Новых людей нашел, у которых спрашивал, как ты у меня сейчас, о взаимном доверии, и открыл товарищество с ограниченной ответственностью. И что ты думаешь? Через три месяца эти «доверительные» унесли сейф со всеми бабками и больше не появлялись. Тогда я нашел двоих самых проверенных — работал с ними десять лет в НИИ, — открыл свое собственное индивидуально-частное предприятие и их зачислил, как тебя, заместителями директора. Год проработали, а потом говорят, чтобы отдавал их долю, они свое дело открывают. Отдал, а производство на полгода встало. Я уже боялся людей, никого не принимал, один мотался как проклятый. И понял, что мне не хватает настоящего партнера, просто без него, как без рук. Едешь и поговорить не с кем. Думаю, не может же быть, чтобы порядочные люди, пусть бездеятельные, перевелись. И вспомнил о тебе. Почему?

Да потому что ты не стучал, когда стучали все! Ты же помнишь, сколько у нас было дел в институте с отрядами. Трех посадили. А в нашем отряде — все тип-топ. Почему? Потому что никто, кроме тебя, ничего не знал о моих левых договорах. Мы дорогу тогда строили кому?

— Колхозу.

— Молодец. Так и думай дальше. На самом деле с колхозом только липовые документы были. А мы подвели дорогу к генеральским дачам. Понятно?

— Понятно, — сказал Олег Олегович, хотя только сейчас понял смысл своего молчания в стройотряде. — Значит, ты меня держишь, как и тех, до поры до времени?

— Пройдет время и придет пора! Нужна стабильность в главном экономическом вопросе — в людях. Что такое экономика? Это столкновение интересов людей. А они — скоты, за редким исключением. Вот и подтверди, что ты не скот. Подтверди! А уж когда я тебе поверю, то и у тебя будет земля на Москве-реке, и своя машина и все будет!

— Зря ты во мне сомневаешься, — с горечью сказал Олег Олегович.

— Да это не я сомневаюсь! — воскликнул Марков, сворачивая к своей стройке. — Это экономика сомневается. Если люди — скоты, то с ними нужно обращаться, как со скотами! Заработай себе право быть человеком!

Низенький, плешивый, с всклокоченной бородой Олег Олегович подавленно вышел из машины. И когда разгружал доски, все думал о себе, о том, что он самый порядочный, самый верный и что он докажет Маркову, что он человек, а не скот.

Когда все разгрузили, постояли с Марковым на бугре над рекой. Солнце отражалось в гладкой поверхности. На островке, поросшем плакучими ивами, сидел с удочкой мальчишка. И почему-то Олегу Олеговичу захотелось вернуться в детство, быть этим мальчишкой с удочкой.

Только Олег Олегович приехал в деревню, как жена сказала, что ей нужно в Москву, потому что она договорилась взять товар, в твердый счет, и эта операция казалась ей супервыгодной. Олег Олегович спорить не стал, остался с детьми на природе, целыми днями все

сновал туда-сюда, а что, собственно, делал, сам понять не мог. Неделя промелькнула, приехала жена с приваренными деньгами, операция ей на сей раз удалась и она горделиво цедила сквозь зубы хулы Маркову, который уж слишком нос задрал, а она ему еще покажет, как нужно работать и вгрохала все деньги в поднятие сельского хозяйства на отдельно взятых собственных сотках; возвела забор из металлической сетки, завезла несколько машин навозу, переложила печь, купила холодильник, люстру, телевизор — не сидеть же в деревне без него! Но все в жизни кончается, в том числе и деньги. И к середине августа именно такой красивый изящный ноль воссиял пред глазами Олега Олеговича. Стали думать, у кого занять на обратную дорогу. Жена подружилась с некоторыми деревенскими, но те сами сидели на бобах. Все же деньги сыскались, пришлось убеждать соседку бабу Машу, что она еще поживет, и та достала из сундука свои похоронные.

В машину к Маркову Олег Олегович садился с печальным взором, без копейки денег в кармане, без сигарет, а в доме не было еды. Жена сказала Олегу Олеговичу, когда он уходил:

— Ты с ним построже! Проси, даст!

Олег Олегович по-свойски взял чужую пачку сигарет, закурил и обиженно молчал всю дорогу. Марков пару раз пытался с ним заговорить, но Олег Олегович не реагировал, и Марков почувствовал себя провинившимся сотрудником фирмы Олега Олеговича.

Через некоторое время Олег Олегович покойно задремал. Марков остановил машину у банка, Олег Олегович пробудился, закурил и принялся ожидать, когда Марков вернется. В банк Марков ходил один, как, впрочем и в другие, за редким исключением, присутственные места. Олег Олегович, конечно, хотел заглянуть и в банк, но там пропускная система, охрана, а пропуск ему Марков выправлять не собирался.

В места, куда допускался Олег Олегович, они шли вместе, причем Олег Олегович, как правило, нес портфель Маркова, был вроде оруженосца, входил в присут-

ствии, Марков его представлял, а Олег Олегович садился на стул или в кресло, смотря, что предлагают, и молчал, так это вежливо, аккуратно молчал, поглядывая то на Маркова, то на собеседника, а со стороны глаза Олега Олеговича казались бегающими.

Из банка Марков вышел сосредоточенным.

— Придется подтянуть пояса, — сказал он как-то неопределенно.

Олег Олегович забеспокоился, спросил:

— То есть?

— Зарплаты в этом месяце не будет, — определенно сказал шеф.

Олег Олегович побледнел.

— Зачем же ты меня, старик, брал на работу? — голосом жены спросил Олег Олегович.

— Тебе не нравится? — спросил Марков.

Олег Олегович сосредоточился и сказал;

— Зарплату нужно выдавать регулярно!

Марков оторопел и даже присвистнул, затем, размышляя вслух, заговорил;

— Знаешь что, давай поменяемся местами: ты регистрируешь свою фирму, раскрутишь ее, купишь машину, зачислишь меня заместителем директора, будешь подъезжать к моему подъезду, я буду предлагать тебе кофейку, а потом садиться рядом с тобой, привольно разваливаться на сиденье и дремать, но ты мне будешь платить столько, сколько я тебе.

При этих словах Олег Олегович ссутулился и как-то вжался в сиденье. И такой он был маленький, невзрачный, словно несъедобный грибок.

Однако Марков продолжил:

— Ты меня с кем-то спутал! Ты что, принимаешь меня за советское социалистическое предприятие? Нет, дорогой, ошибаешься! Я предприятие собственного интеллекта, собственной воли, собственной смелости. И если я заработал что-то, то это заработал я, а если прогорел, то это я прогорел. Винить мне некого, кроме как самого себя. Я раздвоен на удачника и неудачника, и вот, время от времени, неудачник корит удачника, во мне самом

идет спор, а не вовне. И я тебя как бы впустил в себя, а ты меня воспринимаешь, как нечто вне тебя стоящее, и тебя не заботит, удача у меня правит или неудача, тебе отдай твое и баста! Плохо! Ты не переродился, тебе нужно под красными флагами ходить и просить у абстракции, то есть у правительства, средства к существованию, а эти средства эта абстракция ворует у меня через бредовые налоги. Я работаю на таких, как ты!

Олег Олегович в буквальном смысле слова оскорбился, даже взбунтовался:

— Да кто ты такой?! Неужели ты думаешь, что я не способен делать то же, что и ты?

Олег Олегович еще что-то бормотал, а Марков не слушал, он внутренне радовался тому, что преподал небольшой урок. Дело в том, что деньги у Маркова были и более того — любые деньги, но он решил теорию свою испытать до конца и согласно этой теории он должен был предложить Олегу Олеговичу такую ситуацию, то есть поработать месяцок без зарплаты.

У самого Маркова бывали времена, когда он по полгода работал без зарплаты, но ему пенять было не на кого, кроме как на самого себя. Логически завершая эту ситуацию, Марков притормозил у одного присутственного места и с Олегом Олеговичем двинулся по кабинетам. Олег Олегович шел как тень. В главном кабинете Марков взял из рук Олега Олеговича свой портфель, извлек из него целлофановый пакет, набитый деньгами и передал его чиновнику. Олег Олегович, наблюдая это, задохнулся, побледнел и опустил голову. В машине же набрался храбрости:

— И ты оставил меня без зарплаты?! Такие деньги вбухал, а мне не дал. Да ты знаешь, что семья моя сидит без копейки!

Марков не спеша курил, молчал.

— Да ты в первую очередь должен думать о сотрудниках! — закончил мысль Олег Олегович.

— Я думаю, — сказал Марков, — те, кто выращивают мои розы, без зарплаты не остаются!

Олег Олегович принялся кусать заусенцы на пальцах,

ковырять эти пальцы возле ногтей, соображая, как ему поступать в сложившейся ситуации, но ничего не придумал, потому что страшно было думать. В два часа дня он был свободен, впрочем и в другие дни он не шибко перерабатывал. Он вышел из машины у метро, и когда Марков укатил, стоял все у метро и думал, что ему делать. Но отвлекало чувство голода и он отправился домой. Поев пустой картошки, принялся ходить из угла в угол, затем вспыхнула идея обратиться к уже проверенному способу — покрутить телефонный диск. Крутил, крутил, крутил — все были на бобах, все суетились, все находились на грани психического заболевания.

Пришла Елена, радостно сказала:

— Пап, американец прислал письмо и фотографию.

Увидев эту фотографию, Олег Олегович перекосялся и застонал.

— Это чудовищно! — воскликнул он.

С фотографии на него смотрел толстый негр в бабочке.

— Ничего ты не понимаешь! — воскликнула Елена и удалилась к себе в комнату.

Олег Олегович закрылся в ванной, мылся и плакал от бессилия овладеть жизненной ситуацией.

Розы, красивые розы, с розовыми лепестками, но и они имеют шипы, думал он, вылезая из ванны, приняв решение не суетиться, терпеть. Однако жена без околичностей спросила:

— Что Марков?

Олег Олегович схитрил, не стал распространяться о затруднениях, а сказал о том, что произошла небольшая задержка с зарплатой из-за неплатежей.

Жена вроде бы поверила.

— То и дело слышишь про эти неплатежи! Черт бы побрал этих демократов! Раньше такого не было!

— Но раньше ты в один день не покупала телевизор с холодильником! — грустно пошутил Олег Олегович.

Жена посмотрела на него долгим взглядом, затем вздохнула:

— Раньше я бесплатно получила вот эту квартиру.

Олег Олегович парировал:

— А я купил дом с землей!

Жена прикусила губу.

Кое-как месяц скоротали, жена комбинировала: носки-то ей на чулочной фабрике давали под честное слово!

Пошел снег, да такой крупный, что колеса у «Мерседеса» пробуксовывали. Марков решил сразу же поставить зимнюю резину, заехали в техцентр, колеса быстро меняли. А там — подержанные «Жигули» продают. Марков приценился, да взял и купил машину Олегу Олеговичу. Тот в трепете поцеловал Маркова со словами:

— Спасибо, старик!

За месяц Олег Олегович получил права на ускоренных курсах, за которые платил Марков, и как только получил эти права, исчез на неделю. Марков в первый день отсутствия Олега Олеговича попил кофейку с Еленой, без злобы, даже с волнением — не случилось ли что, все-таки зима? А Олег Олегович поехал под управлением жены за картошкой, на обратном пути машина сломалась, ни с того ни с сего погорела вся электропроводка, намучился с женой, пока тащили их на прицепе в Москву.

— Какой тебя черт туда понес?! — спросил Марков.

— Не бросать же картошку!

— О, да! Да я тебе на ближайшем рынке мешок куплю!

— Жалко, свой урожай, — посапывал Олег Олегович.

— А ты вообще, чем в жизни занимаешься? — вдруг спросил Марков, угощая сигаретой Олега Олеговича.

Тот смутился сначала, но потом отмахнулся:

— Тем же, чем и все люди, — живу!

— Понятно.

К Новому году картошка кончилась. Жена не отставала: давай съездим, да давай съездим. Поехали. Маркову опять не позвонил. А в деревне — свадьба. На три дня задержались. На свадьбе были москвичи (выходила замуж внучка бабы Маши, которая одалживала ему похоронные деньги), разговорились с одним. Олег Олегович держал себя за столом большим человеком. Да, в деревне все знали, что Олег Олегович — большой человек. Жена так слухи поставила, что ее муж — замдиректора

крупнейшей фирмы в России! Так вот, разговорился Олег Олегович с одним москвичом, Антоном, коммерсантом. Этот Антон, оказывается, хоть и молодой был, вообще ничем не торговал, хотя, впрочем, торговал — воздухом, ну, то есть, акциями. Сам придумал себе синдикат, на-шлепал акций и торговал.

Олег Олегович почувствовал себя обойденным. Какой-то мальчишка свое дело придумал, а он, Олег Олегович, не может. А что, если ему самому акциями торговать? Страшно самому: налоги, рэкет, чиновники, банк... Нет уж! И тут, за столом, Олег Олегович вдруг ощутил в себе силы. Да, ведь, он, по сути, мудрее Маркова, мудрее этого Антона! Они мечутся, взваливают на себя груз небывалой ответственности, а он, Олег Олегович, ни за что не отвечает, а идет в гору. Года не прошло, а у него — дом, машина, доходы! Олег Олегович смекнул, что это же его бизнес — ни за что не отвечать и быть при ком-то! И он решил втайне от Маркова быть при Антоне, тому, как выяснилось в разговоре, не хватало как раз такого человека, как Олег Олегович, опытного в делах бизнеса!

В «Мерседесе» было все же приятнее ездить, чем в «Жигулях». Но Олег Олегович, беря сигарету из пачки Маркова, понимал уже, что и он до «Мерседеса» доживет, но по-своему. И в голосе его, заметил Марков, появились самоуверенные нотки. Теперь каждый день Олег Олегович спрашивал, когда он освободится, а если предстояло ехать с Марковым куда-то к вечеру, то Олег Олегович предлагал перенести поездку на утро, а сам мчался к Антону, Второй доход необходим! Антон поставил вопрос ребром — трудовую книжку на стол, но Олег Олегович все тянул время, внутренне не готовый к разрыву с Марковым. Наконец, он решился.

Утром в «Мерседесе» Олег Олегович хотел ему уже преподнести речь о том, что он открывает свое дело — не говорить же, что переходит оруженосцем в другую фирму. Но Марков опередил его сообщением, что они сейчас едут писать контракт с голландцами. Этого Олег Олегович не ожидал. В голове молниеносно прокрути-

лась догадка; возможно получение зарплаты в валюте, и смолк.

После подписания контракта голландцы устроили фуршет, Олег Олегович жадно поглощал деликатесы, а сам все думал об Антоне. И когда ехали в машине потом, все думал об этом и перед тем, как сесть в метро, машинально сказал:

— Старик, как ты считаешь, я способный твой ученик? Марков недоуменно пожал плечами.

— Короче, я хочу открыть свое дело!

Марков облегченно вздохнул. Он сам готовился предложить Олегу Олеговичу отставку, потому что тот не прошел испытательный срок.

— Твоя судьба в твоих руках, — мягко сказал Марков.

— Завтра поставь мне печать в трудовую, — с чувством гордости, даже уважения к себе сказал Олег Олегович.

— Поставлю, а ты заявление напиши по собственному, — сказал Марков, ощущая неприятный комок в горле.

Олег Олегович вышел. Марков поехал, огорошенный, конечно, откровением Олега Олеговича, но и обрадованный тем, что все кончилось, что теория Маркова о том, что люди — скоты, подтвердилась и что он отныне будет полагаться только на себя.

Однако Олег Олегович исчез, не звонил неделю. А когда позвонил, то уже Марков, исходя из своей теории, грубо попросил его больше не звонить. А запись об увольнении пусть сделает сам Олег Олегович. Печать там одна стоит, ну, и достаточно. Но не тут-то было. Олег Олегович позвонил бухгалтерше Маркова и сказал, что если Марков не выплатит ему последнюю зарплату и не поставит печать в трудовую книжку, то он, Олег Олегович, подаст на него в суд и расскажет обо все его делах.

Бухгалтерша испуганно передала весь этот разговор Маркову. Марков почувствовал в этом руку жены Олега Олеговича и решил не усложнять ситуацию. Он сам позвонил Олегу Олеговичу, но тот был на стоянке у своих «Жигулей», тогда Марков попросил жену передать ему, что он ждет его в семь вечера на старом месте у метро.

Когда несколько испуганный Олег Олегович сел в «Мерседес», Марков сунул ему деньги в банковских упаковках, поставил печать в трудовую книжку и сделал запись о том, что Олег Олегович уволен по собственному желанию, на всякий случай взяв с него заявление о том же. Ибо, согласно теории Маркова, скоты могли прицепиться к любой закорючке.

— Хочешь, расскажу, чем я буду заниматься? — гордо, с видом владельца фирмы спросил Олег Олегович.

— Нет, — ответил Марков, зная, что Олег Олегович не способен к самостоятельному делу, а подробности его не интересовали.

Через два месяца Олег Олегович, проснувшись в пять утра, почувствовал, что он голоден, перелез через тело жены и в трусах, босиком, отправился на кухню, но нашел лишь остатки подгоревшей картошки на сковороде. Почесывая бородку, со слезами на глазах он опустился на табурет. Разве мог знать Олег Олегович, что Антон окажется в буквальном смысле слова проходимцем?! Чувство ужаса, охватившее Олега Олеговича, улеглось лишь тогда, когда он вспомнил о своей телефонной книжке...



*Ирина МАШИНСКАЯ*

## ДО СВИДАНИЯ, МОЙ ДРУГ

### Ответ

Бежит речка, как живая,  
избегая общих мест,  
Господа не называя,  
крутит лист и камни ест.

Слов ненужных отпечатки  
нечувствительны листу,  
точно как глазной сетчатке  
град на Каменном мосту.

Все, что знаем о свободе —  
из чужого словаря.  
Ты скажи хоть о погоде,  
но с другим не говоря.

Что — свобода? Ну свобода.  
Пустота со всех сторон.  
Мой глагол — другого рода,  
оттого протяжней он.

(К этой строчке примечанье —  
на окраине листа:  
чем длиннее окончанье,  
тем пустынное места.)

Друг далекий Селиванский!  
Только воздух надо мной.  
Слева берег пенсильванский,  
справа берег — как родной.

Для того нужна граница,  
для того я тут стою.  
Вот летит большая птица,  
я ее не узнаю.

*Март 1997*

По двору, по канаве, трубе,  
по унылому, в пятнах, ТВ,  
по топтанью у рампы подъездной —  
я скучаю, мой друг, по тебе.

Может, это лазейки ГБ,  
или это жалейки БГ —  
я сыграла б на балалайке,  
я скучаю сейчас по тебе.

Эти встречи в подземной толпе,  
эти драмы в подъездном тепле,  
расставанья столбняк — оглянуться  
было больно, мой друг — а тебе?

— в ноябре, октябре, сентябре —  
эти звезды, луна, и т.п.,  
эта оторопь ночи морозной —  
это все возвращалось к тебе.

Кому чайник, и след на столе —  
а нам — свет на последнем столбе.  
До свиданья, мой друг, до свиданья —  
хорошо ль тосковать по тебе?

По Васильевской, как по тропе.  
Фонари в изумрудном тряпье.  
Все-то в мае твоём, и июне  
посвящалось бы только тебе.

Уезжай, никого не губя,  
и живи, ни о ком не трубя.  
Забывая, мой друг, забывая,  
привыкая к себе без тебя.

*1997*

### **В кино**

Да лишь асфальт шероховатый  
и черно-белое ситро.  
Висели разные плакаты  
у разных выходов метро.  
И были всякие уловки,  
чтобы запомнить, где какой,  
и у стеклянной остановки  
автобусные рокировки  
внушали смутный непокой.

Ты никого не растревожишь,  
пожалуйста, не продолжай,  
воспоминанья не подложишь  
как ты его не наряжай.

Не видит прошлого картины,  
кто голову не поднимал,  
а только на одну картину  
зрачок землистый поднимал:

когда по слякотной панели,  
по сумеречной грязи он,  
как рядовой, стремился к цели,  
и тихо лампочки горели  
над крепостью «Иллюзион».

*Май 1997*

### **В поезде**

*Н. Горбачевской*

В мягком воздухе Европы  
понавешано ковров,  
улыбаются повсюду  
группы кожаных коров.

Даже путаясь окольно,  
не минуем мы реки.  
Дремлет ласково и пыльно  
наше солнце у щеки.

А в вагоне для курящих  
ходит теплый ветерок.  
Это все мы пропустили,  
перепрыгнув океан.

*17 авг. 1997*

Бесснежных зим сухое сито  
ну как теперь тебя зовут?  
В какое нас еще корыто,  
как грушу сизую, сорвут?

Не в оцинкованное, с солью,  
на кристаллический костях,  
а чтоб космической молью  
проело звезды на кустах,

где мы между помойных баков,  
как между бакенов, пройдем,  
на улицу чей створ опакон  
и узок сумерек проем.

Чтоб мостовую серокожей  
к тебе придвинулось оно,  
и стало до конца похоже  
на черно-белое кино.

Уже ходульное любимо —  
к чему бы это нам, дружок?  
Ее холодная рябина  
в последнем кадре, как флажок.

*1997*

### **Отрывок из письма с берега**

...Никакого -хоть зрачок разорви -  
до самого горизонта визави.  
Только море — с ним теперь говори.

Только башни, но не Китеж — вокзал  
поднимается со дна — и мотив  
изменяется, как будто вассал  
успокоился, сполна уплатив.

Только башни, но не Китеж — вокзал  
поднимается со дна полон рот.  
Все, что нам Карамзин рассказал,  
исподлобья глядит из-под вод.

Что затеяно — не нам расхлебать  
и уж точно — не нам разглядеть.  
Но в теплушки — русалкам вплывать  
и на рифмах глагольных сидеть.

Наш мотивчик мелковат, подловат.  
За живое — ну кого он возьмет?  
Но мы знаем, как неглубоко тут ад  
выше рая, где метрический мед,

завершив метонимический круг,  
как под утро оглядишься: сам-друг,  
как метафоры погасишь фонарь,  
превращается снова — в янтарь.

И не вспомнишь никогда, почему  
потревожили морскую пчелу.  
Волны катят без числа на Чечню,  
возвращаются с лихвой на Чухну.

*1 июля 1996*

### **Тамбов**

Кто под грушей, кто под сливой.  
Брак случайный, несчастливый.  
Тут затворы, там забор.  
Что мы знали до сих пор?

Раздраженье разгрызая,  
сверху смотрит белка злая.  
За ней снежная гора,  
в доме черная дыра.

Ничего не подевалось,  
что вошло, то и осталось.  
Чайник воет, как вулкан.  
На столе стоит стакан.

Кому хрен, кому горчица.  
Кому спится, кому злится.  
Отведи, скрипя, засов.  
Страшно утром в пять часов.

Нигде музыки не слышно.  
Над дорогою всевышно.  
Где Герасим — там Муму.  
Не завидуй никому.

*20 марта 1997*

### **30 декабря 1996**

Проснись среди шума городского,  
гуденья низкого, какого  
уже двенадцать — больше — или  
уже не помнишь как мы жили.

Как долго, как же долго длится  
мое блаженство, шевелится,  
сквозит колонна занавески,  
скользит кольцо, и едут лески.

Следить за нею сонным глазом,  
сдвигая кольца по два разом  
под долгий вой огромной тачки,  
под окнами катанье бочки,

пока еще не встал с постели  
и нам еще не показали,  
что там, внизу уже творится,  
а только штору, ветку, птицу —

проснись» в одну уставься точку,  
вяжи узоры в одиночку  
троллейбусов, трамваев, звяков,  
чей голос всюду одинаков.

Проснись в орехе Вашингтона,  
в зеленой мякоти уклона  
в грядущее, скажи кому-то,  
кто рядом, лучше — никому:

— Отели с панорамой дымной  
не город видят анонимный,  
а облако — лети, минута,  
ты никуда не улетишь.

Чем пасмурнее — тем прекрасней.  
Она не начата, пока с ней  
сей шторы тюль, и что-то в кадке —  
намек, что смертны да не кратки.

*Дек.96/фев.97.*



*Леонид БУЛАНОВ*

## **ГЛАГОЛ В ЛЮБОМ ЧИСЛЕ И РОДЕ**

Пусть спутаются устье и исток,  
Пусть рыцарь перед дамой — на колени,  
А ты представь себе, что одинок,  
И наслаждайся этим представленьем.

Пусть нотами твоя бунтует плоть,  
Но «Травиату» пусть напишет Верди,  
А ты представь себе, что ты — Господь,  
Сиречь — Создатель Неба, Света, Тверди.

Пусть плавлен в реверансах менюэт,  
Ведь это только танец, и не боле,  
А ты представь себе, что ты — Поэт,  
И выйди через дверь в открытом поле.

1997

*Елене Кукловой*

Одни уходят без следа,  
Другие помнятся до боли,  
Кто знал Елабугу тогда,  
Как знают нынче, поневоле.

Шнуром завяжется маршрут  
Непостижимого сюжета,  
Так, в христианнейшем мире  
По сути места нет поэту.

Пусть каждый полюс ритмом срыт,  
Пусть дилетанту незаметен  
Непрекращающийся взрыв,  
Растянутый на полстолетья.

Не сломлен Дух, но сломлен взгляд,  
Жизнь — марафон на поле минном.  
Да будет проклята петля,  
Собой принявшая Марину.

1997

Выплескиваясь из пропорций  
Совместно с картой козырной,  
Добро однажды обернется  
Неведомою стороной.

В зависимости от фавора —  
Горяч иль холоден эфес,  
И Зла Прекрасность для Пандоры  
Недаром выковал Гефест.

Не захлебнусь в ажиотаже,  
Когда любой вещает Вождь,  
Добро и Зло — одна и та же  
Метафизическая ложь.

1996

*Иву и Симоне*

Я нотным строчкам — не чета,  
Я не читаю их «с листа»,  
Но нотной гаммы нагота  
Манит в нетканые тенета,  
И пиететом суета  
Влетает в оные лета,  
И все свершается, когда  
Прочтен последний лист либретто.

И динамитом — седина,  
И плавит память пелена,  
И застывает нотный знак,  
И выпил клякспапир чернила,  
Но песни — словно письма,  
Их зашнурует тишина,  
Пусть солнцем голова полна,  
Да падать время накатило.

Я продолжаю быть в душе  
Давнишней песни атташе,  
Пусть вечность спрятала в планшет  
Рукоплескания артистам,  
А я храню свои клише,  
Как память из папье-маше,  
И прихожу на Пер-Лашез  
К синониму «Опавших листьев».

1996

Я складываю поневоле  
Слова, знакомые до боли,  
Как каждый в Питере Вокзал,  
Я не лелеять их — не волен,  
Листаю их. Чего же боле!  
Как ктой-то давеча сказал.

Не от безделья, не от лени  
 Нет без огня тепла в полене,  
 Так множит нимбы аноним —  
 Как бы по щучьему веленью,  
 А я усядусь на колени  
 Глагола. И спрягаюсь с ним.

Глагол в любом числе и роде -  
 Незаменим и путеводен  
 И по пустыне и в ночи,  
 От свитка Торы до пародий —  
 Примета Родин и Прародин.  
 И буква Алеф, как зачин.

1996

В триумфе, так же как в опале,  
 Не говорят начистоту,  
 Мы в Пастернаковскую впали,  
 Или не впали, простоту.

Зачем нас погоняет лидер  
 В мир соразмерностей сплошных,  
 Где в геометрии Евклида  
 Шьют Буцефаловы штаны,

Где вместе с музой спрятан в кузов,  
 Под бормотанье «цоб-цобе»,  
 Примитивизм гипотенузы,  
 Соединившей А и В.

И растворяется хаос, как  
 Перешнурован в камуфляж  
 Огней посадочной полосы,  
 Которая сама — мираж.

1997

Танцуй, Жизель, Адановский балет,  
 Лепи полет блистательного тела,  
 Предела независимости нет,  
 Да и зависимости нет предела.  
 Ликующий балетный алфавит —  
 Суть текстуальная вестальность мысли,  
 В незримом измереньи, визави,  
 Кристаллом независимым зависни.

1997

### **Модус вивенди**

Демон комеди  
 Германну вреден,  
 Дама вестимо  
 В картах-зелю,  
 Аз-Буки-Веди,  
 Модус вивенди,  
 Словно незримый  
 Новый псалом.

В этом сюжете  
 Леди и денди —  
 Хор херувимов,  
 Зло вознесло  
 Тур на паркете,  
 Модус вивенди  
 Не пантомима,  
 Но ремесло.

Внеэтикетен,  
 Деланно бледен,  
 Миро без грима —  
 Логоса слог,  
 Модус вивенди,  
 Ретро в секрете,  
 Третий в ответе  
 За эпилог.

1997

В начале были Мойка и Нева,  
А Слово — после, и второго сорта.  
Какого черта я ищу слова  
Везде, и даже в окиси форта.

Но линия искания — крива  
И рокова, как рококо кроссворда,  
Которым зашифрованы слова  
Рудиментарные, не для аккорда.

А в голове всеведует сова,  
Бурлит словарь и булькает реторта.  
Какого черта я ищу слова,  
Какого черта я ищу слова,  
Какого черта,  
Ах, какого ч-е-е-е-р-т-а.

1997



Лев АННИНСКИЙ

## СЛОВО — ПРИ СМЕРТИ. КТО ТЕБЯ УСЛЫШИТ?

Вначале было Слово, и Слово было у Бога. Понять бы, у кого оно сейчас. Русская интеллигенция в страхе и трепете наблюдает конвульсии того, что несколько столетий было для нее «всем», — агонию литературы. Толстые журналы хиреют, тонкие опошляются. Думали, что гласность пришпорит литературу, расширит ее возможности, усилит ее воздействие на читателей. Копили сокровенное — излить. А гласность сдвинула чтение куда-то вбок, то ли на задворки, то ли в другую сферу, и излить откровение не на кого.

По выражению одного политолога, сегодняшняя регулярная печать похожа на пинг-понг, где игроки поражают друг друга и узкий кружок заинтересованных болельщиков, не далее Садового кольца в столице. Такой же пинг-понг — в периодике литературной: междусобойное фехтование критиков, переброс «мотивов», понятных посвященным, постмодернистские упражнения мастеров.

Люди, ранее все это читавшие, теперь развернуты к телеэкранам, а тот, кто еще читает, читает более или менее откровенную развлекательную продукцию детективного или эротического жанра — такую, от которой высокая литература (и критика) всегда себя отделяла и приходила в ужас. Слово распадается, скатывается на обочины жизни. Слово — при конце?

Тянет оглянуться: нет ли спасительных аналогий? Может, мы не над обрывом, а на очередной нисходящей ступеньке? И не все потеряно?

Философ Григорий Померанц называет теперешние времена (идейный вакуум, катастрофическое сознание, распад нравственных ценностей, потеря исторической памяти... продолжите сами) — эпохой дрейфа. Как назвать эпоху — во многом ключ к тому, как с нею справиться. Дрейф — это не конец пути. Это момент потери ориентиров — перед тем, как найти новые. Философ говорит: такого рода переориентировки уже бывали в истории мировой культуры. Есть резон взглянуть — уже хотя бы для того, чтобы не впасть в последнее отчаяние.

Гр. Померанц пишет об этом, комментируя идеи современных культурологов о конце «Нового времени» (Modern-times) и начале какого-то другого времени — «После нового» (Post-modernity). Гр. Померанц ссылается на Тома Кандо, Том Кандо ссылается на Маклюена. Но дело не в идеях того или иного теоретика постмодернистской эпохи, а в том, что произошло в реальности при переломе от времени, начавшегося с эпохи Просвещения, ко времени, начавшемуся, как принято считать, в 1914 году.

Я выделю близкий мне «литературный аспект»

Общество Нового времени «передавало информацию, печатая книги»; современное общество передает информацию, посылая электронный сигнал: образ, картинку, жест...

Дензин назвал это «видеотией».

Несколько характерных штрихов.

«Телевидение стало властью, загнавшей в угол учителей и священников, сделавшей политиков своими статистами».

«Телевидение учит мыслить картинками, роликами, клипами, реагировать на раздражители, как бык на красную тряпку, и получать радость от крутых переходов чувств».

«Кусок фекалий, выставленный на обозрение публики, так же достоин созерцания, как икона».

Последний штрих показывает, что дело вовсе не в телевидении, появление которого лишь дало техническую базу для назревшей психологической переориентации, ибо, как говаривали когда-то наши отцы-марксисты, человечество делает лишь те технические открытия, до которых нравственно дорастает.

**Кусок дерьма приравняли к иконе (шамана к Шекспиру, как в свое время Аполлона к печному горшку) не потому, что на кусок дерьма действительно намерены молиться (разве что ради эпатажа), а потому что икона кажется куском дерьма, точнее, дерева, но с точки зрения «постмодернизма» это опять-таки одно и то же. Потому что икон «слишком много». Потому что на плодящиеся культы не хватает святых чувств. Потому что количество переходит в качество, в антикачество, в отсутствие качеств — бессмысленность градаций — смешение иерархий. «Все черненькие и все прыгают».**

Предупреждая нашу растерянность при мысли о невозможности подковать такое количество блох, Гр. Померанц рассказывает, что в истории человечества подобные дрейфы уже случались. Наш, по меньшей мере, третий.

Итак, в начале, как сказал евангелист Иоанн, было Слово. Слово устное. Мудрецы вещают — люди внимают.

**«Жизнь меняется медленно, внуки вступают в такое же общество, каким оно было при дедушках и бабушках. Нет конфликта отцов и детей. Опыт старших хранится как драгоценность. Альтернативной информации нет...»**

Но вот появляется Письменность. Слово фиксируется. «Рукопись сразу изменяет положение. Она адресована неизвестно кому...»

Все тот же попутный вопрос: потому ли наступил перелом, что «изобрели письменность», или ее изобрели потому, что понадобилось передать информацию дальше, за круг сынов, благоговейно внимавших отцам, и такая информация нашлась? Сумма информации растет вместе с увеличивающейся «массой человечества»...

Так или иначе, записанное слово меняет мир. В рукописи, адресованной «неизвестно кому», слово лишается

ореола святости. Слова разных рукописей можно сравнивать, «находить неувязки». Возникает мышление, свободное от традиции. Плодятся философы. Слово дрейфует. Дрейфует до тех пор, пока Откровение (тоже записанное в Книгу) не закрепляет за Словом святость.

Итак, Откровение записано в Книгу. Пока Книга переписывается от руки, круг посвященных достаточно узок, чтобы Книга вызывала благоговение. Гуттенберг кладет этому конец. «Появляется печать, печатная Библия входит в каждую протестантскую семью...»

Тот же вопрос: а не потому ли появилось изобретение Гуттенберга, что количество семей, готовых читать Библию самостоятельно, набрало критическую массу?

Так или иначе, все становятся учеными. Спорят. Дерутся. Тридцатилетняя война, Мир заключен на развалинах. Авторитет всех Церквей подорван. Кого слушать? Ориентиры потеряны.

Просвещение их находит — увлекает едва склеенное человечество в новый неотразимый маршрут: к светлому будущему. Скорей, скорей! «Медленно читаемая книга подменяется легко перелистываемой газетой». Информационный бум нарастает. Миллионы людей, вчера еще боготворившие грамотность, получают возможность все, что надо, услышать по радио. С приходом «голубого экрана» в каждый дом все тонет в мелькании кадров. «Стирается грань между важным и пустяковым».

Книга отступает в тень. Слово возвращается с бумаги на уста и извергается с уст водопадами трепа. Куски фекалий плавают в этом потоке вперемешку с иконами.

**Вдумываясь в этот третий дрейф, постигший человечество, я не склонен восклицать в духе старца Филофея: четвертому не быть. Быть! И четвертому, и пятому, и, надеюсь, сто пятому. Если история человечества продолжится, продолжится и пульсация культуры. Технические ее носители будут меняться и совершенствоваться, но это — следствие. В глубине причин — все то же: нарастание информации — взрыв — вакуум — потеря ориентиров — поток информации по новому руслу...**

**Я не стал бы предаваться этим надмирностям, если бы не надеялся на то, что они помогут нам пережить наше теперешнее, на глазах свершившееся несчастье — я имею в виду то, что**

**«самый читающий народ в мире» сидит перед телящиком, кривясь от рекламы, дергаясь от смены клипов и впадая в кайф от «крутых переходов чувств».**

Это навсегда?

Статистика, полученная с последней книжной ярмарки: в России сейчас выпускается столько же книжных названий, сколько в 1928 году. По три книжки на душу в год — как перед Первой Пятилеткой.

Подождите, это еще не все. Сама ярмарка, как факт и метод книгооборота — не подвигает ли к еще большей безнадежности? Тысячи изданий, в одночасье обрушивающиеся на тебя под рекламный треск, — не лучшее условие для вдумчивого выбора; лучшее условие — тишина книжного магазина, работающего не «от ярмарки до ярмарки», а постоянно, как постоянны должны быть и приток книг, и само чтение. Ярмарка — судорога отчаяния книгопроизводителей: иначе не купят.

То же ощущение — от любых вариантов современной книгорекламы. Автор, стоящий в уличном переходе с плакатиком: «Купите мою книгу», и автор, на пышной презентации раздающий автографы, проложенные бутербродами, — похожи, хотя первый тощ, а второй толст: оба не надеются, что их книгу купят.

**А на что, собственно, надеяться? Даже если и купят, — небольшое утешение. Скорее всего потом выкинут. По закону рынка. Оно и так задумано, чтобы выкинули, и тут же новую купили. На рынке книгоиздатель вынужден работать так, чтобы книга окупалась немедленно. Вложил — вернул. Полгода сроку: не продал — прогорел. Значит, тексту дается сроку — полгода. Подумайте, каким должен быть текст, чтобы обеспечить эффект «мячика на резинке»? Вот именно: прочел — выкинул, схватил новое, прочел и выкинул. Такие тексты могут собирать и миллионную аудиторию (два автора царят сейчас в миллионной аудитории: Хмелевская и Маринина, совместным русско-польским напором потеснившие Чейза).**

**Вопрос: куда делась серьезная художественная литература? Где «суровая проза», где поэзия, претендовавшая на нетленность, где критика, надеявшаяся, что она формирует литературный процесс?**

Ответ — в цифрах тиражей. Разойдется какая никакая тысяченка экземпляров, и это уже предел мечтаний. И это

— потолок. И это — после миллионных тиражей советской литературы.

Однако сейчас во всем цивилизованном мире так: миллионы «хавают» массовую продукцию, а товар штучный идет по узко прицельным адресам: в университеты, в литературные кружки... Узко-избранно. Там и читают. «Своих» читают, «знакомых», «друг друга». По делу, по специальности, по интересам, а не «вообще».

**Поэтому отпала нужда в цензуре. Цензура была нужна как огнетушитель — на случай бегучего огня, когда «вся масса» читает одно и то же, и любая искра, попавшая в печать, грозит общим пожаром. XX век — «дайте нам всероссийскую газету, и мы перевернем Россию». А теперь — кого ты перевернешь? Ну, прочтут тебя сто человек... и всосется твое сокровенное «я» в общее гудящее болото. «Голос Тушина» гудит свое, «Московский комсомолец» свое, газеты «Сегодня» и «Завтра» ненавидят друг друга, и... ничего. И в этом царстве многогласности — еще и «серьезная художественная литература» как-то кантуется?**

Как?

Ну, положим, автор нашел деньги и пристроил свою книгу в издательство; издатель сказал, что он сможет продать пятьсот экземпляров. Он эти пятьсот печатает и рассылает,

Простите, но «зафигом» автору в этой ситуации издатель? Набрать книгу на компьютере и сверстать ее человек может сам. Справится и с тем, чтобы заказать оригинал-макет и эти самые пятьсот экземпляров тиснуть приватно. Сброшюрует в ближайшей переплетной и разошлет тираж по почте этим же самым своим «знакомым», которые прочтут и оценят.

Что ты «перевернешь» в такой ситуации? XXI век — век трезвой дозированнойности — так, кажется, предсказали будущее американские социологи, когда на последних президентских выборах гибкий прагматик Клинтон одолел последнего крутого максималиста Доула?

Но вернемся в пределы литературы. Если дальше так пойдет, то наши внуки любой интересный им текст будут извлекать (из «Интернета»? Из какой-нибудь еще универсальной информационной паутины?) нажатием кнопки. Понятие «издатель» в нынешнем смысле уйдет в прошлое вместе со всеми вековыми обидами обойденных авторов. Никаких «молчаливых поколений»! Все, что

ты хочешь сказать, — иди и скажи. Все, что ты хочешь узнать — иди и прочти.

Вопрос: кто тебя услышит? И еще вопрос: а как ты сообразишь, что, собственно, тебе надо знать? И еще: как ты вместишь все то, что на тебя хлынет при нажатии любой кнопки? И наконец, как ты спасешься от отчаяния, что вот ты говоришь, а тебя не хотят слушать?

Как сказал мне один мой сверстник: мы, шестидесятники, дожили до возможности сказать все искренне и до конца, когда этого никто не услышит.

Ничего, мы не последние, и наш жребий — еще не самый худший. Особенно если учесть, куда движется ситуация. При насыщении быта компьютерами и копировальной техникой грань между книгой «изданной» и книгой «неизданной» становится малозначительной. Если, конечно, говорить не о массовом чтении. Но массовое чтение — род бизнеса, это принципиально другое явление, чем бытие того Слова, которое было у Бога, потом было подхвачено Писанием, потом десакрализовано Просвещением, раскручено писателями, а теперь смято под напором «видеотизма».

До тонкой пленочки грозит истончиться сфера действия такого Слова.

Скоро будут забыты те времена, когда движение пера Василя Быкова заставляло миллионы читателей ждать ответного движения пера Чингиза Айтматова, и Отар Чиладзе воспринимался как советский Гарсиа Маркес, а на каждый чих Энна Ветемаа московские критики дружно кричали: «Будь здоров!» Когда за какой-нибудь хитрый интонационный вздох требовали отчета, подступая с ножом к горлу: на что намекнул? куда клонишь? на чью мельницу льешь воду, сукин сын? — Блаженные времена, будь они неладны, конечно.

Все. Кончено. Ничего этого больше нет. Нет «непризнанных гениев», «заткнутых ртов», «зажатых поколений». Голоси как хочешь. Все равно не услышат.

А сам-то ты — хочешь ли слушать других?

Вопрос, конечно, интересный. Особенно когда ищут виноватых и никак не могут найти.

Кто виноват в оскудении литературы?

Рынок? Цены? Невменяемость «книготоргов»? Алчность почты?

Чепуха. «Книготорги» делают то, что могут; на почте

работают такие же люди, как везде. Цены — условные знаки. Спроса нет — вот где корень. Человек не хочет подписываться на толстый литературный журнал не потому, что подписка дорога или доставка ненадежна, а потому, что таких денег на такое дело у него в такой ситуации нет. На другое есть. А это — по бюджету не проходит, и не по денежному даже, а по бюджету времени. То есть человеку все равно некогда будет читать этот том текста. А потом хранить будет негде. И незачем.

Читать же некогда — потому что время уходит на другое. Крутятся люди, зарабатывают. То, что им жизненно необходимо, не пропустят.

Так в том-то и дело, что литература сейчас не дает человеку то, что ему жизненно необходимо, как это было раньше. Хотя предлагает вроде бы то же самое: картинки жизни и рассуждения о смысле оной. Но раньше у нас человек и получал через литературу — «все» («Пушкин — наше все»). Теперь всего хватает и помимо литературы. Теперь то, что предлагает литература, — избыточно. Это роскошь. На большого любителя.

Что еще могло бы вдохнуть жизнь в Слово — запрет. Из-под запрета слаще смысл извлекать. А сейчас — бывший большой начальник издает мемуары, где рассказывает такое, что раньше шепотом передавали бы: как пес еще одного большого начальника полаялся с псом еще одного большого начальника, а их жены... Да раньше на такой жареный факт миллионы бы набежали! А сейчас — никого. Не колышет!

Чтобы набежали, нужен именно запрет. Из-под запрета стибрить. Или дать стибрить. А если все на виду? А если на виду, так мне физиономия большого начальника на голубом экране скажет больше, чем все его байки. И никаких книг не надо.

Прав Гр. Померанц: меняется сейчас не просто набор форм культурного взаимодействия — меняется содержание, суть, смысл взаимодействия. «Речь идет не о новой гипотезе (гипотезе постмодернизма — Л.А.), а о смене аксиом».

Старые аксиомы: книга — источник знаний; всем луч-

шим во мне я обязан книгам; чтение — вот лучшее ученье.

Нынешние средства коммуникации («Интернет», боже мой!) способны доставить человеку практически неограниченную информацию обо всем на свете.

Однако много ли он способен переварить?

Раньше маячила где-то в небе придуманная немцем Гете «всемирная литература», к которой и тянулись ростки и побеги с нивы родимой словесности.

Теперь словесность, произрастающая на мировых нивах, лезет к тебе в окно, в дверь, в глаза, в уши, в душу. Бери! Но сколько из этого ты способен освоить? И как отобрать нужное? И как не сбрендить при таком напоре, как сохранить душу, не улетев песчинкой в слепом вихре?

Страх перед «абстракцией общечеловеческих истин» тревожит души. В качестве мишени, модели такой всеобщей универсальности торчит перед всеми «американизм». Другая мишень уже поражена и растоптана — это «советизм». Мы с вами. От призрака «советизма» мы с вами продолжаем разбегаться. И не только мы. Сепарация — общий вопль на всех континентах. Это тоже не гипотеза это смена аксиом: страх обезлички, готовность любой ценой отстоять самобытность, круговая оборона.

Маятник истории, качающийся между «всемирностью» и «локальностью», стремительно летит к полюсу дробящихся множеств.

Где крайняя точка отшатыванья от «универсальных путей человечества»?

**Недавно радио «Свобода» в программе Анатолия Стреляного «Россия вчера, сегодня, завтра» обсуждало эту ситуацию. Точка стремления — малая родина, твой кусочек земли, твое «крыльцо», «ограда» твоего кусочка от глобального, губительного мирового океана. Почти по Андрею Тарковскому.**

**Ну, и какая культура может быть создана в масштабе «крыльца», «огорода», «кусочка земли»? Сколько ангелов поместится на этом острие? Явно же: между полюсами должно найтись некое опорное поле, достаточно большое, чтобы на нем могла скрепиться культура, и достаточно малое, чтобы она не расползлась.**

**Регион?**

**Близко. Почти точно. Неопровержимо — если к самоощущению «региона» добавляется такая ценность, как язык.**

«Язык — первоэлемент культуры», — эмпирическая истина, на которую натолкнулись, бродя за своими призраками, марксисты. История подтвердила: национальный язык — главная ценность, главный пароль современного сепаратизма, более важный, чем экономическая независимость (которая есть блеф) или государственная атрибутика (которая есть только система условных знаков). Корень всего — язык, реальность безусловная, фундаментальная, иррационально взращенная в сознание. «Аксиомы не доказываются, их формулируют интуитивно», — напоминает Гр. Померанц. Вы никому никогда не докажете рационально и не объясните внятно, зачем господину богу нужно столько языков в человечестве. Кроме того, что нельзя всех постричь под одну гребенку, и что на пестрой Земле человечество должно быть пестрым, вы из этой ситуации ничего не вымучаете. Но интуитивно любой человек, помнящий звуки своей материнской «мовы», скажет, что утратить ее было бы для него трагедией, что утеря любого такого карточного домика слов — потеря для всего человечества. И будет прав.

Язык — первоэлемент, в котором нащупывается соразмерный органический фундамент культуры. Масштаб, далекий от глобальности, но достаточный, чтобы устоять. Мировые языки «растаскиваются» на диалекты, на местные говоры и варианты.

**Я уже встречал определение «американский язык», за которое в мои школьные годы сразу ставили двойку. Скоро появится и «австралийский». Есть узаконенные различия испанского в Испании и испанского в Латинской Америке. Китайский языковой ареал включает несколько «регионов». Насчет русского...**

**Насчет русского — наша главная головная боль. «Южнорусская школа прозы» и «сибирский склад повествования» — это, может быть, еще только цветочки на общей ниве. А ну, как «сепаратисты», растаскивающие Россию, как растащили они Советский Союз, поднапрут еще...**

Разумеется, есть процессы объективные и неизбежные. Дробление крупных государственных структур и дробление Слова — процессы взаимосвязанные. Но ритмы мировой политики (осознаваемые как правило задним числом в масштабах столетий) и ритмы развития Слова в

основе культуры (осознаваемые в масштабе тысячелетий) не совпадают. А если совпадают, то в моменты истории, величие которых равно их трагизму. Мировая литература может существовать только в мире, осознающем свое единство. Гр. Померанц как-то заметил, что великие религии выношены во чреве великих империй. Суждение, весьма рискованное в обстановке нынешней ненависти ко всему «имперскому», но верное для великих эпох.

А мы — в межвременье. Мы с трудом находим ту нишу, в которой может укрыться и удержаться Слово...

...Слово, которое живет в совершенно ином бытийном ритме, чем его технические носители (письмена, книги, фильмы, газеты и т.д.) и чем его политические арендаторы у которых оно становится разменной монетой.

Как и где удержится Слово в этой реальности, наверное, не угадаешь. Скорее всего — в рамках языкового региона — в противовес и глобальной, и доморощенной прагматике.

Это не значит, что на грядущем пути человечества не будет очередных мировых поветрий. Будут. Но плыть придется под своим парусом. Это не значит, что не будет очередных дрейфов при мертвом штиле. Но не стоит путать дрейф с кораблекрушением и смену ориентиров с концом света.

Пересчитывая ступени, вспомним, что по любой лестнице можно двигаться не только вниз, но и вверх.



ИСТОРИЯ  
И СОВРЕМЕННОСТЬ

Марк ХОЛМЯНСКИЙ

## НЕМНОГО О ЗАГАДОЧНОЙ ЖИЗНИ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ

Субъективные заметки

Прошлое Советского Союза и его обитателей настолько запутанно и иррационально, что можно понять побуждение зачеркнуть его, выбросить из истории семьдесят с лишним лет и начать все сначала. Понятно, что так поступать нельзя, слишком дорого обошелся начатый в 1917 году эксперимент.

Занимающимся загадками прошлого наверняка приходится задумываться над тем, почему идея построения социализма прочно овладела людьми именно в годы разгула тирании, когда и малых признаков социальной справедливости не было.

Сегодня стало модным Октябрьский переворот считать заговором. Но, если обратить внимание на совпадение по времени этого события с концентрацией жестокости и социальной несправедливости раннего капитализма, основанного на нерегулируемых товарно-денежных

отношениях, возникает предположение, что в 1917 году сработал «закон маятника», побуждавший к отказу от рынка и переходу к централизованному управлению. Когда впоследствии капитализм приобрел характер регулируемой системы, стала очевидной необходимость сочетания обоих экономических законов.

Похоже, что экономический аспект «октябрьского эксперимента» не был главным — слишком очевидна была нежизнеспособность системы с чисто централизованным управлением. Много важнее другой аспект — выяснение непредсказуемого поведения людей, одержимых идеей создания общества социальной справедливости. Скорее всего никогда более не повторится почти фантастическое сочетание жесточайшего тиранического режима с фанатичной верой людей в светлое будущее. Сложность этого сочетания, помноженная на неоднородность общества, не допускает применения общих оценок.

Хорошо известно, что в годы советской власти было не только плохое, но и хорошее. Для получения общей оценки нужно каким-то образом просуммировать все это и найти некое «среднее». Но такая операция невозможна, поскольку «плохое» и «хорошее» единой количественной меры не имеют. В самом деле, как найти среднее между верой в святость служения обществу и организацией голода на Украине, между верой в международное братство людей и изгнанием целых народов со своих земель?

**Значит, если оценки все-таки нужны, они могут быть только локальными. Стремление к наиболее общим оценкам приходится умерять с учетом того, что чем однороднее оцениваемые объекты, тем оценка надежнее. Для объектов неживой природы действует нерушимое правило — пользоваться статистическими характеристиками только в пределах одной статистической совокупности. Если, например, речь идет о продукции предприятия, допустимо присваивать ей какие-то средние характеристики только в случае достаточной однородности продукции; в противном случае приходится разделять ее на сорта.**

Переход к локальным оценкам снизит употребимость слишком общих понятий, таких как «народ», «массы»,

«свобода». Как можно найти нечто общее для оценки населения страны, среди которого есть тиран, аппарат подавления и низы? Как можно строить тонкие умозаключения, пользуясь расплывчатым и нечетко определенным понятием «свобода»? А вот менее общие понятия: «свобода слова», «свобода совести», «свобода вероисповедания» — это уже нечто более осмысленное!

Понятия — главные инструменты познания. Снижая их общность, мы переходим к более тонкому инструментарию, позволяющему углубить наши знания и перейти от чисто морфологических описаний событий советского времени к выявлению их глубинных механизмов.

Переход к менее общим оценкам требует и ограничений во времени. Так, при ярко выраженной динамичности жизни советских людей за 3/4 века, мало что можно сказать о всем этом периоде в целом — разделение советского времени на характерные отрезки времени представляется неизбежным.

## Как жили люди в советское время

Очень по-разному жили в разные годы!

Для предвоенного периода характерны: тираническое правление Сталина, усиление «номенклатуры» и «силовых структур»; разделение населения на «низы» и «верхи»; активная идеологическая деятельность коммунистической партии; вера «низов» в идею построения в стране «социализма», или более определенно — общества высокой нравственности и социальной справедливости.

**Если, гуляя по Москве, спуститься по Кузнецкому мосту к Лубянской улице, пройти через Лубянскую площадь к площади Ногина, завернув по пути на Красную площадь, сначала просто удивись отсутствию открытых окон, обилию «бюро пропусков», темноте окраски. Потом вспомнишь, что во всех этих мрачных «утюгах» десятки тысяч чиновников все свое рабочее время посвящали либо уничтожению людей, либо распределению их по лагерям, либо нагнетанию страха. Вспомнишь и, может быть, захочешь скорее бежать из этого жуткого мира.**

**Одержимый манией уничтожения и устрашения, тиран имел в своем распоряжении все необходимое: органы физического**

**уничтожения, органы идеологического воздействия и бюрократический аппарат, позволяющий «охватить» всю страну.**

Как жили и что могли в те годы низы? Известно, что справедливых режимов не бывает, но люди стараются приспособиться ко всякой власти, и только относительно немногие либо активно поддерживают власть, иногда даже пресмыкаясь перед нею, либо готовы к борьбе с властью.

Чем власть жестче, тем борцов меньше. Может ли человек, стремящийся к приспособлению, быть счастливым?

Адаптация низов к власти — ключ понимания того, что происходило в годы сталинской тирании. Думаю, что те, кто задумываются над этим, видят перед собою человека, которого дорога привела к развилке: «Налево пойдешь, ..., прямо пойдешь, ...» Мог бы выбрать сопротивление, но смалодушничал, и, хоть и не захотел пресмыкаться перед властью, принял ее. И, значит, в какой-то мере поддержал. Такое могло быть, но как исключение, поскольку решение об адаптации не было индивидуальным. Его приняло большинство низов.

Это же большинство и определяло нормы поведения. Когда сегодня кто-то стыдит людей того времени за «приспособленчество», за «отсутствие самоуважения», такой человек исходит из сегодняшних нравственных представлений. И это неверно, поскольку адаптация, будучи избрана подавляющим большинством низов, не могла одновременно быть ими презираема.

Известно, что нормы поведения людей — категория историческая; в XIX веке за оскорбление обычно вызывали на дуэль. Сегодня этого не делают никогда. Осуждать за адаптацию к режиму неправомерно, кроме того, и по той причине, что в годы сталинщины у людей просто не было альтернативы.

В России способность к адаптации люди развили в себе за многие века царской власти. Они выбрали себе такую систему приоритетов, при которой главным не было стремление к роскоши. Они воспитывали в своих детях пиетет перед людьми науки, техники и искусства.

Кроме «наследственной» адаптации, шло и более прямое приспособление к действующей власти, и опять не индивидуальное, а коллективное. Это явление было настолько всеобъемлющим и разнообразным, что можно лишь попытаться охарактеризовать главное в нем. А главным был несомненно труд! Словно специально созданный для адаптации труд как бы отодвигал в сторону все, что было связано с тиранией.

В послереволюционные 15 лет люди оказались вынужденными работать очень много. Труд часто был тяжел, но он не был и не мог быть рабским хотя бы потому, что трудились с энтузиазмом. Кончался длинный рабочий день, а они не спешили разойтись по домам — они еще так много не успели обсудить!

С теми, кто этому не верит, я готов поделиться своими наблюдениями лета 1931 года. Было это на строительстве огромного завода. Инженерно-технические работники жили в двухэтажных домах. Туалетов в домах не было, и «итээры» после работы, наскоро переодевшись, спешили к «полевым туалетам», расположенным в метрах 70 от домов. Тропинки от домов к туалету пересекались. И вот в местах их пересечения они сходились и с жаром продолжали дневные разговоры, игнорируя возмущенные возгласы заждавшихся жен, доносившиеся из окон домов. Вот вам и «рабский труд»!

Я думаю, что Сталин трудовой повинностью действительно хотел поработить массы, но опростоволосился — коллективный труд дарил людям радость единения и творчества. Мир увлеченного работой человека почти замкнут, а влияние власти им мало ощущается. Вот, например, завод, осваивающий новую продукцию. Задача поставлена тяжелая, сроки сжатые. Но продукция действительно стране нужна. Люди все сильнее и сильнее втягиваются в работу. Что знают эти люди о тирании? Прямого ее влияния они не ощущают, а знают о ней лишь то, что преподносят газеты. Нет у них ни другой информации, ни времени для ее поисков.

Специалист в области проблем адаптационного синдрома Г.Селье писал: «Чтобы придать смысл жизни,

нужна возвышенная цель». Как ни парадоксально, такую цель предоставляла насаждаемая сверху идея построения социализма — общества социальной справедливости.

Верхи, возможно, потирали руки в восторге от того, что сумели внушить массам идеологию, предельно облегчающую их оболванивание. Этой идеологии соответствовал выгодный верхам нравственный кодекс: атеизм, интернационализм, небрежение к быту, святость служения обществу, культ коллективного труда во имя высшей цели. Кодекс как будто бы обеспечивал подчинение низов, примирял их с бесправием и бедностью. Но верхи опять попали впросак — оказалось, что этот же самый кодекс помогал людям приспособиться и сохранить при этом самоуважение.

Фантастическое это было время. Фантастической была и вера в идею, которую насаждали убийцы. Вера поддерживалась благодаря отсутствию информации, да еще и способностью человеческой психики отторгать нежелательное.

Подводя итоги, можно констатировать, что в рассматриваемые 15 лет перед войной у большинства людей предпосылок для адаптации хватало с избытком. Вот только слово «большинство» в данном случае имеет двоякий смысл. Население Союза в те годы приближалось, видимо, к 250 миллионам. Если 90% из них адаптировались, это составляло убедительное большинство, но это означает и то, что 25 миллионов адаптироваться не смогли! Кто они, какова их судьба? Я не смог бы ответить на этот вопрос и мне не встречались даже попытки на него ответить. Однако, есть данные о количестве людей, уничтоженных сталинскими сатрапами. Есть и сведения о том, сколько людей томилось в лагерях. Видимо, давно пора произвести необходимые подсчеты и сделать их всеобщим достоянием, хотя и без того ясно, что многим миллионам людей не удалось адаптироваться.

В Союзе, например, всегда существовала группа, у которой в силу особенностей ее труда не было возможности уклониться от идеологического диктата. Это были

историки, писатели, экономисты, деятели культуры. Для людей этих профессий «подчиненное мышление» было катастрофой: они становились умственно неполноценными, и, когда мы сегодня осуждаем писателей, дружно изгонявших из своих рядов лучших, надо учитывать, что это был суд несчастных калек.

Не уйти от вопроса: как могло благоденствовать большинство, если каждый пятый либо был уничтожен, либо сидел в тюрьме, либо валил лес в лагерях? Оказывается могли. Большинство не было преступниками! Может быть, эти люди не понимали, что происходит? Принято обсуждать: «знали или не знали?», но ведь это опять роковая общность вопроса. Что такое «знали»? Надо же уточнить: что именно знали!

То, что в стране велись аресты и что было их очень много, знали все или почти все. Появился страх, хотя было бы ошибкой считать, что он овладел большинством. Как уже говорилось, люди умеют вытеснять из сознания все неприятное и, когда им это удастся, страх отступает.

## **Развал системы и разрыв межнациональных связей**

Кто не видел, как разрушаются дома? Появляются отдельные трещины, потом откалываются куски. Трещины объединяются, и уже отпадают целые панели. Вдруг дом как бы замирает и, рассыпаясь, оседает. От прежней его формы ничего не остается — только груды камней, скрюченные стальные прутья и балки в пыли. Если растянуть эту картину на несколько десятков лет, мы получим картину развала Советского Союза, его экономики, межнациональных связей, социального устройства и нравственных устоев.

Сколько бы ни вглядываться в картину разрушения, причину его не узнать — нужно разбираться во внутренних его механизмах, иногда глубоко скрытых.

В основе уникального объединения десятков нацио-

нальных образований лежала идея интернационализма. Рождение этой идеи — одно из основных завоеваний Октябрьской революции. В обычное «вялотекущее» время оно потребовало бы десятков и сотен лет, революция сократила эти сроки.

Вот вам невыдуманный случай. Когда я учился в школе, примерно в 30-м году нужно было заполнить одну из бесчисленных анкет, сочинявшихся педагогами. В анкете был пункт «национальность». «Что мне писать, Клавдия Гавриловна?» — спросил я учительницу. «Давай спросим ребят», — предложила она. «На каком языке ты говоришь, пишешь и думаешь?» На все три вопроса я честно ответил: «на русском». «Ну, ребята, так кто Холмянский по национальности?» — спросила учительница, обращаясь к классу, и ребята дружно ответили: «русский».

Рожденный революцией интернационализм дал прекрасные всходы, подняв многие отсталые народы, их культуру и уровень образования. Но, посадив это великолепное дерево, правители начали изо всех сил его выкорчевывать. Эта идиотская работа заняла несколько десятков лет и в конце концов завершилась «полным успехом» — Союз распался!

Когда я командовал на войне ротой, в ней были представители многих национальностей, и все были вместе — это были воины одной армии! В последние годы дошлые литераторы обнаружили в интернационализме тридцатых годов, в тогдашних призывах к объединению народов признаки агрессивности. А ведь должны были бы понимать, что такая агрессивность никому опасна не была.

Не многим больше, чем интернационализму, «повезло» другому завоеванию революции — неприятию мещанства. Сколько черных дел совершено за годы советской власти ради приобретения дач. А вот, если бы это завоевание не растоптали, а развивали на основе совершенствования коллективного отдыха, смешно было бы иметь свою дачу и намного поутихла бы тяга к стяжательству.

**Распадающуюся советскую государственную систему докнали взяточничество и коррупция. Для того, чтобы они стали возможными, надо было далеко уйти от нравственных представлений послереволюционных лет. И этот путь был пройден!**

**В интервью, которое брал у Гавриила Попова Андрей Караулов, последний высказал недоумение: «Ваше недавнее интервью в «Аргументах и фактах», Гавриил Харитонович, удивило многих. Вы говорили, что чиновники имеют право на взятки, что тут нет ничего дурного». Последовало разъяснение: «Это не совсем так, но в принципе — да, такая мысль присутствовала».**

Известно, сколь велика роль частной собственности в развитии экономики. Но известны и связанные с нею издержки: рост социальной несправедливости и ущерб нравственным устоям людей. Пока главным «источником» частной собственности являлось взяточничество и воровство, было еще полбеды. Но вот входят в жизнь рыночные отношения в экономике. Резко возрастает роль и объем частной собственности. И если хоть на минуту забыть о связанной с этим опасностью, все хорошее, что она приносит, может превратиться в бедствие.

Если отнестись ответственно к негативным сторонам частной собственности, придется вспомнить о совсем забытом — о моральном поощрении за труд, которое, в сущности, незачем было забывать. Нужно просто иметь в виду, что моральные стимулы эффективно дополняют необходимое материальное поощрение. Однако при одном условии: когда по достоинству оценивается созидательная деятельность. Если этого нет, как не стало в годы загнивания в Союзе, моральное поощрение теряет эффективность. А когда им пытаются заменить недостаточное материальное поощрение, оно просто-напросто превращается в надувательство. О том, сколь велика сила морального поощрения, показали годы войны. В обстановке страстного стремления к победе и полного отсутствия какого-либо материального поощрения, все брали на себя моральные факторы и работали безотказно, хоть и не в целях созидания, а ради уничтожения.

Подводя итоги советскому опыту, попытаемся ответить на вопрос: что все-таки стало главной причиной развала экономической системы? Вопрос этот труден.

Поэтому заранее оговариваюсь, что буду субъективен. Так вот, в качестве главной причины я вижу крах социалистической идеи. Вера в нее родила невиданный в истории энтузиазм, который стал «подпоркой» недостаточно эффективной экономике. Но вера, чудодейственным образом выжившая в условиях сталинщины, все же не выдержала мощного потока информации: с войной пришел конец полной изоляции. После XX съезда люди узнали, что их идейные наставники на самом деле были убийцы. Пришла правда об ужасах ГУЛАГа. На смену официальной фальшивой печати пришел самиздат. На многое раскрывали глаза диссиденты.

Такой ответ порождает еще более трудный вопрос: связана ли была потеря веры с тем, что идея социализма за годы советской власти была полностью скомпрометирована? Снова убеждаемся, что слишком общо поставленные вопросы, как и слишком общие понятия, — чересчур грубые инструменты для выяснения глубинных механизмов явлений. В понятие «социализм» включали определенные формы собственности на средства производства. Они не оправдали себя, и в этом отношении социализм провалился. Но низам эти формы собственности сами по себе нужны не были — они мечтали о социальной справедливости и высокой нравственности. Советский опыт поколебал веру в осуществимость этой мечты, но не более того. Идея проверена всего на одном-единственном опыте. Те, кто занимается исследованиями в области естественных наук, знают, сколь подвержены реальные процессы случайным отклонениям. Чтобы получить достаточно надежные результаты, приходится проводить иногда десятки, иногда сотни опытов, но никогда еще не бывал достаточен один опыт! И это не все — очень вероятно, что в общественных процессах, усложненных влиянием субъективных факторов, разброс еще больше и придется считаться с прямым влиянием случайности.

Господствует представление о необходимости как о «ледоколе», прокладывающем путь сквозь льды. Случайности могут тормозить его движение, но влиять на курс не в состоянии. Это справедливо, но только в определен-

ных пределах. Если случайность переходит этот предел, имеет место принципиальное влияние случайности на необходимость. Поэтому, анализируя события прошлого, мы чаще всего не знаем, что было действительно необходимым, а чего могло бы и не быть. Значит, не пришло еще время общих оценок советского времени.

## Взгляд в будущее

С чего начать? Всякий школьник, не задумываясь, ответит: «С экономики». Но люди, чья жизнь пришлась на советские времена, могут взбунтоваться и потребовать, чтобы прежде всего была обеспечена гарантия демократии новой государственной системы. И, стало быть, гарантия того, что ужасы прошлого не повторятся. Осуществимо ли это в принципе? Опыт принятия так называемой «сталинской конституции» заставляет усомниться в этом, а ведь в нее были заложены неплохие мысли. Но что толку от этих мыслей, если требования Конституции не имели количественной определенности? Как я вижу эту определенность?

Если, например, надо защитить культуру, не следует отягощать Конституцию длинными рассуждениями о ее значении — нужна короткая запись: «Затраты на культуру должны составлять... такой-то процент от расходной части бюджета». А чтобы защитить это положение, необходимо ввести в Конституцию жесткие требования к процедуре снижения этих расходов.

Не менее обеспеченным должно быть требование к ротации в системе государственного управления. Оно должно быть выражено настолько четко, чтобы любое отклонение от конституционного порядка выглядело бы прямым нарушением законности.

Тенденцию скатывания к единоличной власти в России чаще всего объясняют своеобразием русского характера. Но опыт послереволюционных лет показал, что, когда переламаываются моральные устои всего общества, своеобразие народного характера — всего лишь важная деталь.

**В нынешнее время люди в общем-то понимают, как правильно жить. Но связанные с этим интересы — это всего лишь «дальние интересы», о которых принято потолковать за кружкой пива, но следовать которым слишком хлопотно и потому необязательно.**

**Предпочтение отдается «ближним интересам»: получению прибыли, материальным приобретениям и т.д. В погоне за ближними интересами дальние интересы слишком часто страдают — им нужна защита, которую должна взять на себя Конституция! И делать это необходимо с такой же конкретностью и ответственностью, с какой Уголовный кодекс, если его не игнорируют, защищает права и свободы граждан.**

Словом, Конституция должна быть такой, чтобы людей поменьше морочили, и такой, чтобы помогала людям правильно жить. Слава богу, есть негативный опыт советского времени — не учесть его было бы непростительно. Только после того, как Конституцией будет обеспечена демократичность государственного и общественного строя с приоритетом нравственных и социальных ценностей, откроется возможность построения экономической системы, близкой к оптимуму.

В.И. Ленин считал, что преимущество той или иной системы определяется производительностью труда. Иными словами, он считал, что нужно выбирать систему на основе максимума производительности.

В таком же духе планировались реформы Е.Т. Гайдара. Может быть, на ранних стадиях развития экономики это было разумным. Но сейчас приоритет производительности труда выглядит явно нелепым. Разве не очевидно, что производительность труда должна быть ограничена оптимумом в системе: «производительность — социальная справедливость и высокая нравственность»!

**Какой же все-таки быть экономике будущей России? В №117 журнала «Время и мы» опубликовано интервью, которое дал лауреат Нобелевской премии Милтон Фридман. Он говорил тогда, что идея Маркса о централизованном управлении экономикой, осуществленная в России, провалилась и что, следовательно, надо вернуться к принципам Адама Смита — принципам свободного развития рынка, предложенным еще в конце XVIII в. Таким образом, М. Фридман предлагает альтернативу: либо механизм рыночных отношений, либо механизм централизо-**

ванного управления, и высказывается в пользу первого. Он, видимо, забыл, что ни один из двух основных механизмов сам по себе не жизнеспособен, поскольку не может обеспечить норм социальной справедливости и нравственности. По-видимому, необходимо сочетание механизмов!

Задумав «перестройку», М.С. Горбачев угадал это, но, видимо, по-настоящему не понял — слишком легко затюкали его российские экономисты. С демаршем выступила в те дни Лариса Пияшева, — она доказывала, что механизмы несовместимы и, стало быть, сочетать их нельзя.

Самое удивительное в том, что грубая ошибочность ее умозаключения вообще не была замечена. Да, действительно, механизмы несовместимы, но это вовсе не означает, что их нельзя сочетать. Люди имеют многовековой опыт использования несовместимых свойств. Нужно только соблюдать правило: не «сталкивать их лбами».

Позволю себе высказать мнение, что проблема решается в форме «комбинированной системы», представляющей собою сочетание полной свободы производства с полной централизацией инвестиционных действий!

Государство — осуществляет разработку оптимального плана развития хозяйства страны и само реализует его. Первую задачу решают специализированные комитеты, вторую — проектные, строительно-монтажные и контрольные организации, находящиеся в государственном подчинении.

Предприятия — осуществляют производство в рамках конституционных норм, свободно выбирая вид и номенклатуру продукции, поставщиков, оплату труда, потребителей и цены на готовую продукцию.

Поскольку контроля за видом и объемом выпускаемой продукции не потребуется, отпадет необходимость в существовании министерств; специализированные комитеты по своему масштабу с ними не сопоставимы: в составе комитета должны трудиться несколько десятков или, в редких случаях, сотня человек.

Взаимоотношения между государством и предприятиями должны строиться на чисто хозяйственной основе.

Наиболее трудная задача — обеспечить в рамках «ком-

бинированной системы» социальную справедливость и высокую нравственность. Если эту задачу удастся решить, система станет много ближе к человеческой мечте, чем при централизованном управлении. На вопрос о том, насколько реален для нынешней России новый путь, может ответить только жизнь.

Пока предлагаемый проект требует множества оговорок. Надо, чтобы «комбинированную систему» приняли. Надо радикально изменить отношение к частной собственности. С одной стороны, необходимы гарантии ее, с другой стороны, не обойтись без серьезных ее ограничений.

Можно рассчитывать, что принятие «комбинированной системы» приведет к атрофии бюрократической машины и никаких специальных мер не потребует. Все что понадобится для перехода на «новый путь», можно и нужно осуществить демократическими методами. Может быть, самое главное, что показал опыт советских лет: никакая самая святая цель не оправдывает насилия при ее осуществлении.



Евгений МАНИН

## Э Т Ю Д О Ж А Б О Т И Н С К О М

*Правда об основателе еврейского фашизма*

4 июня 1997 года агентство Ассошиейтед Пресс распространило сообщение и фотографию, обошедшие все крупнейшие газеты мира: накануне могила покойного премьер-министра Менахема Бегина в Иерусалиме была осквернена политическими противниками Ликуда; могильную плиту вымазали черной краской и над надгробии оставили плакат со свастикой и надписью на иврите: «Израильские нацисты! Выбросьте кости Менахема Бегина и захороните здесь кости наших погибших отцов!»

Почему «нацисты»? Почему свастика? И кто эти «наши погибшие отцы», которые должны быть торжественно захоронены вместо Бегина?

Конечно, это можно было бы принять за обычную риторику фанатиков. Например, то же Ассошиейтед Пресс сообщило 11 июня этого года, что в праздник Шавуот, у Западной стены в Иерусалиме, произошло настоящее

побоище: ортодоксальные евреи швыряли в евреев либеральных течений иудаизма (многие из которых были американцами) камни и бутылки, плевали в них, рвали одежду, избивали и вопили: «Нацисты! Это вы истребили шесть миллионов!»

По отношению к Бегину это не просто риторика — за этими страшными словами стоит не менее страшное прошлое, уходящее своими корнями к духовному отцу Менахема Бегина и его бывших соратников — к Владимиру Евгеньевичу Жаботинскому, создателю Бейтара, основателю партии сионистов-ревизионистов и Иргуна — того посеянного им ветра, из которого мир ныне пожинает бурю современного политического терроризма.

\* \* \*

А сейчас я приглашаю читателей окунуться в политическую атмосферу 20-х — начала 30-х годов нашего века.

В описываемое время Европа была буквально захлестнута воинствующим национализмом и фашистскими движениями самого различного толка. Они отличались друг от друга своими экономическими и политическими программами, но у всех у них был и ряд характерных одинаковых черт. Например, чрезмерное преувеличение значения собственной нации или расы в мировой истории и мировой политике. Эта черта питала такие малоприятные явления, как ультранационализм и расизм (мы лучше всех, мы древнее всех, мы умнее всех, мы дали миру то, мы дали миру это). К этому необходимо добавить подчинение интересов отдельной личности интересам государства или идеи. А также стремление расширить размеры государства или создать свое государство за счет других государств.

Кольбелью фашизма стала, как известно, фашистская партия Италии — в ноябре 1921 года; и Италия же стала первым фашистским государством — в 1924-м. Там родилось кредо Фашизма: героизм, презрение к опасности и беззаветная преданность родине и идее; категорическое отрицание либерализма, железная дисциплина и слепое повиновение младших по рангу — старшим. Девизом фашистской партии стало: «Kredere, dhbedire, combattere» — верь, повинуйся, сражайся.

И, конечно, идея вождя. В социальном смысле, фашизм — это бегство масс от несчастий, трудностей и неуверенности в завтрашнем дне, — бегство к лидеру, харизматическому вождю, лишаящему людей личной свободы, но зато снимающему с них

**всякую ответственность и дающему им взамен порядок, чувство товарищества и борьбы, социальную и национальную защиту и экономический прогресс.**

В 1920-30-х годах фашистские режимы Италии и Германии были в центре внимания мировой политики. Но к 1936 году, в той или иной степени фашистскими уже были Австрия, Венгрия, Польша, Болгария, Румыния, Греция, Япония. В каждой из них фашизм имел свою идеологию, свою униформу и свою символику.

Каждый фашистский режим мечтал о величии своей нации — особенно о восстановлении величия минувшего. Бенито Муссолини считал себя прямым преемником Цезаря, ввел римское приветствие-салют и мечтал о воссоздании великой Римской империи. Гитлер сделал «расовую теорию» превосходства нордической расы и антисемитизм государственной политикой, позаимствовал фашистский итальянский салют и начал создавать тысячелетний Третий рейх — путем завоевания Европы и движения на восток. В Польше мечтали о создании Речи Посполитой «от моря до моря». А, скажем, в Греции генерал Иоанесс Метаксас основал (1936) — «Третью эллинистическую цивилизацию», со спартанским салютом...

Каждое фашистское движение непременно имело свою юношескую военизированную организацию — как GFM (Движение фашистской молодежи) в Италии или Гитлерюгенд в Германии — будущий резерв для воплощения в жизнь фашистской идеи. Молодые люди обоего пола тренировались и работали в специальных лагерях: занимались спортом, стрельбой и марш-бросками; носили особую униформу, подобно старшим товарищам (черные рубашки, коричневые рубашки, зеленые рубашки и т.д.); маршировали под пение военно-патриотических песен, устраивали парады со знаменами и штандартами, факельные шествия и митинги. Вот что представлял собой мир в описываемое время.

\* \* \*

Жаботинский, родившийся в Одессе в 1880 году, не сразу стал блудным сыном европейского сионистского движения. После Первой мировой войны Бен Гурион и

Жаботинский сотрудничали вместе на ниве сионизма в качестве политических советников, собирателей средств и яростных пропагандистов. Но в 1923-м их пути стали расходиться. Жаботинский начал убеждаться, что его надежда на немедленное учреждение англичанами независимого еврейского государства в Палестине не имеет под собой никакой почвы. Он чувствовал все большее отчуждение от Бенгурионовского ортодоксального сионизма и в конце концов основал собственное оппозиционное ревизионистское сионистское движение. Эта его собственная организация и стала известна под именем сионистов-ревизионистов (1925). Она сама, впрочем, отнюдь не считала себя радикальным крылом сионизма — наоборот, Жаботинский и его соратники видели в себе именно тех, кто подхватил эстафету истинных сионистов Герцеля и кто является его истинными наследниками.

Жаботинский, как известно, был восторженным поклонником итальянского фашизма и личности его лидера Бенито Муссолини. Он отлично знал, что ни одной фашистской партии, ни одному фашистскому режиму никогда не удавалось сделать всю нацию поклонницей своей идеологии. Но всегда находилось достаточно большое число преданных сторонников — особенно среди молодежи, как губка впитывавшей идеи жестокости, борьбы и самопожертвования во имя угнетенной и страдающей нации. Евреи страдали от угнетения и преследований в течение тысячелетий, и, следовательно, по мысли Жаботинского, они самой своей судьбой были подготовлены к восприятию фашистской идеологии. Соответственно этому, сионизм Жаботинского представлял собой движение жестокое и беспощадное, где не было места никаким сантиментам и компромиссам. Эта жестокость и беспощадность была позднее воплощена в слова и дела «духовными сыновьями» Жаботинского — Менахемом Бегинем, Авраамом Стерном, Ицхаком Шамиром, Меиром Меридором и многими другими. Члены движения Жаботинского так же презирали либерализм и буржуазную демократию со всеми их слабостями и высокопарной болтовней и предпочитали быть еврейскими фашистами. Подобно своим моделям и кумирам, члены движения Жаботинского носили коричневые рубашки, и иные из них доказывали даже, что не будь Гитлер антисемитом, они горячо поддержали бы идеи «чистого» национал-социализма.

Короче, Жаботинский естественно вписался в фашистскую мозаику эпохи. Ему не хватало лишь военизированной молодежной еврейской организации, и в 1923 году, в Риге, он создает первый отряд Бейтара — это название представляло собой анаграмму выражения «Трумпельдор, герой Тель Хай».

Жаботинский, в полном соответствии с фашистской доктриной, решил создать совершенно новый тип еврея — превратить евреев гетто и черты оседлости не просто в нормальных людей, но в высшую расу аристократов. Бейтар, как ничто другое, воплощал эту цель в жизнь. Он наглядно демонстрировал молодым евреям Восточной Европы — как прежде безответные рабы превращаются в «аристократов духа», используя все перечисленные выше атрибуты фашистской пропаганды: торжественные факельные процессии, парады с бесчисленными флагами и вымпелами, ритуалы, патриотические песни, обязательная униформа («голубые рубашки») и тренировочные лагеря.

Если старшее поколение сионистов полагало, что еврейское государство должно родиться в результате соответствующих дипломатических усилий, то «бетарим» сионистов-ревизионистов Жаботинского видели только один путь — путь, столь знакомый всем фашистским движениям: беспощадную борьбу. Кровь, смерть и самопожертвование. Поэтому все они с таким восторгом и готовностью восприняли идеи Аббы Акимеира, лидера организации Брит Хабирионим: важны не средства, не поступки, но — цель. Единственный же критерий ценности тех или иных действий — количество пролитой крови. Стихи Ури Цви Гринберга, полные крови, смерти и самопожертвования, стали необычайно популярны, как и «Шир Бейтар» — «Гимн Бейтара», написанный Жаботинским:

*Из грязной ямы, полной гниения и пыли,  
Через кровь и пот,  
Рождается новое поколение —  
Гордое, щедрое и яростное.  
Захваченные Бейтар, Йодефет и Масада  
Восстанут вновь во всей своей мощи и величии.*

*Еврей — князь, даже в нищете,  
Даже если он раб или голодранец.  
Ты создан сыном царя,  
Ты увенчан короной Давида,  
Короной гордости и борьбы.*

*Что нам враги и противники!  
На вершине ли ты удачи или сброшен вниз, —  
Высоко носи факел восстания.  
И наш девиз: «К цели, чего бы это ни стоило!»,  
Потому что молчание — это грязь.  
Так отдай же кровь свою и душу  
Ради тайной и прекрасной цели —  
Умереть или завоевать Сион.*

Сладкий яд этих страшных слов: «Еврей — князь и сын царя, даже если он раб и нищий голодранец», «Наш девиз — к цели, чего бы это ни стоило!» и «Наша цель — умереть или завоевать Сион!» — проникал в кровь молодых «бетарим», формировал их сознание, определял их будущие взгляды и поступки. Да, в будущем они, отравленные этим ядом, станут жестокими, беспринципными и беспощадными. Да, в будущем они создадут теорию и практику несчастья нашего времени — нынешнего политического терроризма. И возникшее, в соответствии с их убеждениями, из дыма взрывов и потоков крови, государство Израиль будет навсегда обречено проливать кровь — свою и чужую, чтобы выжить, «чего бы это ни стоило».

Но это все в будущем, а сейчас левые сионисты отнеслись к деятельности партии Жаботинского вообще и Бейтара в особенности с откровенной враждебностью: уж слишком то и другое напоминало им пугавший их обычный европейский фашизм, с невиданной быстротой расплывшийся по континенту. «Голубые рубашки» Бейтара копировали «Синие рубашки» в Ирландии, «Черные рубашки» в Италии, «Коричневые рубашки» в Германии, «Зеленые рубашки» в Венгрии, «Серебряные рубашки» в Штатах и Аргентине.

И, конечно, идея вождя: Бейтар был могучим и послушным инструментом в руках Жаботинского. Но, как это

сплошь и рядом бывало в еврейской истории, новоявленного мессию не приняли. 13 октября 1928 года состоялся первый парад Бейтара в Иерусалиме. «Голубые рубашки», под грохот барабанов, с развевающимися знаменами, печатали шаг по мостовой, распевая свой гимн, а на тротуарах стояли евреи иерусалимского ишува, плевались и, потрясая кулаками, кричали: «Фашисты!»

**Если вы вновь обратитесь к идеям, которые копировал Жаботинский и в которых черпал свое вдохновение, то убедитесь, что почти каждое фашистское движение имело своего мученика-героя, павшего в бескомпромиссной борьбе с врагами. Для Жаботинского в такого героя превратился Йосеф Трумпельдор.**

**Уроженец России, Трумпельдор служил в царской армии во время русско-японской войны и там лишился руки. Оправившись после ранения, он примкнул к сионистам, эмигрировал в Палестину и там сдружился с Жаботинским, которому помогал организовывать Еврейский легион в составе британской армии. По окончании Первой мировой войны Трумпельдор возглавлял группу пионеров, расселившихся небольшой колонией в верхней Галилее и возделывавших землю. В 1919-м разразилась распря между местными арабами и пришельцами-евреями: арабы напали на еврейскую ферму и в стычке убили восемь человек — среди них Трумпельдора. Памятником ему стал Бейтар, а его смерть послужила основой для последующего мифотворчества и песен, воспевавших бесстрашного фермера.**

\* \* \*

Начиная с 1923 года, Жаботинский выдвинул программу борьбы с арабами, именуемую «игрой с нулевым счетом»: имелось в виду, что каждый успех врага — это потеря для еврейского дела. Чтобы выиграть эту игру, надо быть, следовательно, максимально сильным и боеспособным. Другого пути не было, еврейское государство должно было появиться не путем дипломатической болтовни, а через огонь, дым, смерть и потоки крови. Считая это исторической необходимостью, Жаботинский призывал в 30-х годах к захвату Эрец-Израиль путем жестокой, кровавой войны. Еще в 20-х годах появилась его идея о «железной стене»: никакие компромиссы, никакие политические соглашения не помогут сионис-

там, поскольку арабы по-прежнему хотят оставаться хозяевами земли, на которой они живут, и они не отдадут ее ни при каких условиях, — «именно потому, что они не сброд, а живая нация». Вражда будет продолжаться, пока у них будет хоть капля надежды на победу («щель в железной стене»). Значит, только «железная стена» жестокого, бескомпромиссного и беспощадного сионизма, обеспечивающая полный разгром арабов, сделает возможным установление Еврейского государства — Великого Израиля — во враждебном регионе.

Бен Гурион яростно восставал против подобной концепции, но не только в этом заключались различия в их мышлении и стиле. Жаботинский был мечтатель, романтик и авантюрист, готовый ради поставленной цели рискнуть всем. Бен Гурион тоже был авантюрист (это особенно стало очевидно после публикации его личных дневников в сенсационной книге Тома Сегева «1948: Первые израильтяне»), но авантюрист более практичный, более опытный политически и чувствовавший большую ответственность за свои поступки и слова. С середины 30-х годов антагонизм между социалистическим и ревизионистским движениями в сионизме становился все более резким и скандальным.

Жаботинский обвинял Бен Гуриона и его сторонников в соглашательстве и капитулянтстве как перед англичанами, так и перед арабами. Он верил только в Великий Израиль: евреи должны владеть упомянутыми в Торе территориями, включая Иорданию, хоть и территория эта была отдана англичанами королю Абдулле, деду Хусейна, за его помощь в борьбе против турок. Эмират Трансиордания был провозглашен в 1923 году, причем Бен Гурион и его социалисты признали это отделение Трансиордании от остальной Палестины, тогда как Жаботинский и его последователи, подобно «ястребам»-ликудовцам наших дней, видели в Иордании незаконно захваченную историческую часть Израиля.

**Для достижения поставленных задач «любыми средствами», в апреле 1937 года Жаботинский организует военизированное крыло своего движения — «Этцель», ивритский акроним от**

**«Национальная военная организация», известная позднее просто как Иргун — «организация». Ее целью были нападения на британских военнослужащих и британские военные объекты в Палестине, нападения на арабов, а также организация нелегальной иммиграции европейских евреев в Палестину. Дело этим, однако, далеко не ограничилось — Иргун прославился тем, что разработал и освоил технику терроризма совершенно нового, неведомого доселе типа. До сих пор террор повсеместно выражался в убийстве отдельных лиц, мешавших, по мнению террористов, их политическим целям и идеалам. В Палестине это означало, что арабы и евреи сталкивались, если можно так выразиться, грудь с грудью, лицом к лицу. Новый вид политического терроризма отличался анонимностью и массовостью. Теперь убивали вообще всех арабов, имевших дерзость проходить мимо еврейских кварталов, бросали бомбы в арабские автобусы и кинотеатры, а также устраивали взрывы на арабских базарах. Один такой террорист, ничем особенно не рискуя и даже не присутствуя на месте, мог убить десятки мирных жителей, наводя панику и ужас. Это было ново, это было страшно и это было эффективно, но много лет спустя и Израиль, и весь остальной мир заплатят большой кровью за это новшество Владимира Жаботинского.**

Начало террористической деятельности организации Жаботинского приходится на весну и лето 1937 года: 17 мая была взорвана Палестинская радиостанция, 23 мая застрелен первый английский полисмен, а 12 июня — взорван главный иерусалимский почтамт, после чего каждая следующая неделя разнообразилась каким-либо новым подвигом.

Никто в ту пору не мог понять, естественно, что возвращенный Жаботинским и выпущенный им из бутылки кровавый джин бессмысленных убийств ради политической цели — это нечто совершенно новое. В массовом порядке убивали не тех, от кого что-либо зависело, — убивали тех, кто к этой цели никакого отношения не имел, и не за что-то, а лишь ради дестабилизации. Этот джин позднее породит ООП, Хезболлу и Хамас, Шакала Карлоса, Ирландскую ИРА и баскскую ЭТА, корсиканских и тамильских сепаратистов, убийство американского еврея Клинхофера на «Акилле Лауро» и подвиги чеченских террористов в Буденновске, взрывы на улицах, базарах и в автобусах еврейского Иерусалима, — сло-

вом, всех тех, кто избрал своим поприщем политический террор «во имя идеи».

Много лет спустя, при каждой очередной угрозе террористов убить заложников или что-то взорвать, если не будут выполнены их политические требования, журналисты будут озабоченно спрашивать «специалистов по терроризму»:

— Вы считаете целесообразным выполнять подобные требования?

— Ну что вы! — внушительно будет отвечать «специалист». — Ни в коем случае! Ведь это лишь подогреет их аппетиты, и их требования станут еще наглее!

И он будет наивно делать вид, что не помнит и не знает историю: ведь именно порожденный Жаботинским и продолженный его учениками террор привел к уходу британцев из Палестины и образованию Израиля; а ответный террор палестинских арабов, способных учеников своих сионистских учителей, привел к признанию Палестинской Автономии и началу ухода израильтян с «территорий».

Но это все потом, а сейчас, в 30-х, возмущенная Всемирная сионистская организация публично провозглашает партию Жаботинского и его Иргун фашистскими организациями. Не правда ли, совершенно потрясающая новость! Как будто Жаботинский и так не знал, что он фашист. Тем более, еврейский.

\* \* \*

Была еще одна не совсем обычная операция, проведенная организацией Жаботинского и весьма серьезно принятая к сведению одним из его учеников и последователей, воспитанных на идеях Бейтара. Дело происходило в 1937 году, когда командиром Иргуна был некто Моше Розенберг. С момента прихода нацистов к власти в Германии (1933) и по 1937 год в Палестину эмигрировало всего 24000 немецких евреев, да и то приехавшие все время порывались вернуться обратно. С целью «взаимной координации» иммиграционной политики Рейха и партии Жаботинского, в Берлин был отправлен один из командиров Иргуна, Фейвель Полкес, где он встретился в феврале, в дружественной обстановке, с шефом еврейской секции гестапо Адольфом Эйхманом. 17 июля того же 1937 года Эйхман докладывал своему непосредственному начальнику:

«Полкес желает быть уверенным в следующем: на еврейских лидеров в Германии должно быть оказано давление с тем, чтобы они обязали евреев эмигрировать именно в Палестину, а не в другие страны. Эти меры полностью отвечают интересам Рейха, и гестапо сделало уже подготовительные шаги в этом направлении».

А 26 сентября Адольф Эйхман и Герберт Хаген (эксперт СД по еврейским вопросам) отправились в Палестину: Гейдрих разрешил им принять приглашение Полкеса. При этом Эйхман изображал корреспондента «Берлинер Тагесblatt», а Хаген — студента. 2 октября пароход «Романья» с двумя эсэсовцами на борту прибыл в Хайфский порт. После переговоров Хаген послал отчет Гимmlеру, где среди прочего говорилось:

«Полкес сказал, что в еврейских националистических кругах отмечается удовлетворение радикальной политикой Германии по отношению к немецким евреям, поскольку еврейское население Палестины пока что заметно уменьшается; если эта тенденция продолжится в обозримом будущем, то евреи в итоге проиграют многочисленному арабскому населению»\*.

Как известно, нацистские партнеры приложили все силы, чтобы не обескуражить своих сионистских контрагентов.

Жаботинский, впрочем, и не подозревал, что его дела и поступки окажутся бледной тенью по сравнению с поступками и делами его учеников и преемников. Незадолго до смерти Жаботинского, в 1940 году, от Иргуна откололась крайне экстремистская группа Авраама Стерна, именовавшая себя «Борцы за свободу Израиля» (Лехи), и именуемая англичанами и палестинским ишувом просто «Бандой Стерна». Члены Лехи обвиняли Жаботинского и его Иргун в чрезмерной мягкости по отношению к англичанам — по иронии судьбы, это было то же самое обвинение, которое Жаботинский бросил в лицо Бен Гуриону и сионистам-социалистам в 1937-м. Банда Стерна считала, что борьба англичан против Гитлера во Второй мировой войне вовсе не является основанием для прекращения по отношению к ним враждебных действий в Палестине, как это сделал Жаботинский. «Духовный сын» полагал, что его ментор смешон в своей мягкотелости: англичане, доказывал он, гораздо опаснее для евреев, чем нацисты. Исходя из этого, стерновцы даже вынашивали планы некоего альянса между ними и Муссолини с

\* См. Об этом микрофильм FFSS 411 в Вашингтонском нац. архиве.

Гитлером. На встречах стерновских эмиссаров с итальянскими и нацистскими дипломатами\*\* ему разъяснили, что англичане — их общий враг и что Гитлера-де интересует вовсе не уничтожение евреев, но выезд их из Рейха — хотя бы путем эмиграции в Палестину. А это, как мы видели, и составляло некогда заветную мечту иргуновцев (миссия Полкеса), а ныне — стерновцев. Эти поразительные страницы истории Израиля как нельзя лучше иллюстрируют, с одной стороны, беспринципную беспринципность и авантюризм Жаботинского и его «птенцов», а с другой — такую же беспринципную их аморальность, выражающуюся в желании контакта и союза с самым смертельным врагом.

Жаботинский умер 3 августа 1940 года, и своеобразным памятником ему и созданному им Иргуну стала трагедия «Патрии», о которой принято упоминать лишь вскользь и, по возможности, эту трагедию смягчая.

В течение 1940 года, по мере ухудшения положения европейского еврейства, нелегальная иммиграция евреев в Палестину становилась все более важным вопросом. Евреи, которым посчастливилось достичь какого-либо из румынских или болгарских портов, погружались там в крошечные, практически непригодные для морских перевозок суденышки, зафрахтованные или купленные либо агентами Хаганы или Иргуна, либо частными лицами. В ноябре 1940 года две такие посудины достигли Палестины, и были немедленно интернированы британскими властями как нелегальные. 20 ноября было оглашено решение властей переправить иммигрантов в специальный беженский лагерь на принадлежащем Англии острове Маврикий. Все нелегалы (1771 человек) были перегружены на пароход «Патрия», стоявший в Хайфской гавани и готовый отплыть к Маврикию. И тогда Иргун, «в порядке протеста», решил провести одну из самых своих удивительных и самых жестоких операций: на борт «Патрии» предусматривалась тайная доставка мощного динамитного заряда, который следовало взорвать и потом свалить вину за это на англичан, — роскошный повод для антибританской пропаганды, а если понадобится, и «возмездия». 25 ноября 1940 года иргуновец Меир Меридор ночью доставил под водой на судно груз динамита, поджег фитиль и бросился в воду. Вопреки разработанной операции, он был задержан на берегу, едва вылезши из воды, и только поэтому подоплека взрыва стала известна. Взрыв потряс корабль, и он затонул почти мгновенно. 252 человека были убиты и утонули — в том числе 202 еврея-иммигранта, спасшихся от нацистов, и 50 членов команды. Уцелевшие были оставлены в Палестине.

\*\* 1943 год Нафтали Любентшик в Бейруте и Натан Фридман в Дамаске.

В 1935 году в Палестину прибыл Исаак Изертинский, превратившийся там в Ицхака Шамира, — фанатичный польский сионист, бейтаровец, воспитанный на идеях Жаботинского. Год спустя он вступил в Иргун, где лично участвовал в акциях «устрашения», в которых погибли десятки мирных арабов. Когда Банда Стерна откололась от Иргуна и стала осуществлять новый террор с невиданной жестокостью, Шамир почувствовал, что его место именно там, и присоединился к Лехи.

Убийство Стерна британскими полицейскими в 1942-м привело к «коллективному руководству» Лехи, но практически главарем организации стал Шамир. При Шамире Банда Стерна превратилась в маленькую и предельно законспирированную организацию, куда входили считанные активные члены и несколько сот сочувствующих. Их неслыханная жестокость держала и англичан, и евреев в постоянном страхе и напряжении. Они грабили банки, убивали евреев-«предателей», захватывали заложников — богатых евреев и под пыткой получали у них чеки на крупные суммы. Они убивали британских официальных лиц самого высокого ранга и дипломатов (самые крупные достижения Шамира на этом поприще — убийство лорда Мойна в 1944-м и графа Бернадотта в 1948-м). Ну и конечно, они убили сотни арабов в терактах, применяя самые передовые методы политического террора на арабских базарах и в публичных местах. В сентябре 1983 года этот страшный человек стал израильским премьер-министром.

Закончим мы этот очерк делами третьего и самого жестокого духовного сына и продолжателя дела Жаботинского — ныне покойного еще одного бывшего израильского премьер-министра и лауреата Нобелевской премии мира — Менахема Бегина.

После смерти Жаботинского запрет на террор Иргуна против англичан, сражающихся с Гитлером, продолжал действовать вплоть до 1944 года (на Банду Стерна, как мы видели, он не распространялся). В этом году, Менахем Бегин, ставший политическим наследником своего

ментора и командующим Иргуна годом раньше, возобновил террор в таком виде и в таких масштабах, которые «духовному отцу» и не снились.

**Тех, кто пожелает подробно ознакомиться с подвигами Иргуна, руководимого Менахемом Бегинем, таким же восприимчивым учеником Жаботинского, как и Авраам Стерн с Шамиром и прочими бывшими бейтаровцами, я отсылаю к двум источникам. Первый из них — книга воспоминаний Бегина «Revolt» (Восстание) — обязательно первого издания (1951 г.). Только в этом издании Бегин писал правду о новом виде террора, о его летописи, его приемах и его последствиях. Именно эту книгу Ясир Арафат некогда назвал своей «настойной книгой», и она действительно была настольной книгой, справочником и учебником для всех групп, организаций и партий, кто избрал своим поприщем политический террор.**

**Второй рекомендуемый источник — это монография Боуера Белла «Террор из Сиона» (Bowyer Bell, «The Terror from Zion», 1972). Пусть читателей не смущает название: автор — горячий поклонник Жаботинского, Бегина, Стерна, Шамира и прочих «основоположников» нового вида террора, равно как и их методов.**

Среди бесчисленных подвигов бегиновского Иргуна вы узнаете о таких интересных вещах, как налеты на еврейские банки и убийства тамошних служащих-евреев. О том, как Бегин специальной прокламацией официально объявил войну Англии, сражавшейся с Гитлером. О взрыве иммиграционного агентства в Тель-Авиве и о взрыве налоговых управлений в Иерусалиме. Тель-Авиве и Хайфе. И о самом замечательном подвиге этих бескомпромиссных борцов — о взрыве 22 июня 1946 года гостиницы «Царь Давид» в Иерусалиме, где проживал британский обслуживающий персонал. 80 убитых и 70 тяжело раненых поплатились за все ту же догму «духовного отца»: для достижения цели годятся любые средства, особенно те, что связаны с огнем, дымом, кровью и смертью.

Впрочем, не это главное. Главное — что бегиновскому Иргуну, первой производной от Иргуна Жаботинского, принадлежит то, без чего совершенно не мыслится современный терроризм, — изобретение машины-бомбы. Американцы за сотни жизней, унесенных в Ливане, в

Саудовской Аравии и Оклахоме, равно как и евреи Аргентины, — могут быть благодарны Жаботинскому как идеологу, Бегину как воплостителю идей и начальнику «оперативного отдела» Иргуна Амихаи Паглину как непосредственному исполнителю. Ибо именно Паглин впервые создал этот способ массового убийства: его «опробование» состоялось в Хайфе 29 октября 1947 года — ровно 50 лет назад, хоть этот мало радостный юбилей никто и не отметил.

Я знаю, что любителей слащавой мифологии жестокая правда приводит в ярость, но без этой жестокой правды в наше трудное время не обойтись. По установившейся традиции надлежит считать, что никто не забыт и ничто не забыто. Нельзя забыть, что герой этого очерка, какими бы благими устремлениями он ни был воодушевлен, — создатель современного массового политического террора. Нельзя забыть ни жестокости его последователей, усовершенствовавших массовый террор, ни самого террора, ни его жертв. И если все это помнить, то, быть может, покажутся не такими уж таинственными и странными слова и свастика на плакате, брошенном на могилу Менахема Бегина — пожалуй, лучшего и наиболее последовательного из учеников Владимира Евгеньевича Жаботинского.



*Ефим МАНЕВИЧ*

## ИЗМЫШЛЕНИЯ В ЖАНРЕ ЭТЮДА

Некоторые грешат против человека, другие — против Бога; но злой язык совершает грех против обоих.

*Талмуд*

Среди политических деятелей XX века фигура Владимира (Зеева) Жаботинского отличается особым колоритом. В нем сочетались казалось бы несовместимые способности и свойства характера: талантливый журналист из Одессы и офицер британской армии, создавший еврейский корпус «погонщиков мулов», отличившийся в годы Первой мировой войны. Он писал прозу на восьми и стихи на четырех языках, перевел Данте и По на иврит и еврейскую поэзию на русский. Артур Кестлер\* так отзывался об этом сионистском лидере.

**«Жаботинский был национальным либералом в духе великой традиции XIX века, революционером типа 1848 года, последова-**

\* Artur Koestler «Promise and Fulfillment», NY 1949, p. 302-303.

телем Гарибальди и Маззини... Его обожествляла молодежь, и он был наделен исключительным личным обаянием и блестящим ораторским искусством... В свете современности, когда еврейское государство стало реальностью, почти каждый пункт программы Жаботинского был либо осуществлен официальным сионизмом, либо оправдан ходом событий...»

О сложной и противоречивой фигуре Жаботинского написано немало книг и статей. Но, кажется, все это нужно выбросить в мусорную корзину в свете новейших исторических открытий Е. Манина, который перевернул все общепринятые представления и обличил Жаботинского как родоначальника мирового политического террора.

**«Никто в те поры не мог понять, естественно, что возвращенный Жаботинским и выпущенный им из бутылки кровавый джинн бессмысленных убийств ради политической цели — это нечто совершенно новое», — пишет Манин. В другом месте он прямо утверждает, что «герой этого очерка... создатель современного массового политического террора».**

Но так ли это на самом деле? Со времен кровавого политического террора якобинцев времен Французской революции 1789 г. весь мир был наполнен сонмищами террористов: русские народовольцы, ирландские «дайнамайтеры», французские и итальянские анархисты, болгарские террористы IMRO, хорватские усташа, армянские националисты и дашнаки, южноафриканские и китайские повстанцы, индийские сектанты, — да всех не перечислишь.

В 1848 году немецкий радикал Карл Хайнцман заявлял: «Если необходимо взорвать половину континента и пролить море крови, чтобы уничтожить партию варваров, не испытывай угрызений совести». Другой известный теоретик террора Иоганн Мост учил в конце прошлого века, что «бомбы должны закладываться без разбору везде, где можно встретить представителей высшего класса, например, в церквях и танцевальных залах». И террористы так и поступали. В 1880 г. — год рождения Жаботинского — ирландские дайнамайтеры заложили в общественном парке бомбу, устроив настоящее кровавое побоище, в котором погибли многие британские женщины и дети. Тем не менее г-н Манин не стесняется заявить, что Жаботинский, принципиально отрицавший террор против мирного населения, придумал «нечто новое», за что человечество расплачивается по сей день!

Кстати, повод для написания своего «этюда» Манин выбрал явно надуманный: в нынешнем году исполняется столетие со дня Первого сионистского конгресса, состоявшегося в 1897 году в Базеле, однако не с Базельского конгресса берет свое начало сионистское движение. Задолго до этого уже существовали сионистские поселенческие движения «Билу» и «Ховевей Цион». Гораздо раньше Герцля писали свои труды основоположники политического сионизма Цви-Гирш Калишер, Иегуда Алькалай, Леон Пинскер и Мозес Гесс, автор вышедшей в 1862 г. книги «Рим и Иерусалим», откуда Герцль почерпнул многие свои идеи. Что же касается изобретения евреями машины-бомбы, то было бы любопытно обнаружить еще один еврейский вклад в мировую технику. Однако на этот раз нас ждет разочарование, поскольку приоритет создания машины-бомбы принадлежит не еврею Паглину, а чистейшему христианину Сент Регенту, поставившему бочку с взрывчаткой на коляску, с помощью которой он намеревался убить Наполеона. Об этом историческом событии сообщает автор фундаментального исследования о терроризме Уолтер Лакюр, который, в частности, пишет:

**«Самым эффективным новым оружием, использованным террористами в 70-80-х годах, стала бомба-автомобиль... Основной ее принцип был, конечно, не нов; коляска Сент Регента, которой он намеревался убить Наполеона, была ранней версией машины-бомбы. Эта бомба была усовершенствована во время сухого закона, в особенности, Элом Капоне и его чикагскими гангстерами»\*.**

Вообще Манин не считает нужным уделять внимание деталям. Так Бейтар с легкой руки этого автора из анаграммы слов «Союз Трумпельдора» превращается в «Трумпельдор, герой Тель Хай», Трумпельдор погибает в 1919 г. (на самом деле — годом позже), Ицхак Езерницкий (Шамир) становится Изертинским, «Эцель» превращается в «Этцель», Ахимеир в Акимеира, Штерн в Стерна и т.д. Не свидетельствуют ли эти «мелочи» о том, что Е. Манин берется судить о вещах, с которыми он не состоит в

\* Лакюр, стр. 108-109

близком знакомстве. Тем не менее этюд его, написанный с большим апломбом, может ввести многих читателей в заблуждение. Поэтому необходимо вкратце остановиться на событиях, предшествовавших созданию государства Израиль.

\* \* \*

«Для того, чтобы в ложь поверили, она должна быть огромна и ее следует повторять многократно», — говорил Йозеф Геббельс. На протяжении десятков лет арабы повторяли ложь о том, что Палестина — это арабская земля, на которой испокон веков жил некий мифический «палестинский народ». И вот теперь даже многие евреи, не знающие истории Израйля, поверили этой лжи, которая рассыпается в прах при самом беглом ознакомлении с фактами.

**В середине XIX века все население Палестины, включая евреев и арабов, составляло от 50 до 100 тыс. человек. Марк Твен, посетивший Палестину в 1867 году, писал:**

**««Пустынная страна, земля которой довольно богата, однако вся поросла сорняками — молчаливый и печальный простор... Мы успешно добрались до горы Табор... всю дорогу не видели ни одного живого существа».**

В 1882 году выходцы из России выкупили земли в Палестине у европейских владельцев и бедуинов. Следом за евреями в страну потянулись арабы, и в конце прошлого столетия там проживали 92 тыс. евреев и полмиллиона арабов, главным образом, кочевников-бедуинов.

Если принять за основу плотность населения нынешнего Израйля, то окажется, что Палестина была заселена всего на два процента, то есть можно сказать, что практически там вообще никто не жил. Во всяком случае, ни о каком «палестинском народе» речи еще не шло. Артур Кестлер отмечает:

**«Фундаментальный факт еврейской колонизации Палестины состоит в том, что она не только была проведена без применения силы и без угрозы ее применения, но, вопреки принятому представлению, при активном арабском попустительстве. Ни одного араба не заставили продать его землю...»**

В 1917 году министр иностранных дел Англии Артур Джеймс Бальфур опубликовал декларацию, носящую его имя, в которой говорилось, что британское правительство одобряет создание в Палестине еврейского «национального дома».

В то время признанным руководителем арабского мира был эмир Фейсал, который стремился создать независимые арабские государства в Сирии и Ираке, а до Палестины ему было мало дела.

И вот в феврале 1919 года в Лондоне Фейсал подписывает с тогдашним представителем Всемирного сионистского совета доктором Хаимом Вейцманом договор о том, что «арабское государство и Израиль будут действовать в своих отношениях в духе доброй воли и самого сердечного взаимопонимания» и «будут приняты все меры для поощрения и усиления алии евреев в Израиль в широком масштабе и быстрее устройства еврейских поселенцев...»

В марте того же года эмир Фейсал сказал в письме американскому деятелю Феликсу Франкфуртеру\*:

**«Мы, арабы, в особенности, наша интеллигенция, смотрим на сионистское движение с самой глубокой симпатией... Мы окажем сердечный прием евреям, возвращающимся в родной дом. Еврейское движение — национальное, а не империалистическое, и в Сирии (тогда арабы называли Палестину Южной Сирией — Е.М.) имеется место для нас обоих».**

Сегодняшние беды Ближнего Востока в значительной степени объясняются империалистической политикой Англии в период 1917 — 1923 годов, когда британские власти в Палестине нарушили все свои соглашения с евреями и откровенно подстрекали арабов к конфликту. Англичане, господствовавшие в то время в Иерусалиме, не скрывали своей вражды к сионизму и отличались откровенным антисемитизмом. Они были заинтересованы в изгнании Франции из Сирии и для этой цели создали в июле 1919 г. «Национальный сирийский конгресс», выступивший в качестве противовеса сионистскому конгрессу.

\*Samuel Katz, Battleground, Kami Publishers, Israel, 1974. p. 132 (цитируется по изданию на иврите).

В начале 1920 года британские офицеры, состоявшие на службе в Иерусалиме, договорились с группой арабских экстремистов во главе с младшим братом иерусалимского муфтия Эль Хусейни перечеркнуть декларацию Бальфура. Они намекнули свои арабским сообщникам, что «... не мешало бы вызвать антиеврейские волнения, чтобы показать британскому правительству, насколько просионистская политика неприемлема для населения»\*. И вот в марте 1920 года арабы напали на поселение Тель-Хай. Евреи оборонялись, и в ходе сражения погиб герой Порт-Артура Георгиевский кавалер Йосеф Трумпельдор.

Следом за этим толпы арабов устроили погром в Иерусалиме, разрушая еврейские магазины, убивая евреев, насилая женщин. В отчете следственной комиссии, созданной англичанами, говорится, что «... евреи стали жертвами особенно жестокого и трусливого нападения, и большинство пострадавших составляли старики, женщины и дети».

Нападения арабов весной 1920 г. положили конец обещанному еврейско-арабскому сотрудничеству, и на смену ему пришли противостояние и террор, который, по единодушному мнению историков, был начат именно арабской стороной.

Весной 1920 г. Зеев Жаботинский и Пинхас Рутенберг, помнившие погромы царского времени, создали еврейские группы самозащиты. Английские солдаты стояли у иерусалимских ворот и не дали бойцам самообороны войти в еврейские кварталы Старого города.

\* \* \*

В 1922 г. Англия издала «Белую книгу», согласно которой в Палестину мог эмигрировать лишь еврей, имеющий 2500 долларов, что означало резкое сокращение еврейской иммиграции. Жаботинский не принимал ни английского диктата, ни нерешительной политики еврейского руководства Палестины, которое почти целиком состояло из членов различных социалистических партий. На этой почве он вышел из сионистского руководства и создал отдельный Союз сионистов-ревизионистов. В то время как социалистические еврейские лидеры мечтали о единении с арабскими пролетариями, Жаботинский трезво смотрел на создавшееся положение, заявляя: «Невозможно мечтать о добровольном соглашении между нами и арабами...»

В 1923 году он создает молодежное объединение «Бейтар», которое поначалу представляло собой обычную скаутскую организацию. Боуиер Белл, на которого ссылается и Е. Манин, перечисляет задачи Бейтара, поставленные Жаботинским: создание еврейского государства; военная тренировка, общественная служба на родине и трансформация еврея гетто, еврея черты оседлости в аристократа\*.

У Манина эта программа приобретает совершенно иной, зловещий оттенок:

**«Жаботинский, в полном соответствии с фашистской доктриной, решил создать совершенно новый тип еврея — превратить евреев гетто и черты оседлости не просто в нормальных людей, но в высшую расу аристократов».**

Ни Боуиер Белл, у которого Манин позаимствовал целые абзацы, и никакой другой автор не увидели в программе Бейтара ни «фашистской доктрины», ни упоминания о «высшей расе». Теории «высшей расы» были органически чужды Жаботинскому, который говорил: «Для меня все народы равноценны и равно хороши. Конечно, свой народ я люблю больше всех других народов. Но не считаю его выше»\*\*.

В 1906 году на сионистском конгрессе в Хельсинки были приняты решения, которые Жаботинский упоминал в статье «О железной стене»:

**Во-первых, вытеснение арабов из Палестины, в какой бы то ни было форме, считаю абсолютно невозможным; в Палестине всегда будут два народа. Во-вторых, горжусь принадлежностью к той группе, которая сформулировала Гельсингфорскую (раннее название Хельсинки — Е.М.) программу. Мы ее формулировали не для евреев только, а для всех народов; и основа ее — равноправие наций»\*\*\*.**

Странная, однако, эта «фашистская доктрина», не считающая свой народ выше других и выступающая за равноправие наций! Даже те авторы, которых Манин рекомендует для прочтения, прямо отвергают вымыслы о «фаши-

\* J. Bowyer Bell «Terror out of Zion», St. Martin's Press, NY, 1977.

\*\* Владимир (Зеев) Жаботинский. «Избранное», Иерусалим, 1978, стр. 14

\*\*\* Жаботинский, стр. 230.

\* Samuel Katz, pp. 73-74.

стском» характере Бейтара. Например, Боулер Белл пишет:

«Более того, группа Жаботинского существенно отличалась тем, что он принял за модель Бейтара массовые демократические движения национального освобождения, похожие на «Чешских соколов»; и у него не было времени для преступных фантазий, извращенных мифов и одержимости ксенофобскими теориями заговоров, которые существовали во многих фашистских движениях».

Первая вспышка арабского террора против евреев Эрец Исраэль, как уже упоминалось выше, произошла весной 1920 года. За ней последовали арабские бесчинства в Яфо в 1921 году и резня в Хевроне в 1929 году. Но настоящий арабский террор берет начало со времени так называемого «арабского восстания» 1936 — 1939 гг. Тогда арабские террористы совершали диверсии против англичан и еврейских поселений. По отчету палестинских газет тех лет, во время волнений погибло 2849 человек и еще более двух тысяч были ранены.

К началу арабского восстания вооруженные отряды еврейской самообороны уже сформировались в «Хагану» («оборона» на иврите — Е.М.), послужившую основой будущей израильской армии. Почти все руководство «Хаганы» состояло из членов социалистических партий, которые в ответ на арабский террор придерживались тактики «хавлага» («сдержанность» — иврит), то есть отказа от ответных действий арабскими методами.

Однако ревизионисты, руководимые Жаботинским, считали, что тактика пассивной обороны, принятая социалистами, ошибочна, и только активные действия возмездия могут остановить арабский террор.

В 1937 году, наряду с «Хаганой» группа Жаботинского создает «Национальную военную организацию» («Эцель» или «Иргун» на иврите — Е.М.), которая провозгласила на волне своей секретной радиостанции, что отныне евреи прибегнут к древнему библейскому принципу «око за око».

**Даже англичане смогли понять, почему евреи взялись за оружие. В отчете британской комиссии Пила, расследовавшей**

арабское восстание, говорится: «Определенно ни один из бурных народов этих островов (Британии — Е.М.) не выдержал бы без ответной насильственной реакции и сотой доли того, от чего палестинские евреи страдали в течение двух лет»\*. Так начался ответный еврейский террор, вызвавший глубокий раскол в сионистском движении Палестины.

\* \* \*

Лишь дилетант может не увидеть никакой разницы, например, между Лениным, Мартовым и Леоном Блюмом только на том основании, что они принадлежали к партии социал-демократов. Но именно такой подход к анализу фактов предлагает нам Е. Манин, сваливая в одну кучу Жаботинского, Аббу Ахимеира и Авраама Штерна. Манин совершенно игнорирует то обстоятельство, что эти три лидера ревизионистов придерживались совершенно разных идеологий и между ними существовали острые разногласия по вопросу о методах борьбы. В то время как Ахимеир и Штерн были террористами народовольческого стиля, Жаботинский и его последователь Менахем Бегин представляли собой законченных либералов, отрицавших бессмысленные убийства.

«Жаботинский, как известно, был восторженным поклонником итальянского фашизма и личности его лидера Бенито Муссолини», — утверждает Манин. Конечно, желательно было бы узнать, откуда это стало «известно» нашему автору, ибо нет ничего более далекого от правды. На ранней стадии некоторые сионисты, в частности, Абба Ахимеир действительно приветствовали фашизм как национальное движение, спасшее Европу от советской диктатуры. Ахимеир видел в Муссолини великого политического деятеля XX века.

Когда Жаботинский прибыл в Палестину, Ахимеир предложил называть его «Дуче». Реакция Жаботинского, как сообщает Уолтер Лакюр, была резко отрицательной: «Глубоко возмущенный, Жаботинский недвусмысленно отверг это предложение»\*\*.

В 1932 г. Жаботинский заявил на страницах ревизионистского печатного органа «Народный фронт», что его пребывание в движении несовместимо с группой Ахимеира и добавил:

\* David Hirst, «The Gun and Olive branch», NY, 1977, p. 102

\*\* Walter Laqueur, «A History of Zionism», NY, 1972, p.382

**«Найти в гитлеризме некоторые черты «национально-освободительного движения» значит проявить полное невежество... Я требую, чтобы газета безусловно и абсолютно присоединилась не только к нашей кампании против гитлеровской Германии, но и начала борьбу с гитлеризмом в полном смысле этого слова»\*.**

Не менее беспочвенно и утверждение Е. Манина о том, что ревизионисты действовали «любыми средствами», «убивали вообще всех арабов, имевших дерзость проходить мимо еврейских кварталов» и т.д. Артур Кестлер отмечает:

**«Даже в разгар борьбы в подполье Иргун строго соблюдал добровольно принятый «код террористической чести» и отрицал методы неразборчивых убийств и тотального насилия, практикуемые группой Штерна»\*\*.**

Другой авторитетный историк, Николас Бетелл, высказывает ту же точку зрения и в подтверждение ее приводит слова Менахема Бегина:

**«Мы никогда не нападали на отдельных людей, даже на полицейских и солдат. Никогда член Иргуна не застрелил полицейского, встретив его на улице. Таков был метод группы Штерна, перенявшей его у русских социалистов-революционеров, которые верили в убийство отдельных личностей, чтобы устрашить режим. Наша точка зрения состояла в том, что место убитого займет другой человек. Поэтому мы не пользовались этим методом»\*\*\*.**

До начала Катастрофы в пылу политической борьбы палестинские социалисты начали навешивать на ревизионистов ярлык «фашист». Один из авторитетных современных израильских историков Том Сегев рассказывает о том, как через два месяца после прихода Гитлера к власти Бен-Гурион, выступая на митинге в Тель-Авиве, назвал Жаботинского «Владимир Гитлер». Тот же автор отмечает, что социалистическое руководство Палестины 1933 года «... выступило в тот год в «стиле Гитлера» *против политической истории*\*\*\*\* (курсив мой — Е.М), утверждая, что ревизионизм подобен «гитлеризму в худшей форме».

\* Там же, стр. 364

\*\* Koestler, p. 308

\*\*\* Nicholas Bethell, «The Palestine Triangle», NY, 1979, p. 157

\*\*\*\* Может, истерии? (Д.Т.)

Артур Кестлер призывает не придавать этому постыдному методу политической борьбы большого значения:

**«Если член Рабочей партии злился, слово «фашист» легко приходило ему на язык, также как слово «коммунист» употреблял его оппонент... В действительности же палестинские социалисты были коммунистами не более, чем Леон Блюм, а ревизионисты были фашистами не больше, чем Гарибальди».**

Впоследствии аналогичные обвинения выдвигались и против Менахема Бегина. Первые 29 лет в Израиле правила партия Труда, которая пугала израильтян тем, что если Бегин придет к власти, он установит диктаторский режим и приведет к тотальной войне с арабами.

Когда Бегин действительно стал премьер-министром Израиля в 1977, страна испытала период наибольшего расцвета демократии и либерализма в экономике. Именно правительство Менахема Бегина заключило мир с Египтом ценой больших территориальных уступок.

Том Сегев считает, что Бегин «...был демагогом, но вопреки облику, присвоенному ему политическими врагами, и вопреки впечатлению, которое он иногда производил сам — он не был фашистом: перед тем, как он стал главой правительства, Бегин внес большой вклад в становление парламентской демократии в Израиле».

И еще один авторитетный историк, Поль Джонсон, отвергает обвинение Бегина в фашизме. Джонсон поясняет, что Бегин придерживался «третьего пути»:

**«Он считал, что «Хагана» слишком пассивна, а «Группа Штерна» незрелая, порочная и неинтеллигентная... Бегин всегда отвергал такие действия, как, например, хладнокровное убийство штернистами шести британских полицейских...»**

Такова историческая правда, которую Евгений Манин сознательно искажает. По Манину, последователи Жаботинского «презирали либерализм и буржуазную демократию со всеми их слабостями и высокопарной болтовней и предпочитали быть еврейскими фашистами». Но против подобной точки зрения единодушно свидетельствуют все, кто честно исследовал жизнь Жаботинского. Сам Жаботинский заявлял:

**«Я верю, что общественный распорядок, получивший кличку буржуазного или капиталистического... одарен беспредельной гибкостью и растяжимостью... Словом — верю не только в прочность буржуазной системы, но и в то, что система эта объективно содержит в себе семена социального идеала...»\*.**

Жаботинский постоянно боролся со своей совестью по поводу моральности терроризма. Он считал, что возмездие политически оправданно, но в то же время он был «...типичным либералом XIX века, считавшим человеческую жизнь священной. Однажды он сказал своим коллегам: «Я не вижу никакого героизма или общественной пользы в убийстве со спины крестьянина-араба, сидящего на осле и везущего овощи в Тель-Авив»\*\*. Довершить портрет Жаботинского можно характеристикой, данной ему Уолтером Лакюром\*\*\*:

**«В лидере ревизионистского движения сходство с фашизмом было скорее кажущимся, чем реальным. Основной догмат фашизма заключается в отрицании либерализма, тогда как Жаботинский до конца своей жизни оставался законченным либералом, точнее, либеральным анархистом... Жаботинский отрицал идеи тоталитарного государства, диктатуры, подавления политических противников... Жаботинский, как бы кому-то не нравились его идеи и действия, не был фашистом, и, поскольку не может существовать фашистское движение, возглавляемое нефашистом, нельзя определить это движение как фашистское по своему характеру».**

Ни одно государство в мире не было создано без вооруженной борьбы и насилия, и Израиль не избежал этой участи. Во время одного из визитов в Нью-Йорк Уинстон Черчилль разговорился с бывшим членом Иргуна Билли Роузом. Узнав, кем был его собеседник в прошлом, Черчилль сказал:

**«Если вы хотели создать государство Израильской нации, вы имели дело с правильными людьми. Иргун заставил Англию уйти из Палестины. Они сделали это, создав столько трудностей, что нам пришлось послать в Палестину 80 тысяч солдат, чтобы справиться с положением. Военные затраты были слишком велики для нашей экономики. И именно Иргун сделал это»\*\*\*\*.**

\*Жаботинский, «Белый передел».

\*\*David Hirst, pp. 102-103.

\*\*\* Лакюр, стр. 382.

\*\*\*\* Ben Hecht, «Perfidy», NY, 1961, p. 40.

Поскольку Е. Манин испытывает нехватку фактов, подтверждающих его мнение, он начинает «досочинять» их. Тяга подправить историю на свой лад у Манина настолько велика, что даже гимн Бейтара он «доработал», чтобы этот гимн звучал более по-фашистски. В тексте гимна есть фраза, звучащая по-английски так:

*With the torch of revolt*

*Carry a fire to kindle: «No matter».*

«No matter» у Манина звучит как «К цели, чего бы это ни стоило!». Хотя таких слов нет у Жаботинского, но зато звучит так по-фашистски!

Следующая «историческая коррекция» Манина касается якобы имевшего места сотрудничества ревизионистов с нацистами. Это обвинение звучит тем более абсурдно, что главным яблоком раздора между социалистами и ревизионистами в Палестине стал вопрос о так называемом «трансфере», то есть программе вывоза в Палестину немецких евреев, о которой договорился в 1933 г. в Берлине политический секретарь Еврейского агентства (Сохнута) член социалистического движения Хаим Арлозоров. Суть соглашения о «трансфере» состояла в следующем: немецкие евреи смогут эмигрировать в Палестину, обменяв свое имущество на товары немецкого экспорта, которые будут проданы в Палестине за наличные.

Большинство из 50 тыс. немецких евреев прибыли в 1933—1939 гг. В Палестину в рамках именно этого соглашения, которое по сути дела грубо нарушало антинацистский бойкот.

**Вопрос о соглашении с нацистами был вынесен на XVIII сионистский конгресс, состоявшийся в 1933 году в Праге. Там Жаботинский предложил резолюцию, призывающую к международному бойкоту Германии, но эта резолюция была отвергнута большинством. Ревизионистский «Народный фронт» отреагировал на соглашение с нацистами так:**

**«В то время, как народ Израиля ведет войну чести против Германии... представитель Еврейского агентства предлагает не только отмену бойкота (Германии — Е.М.), но и обещает импортировать немецкие товары... Это следует рассматривать как нож в спину еврейского народа»\*.**

\* Edwin Black, «Chain Arlosoroffs Murder», Jewibh News, June 19, 1986

Следом за этим Хаим Арлозоров был убит на пустынной тель-авивской набережной. В убийстве обвинили трех ревизионистов, и одного из них, Авраама Ставского, приговорили к смертной казни. Ревизионисты вели беспощадную борьбу против контактов с немцами, и ее накал достигал такой силы, что люди реально поверили в возможность убийства ревизионистами еврейского лидера, обвиненного в сотрудничестве с нацистами.

Этим фактам Манин противопоставляет фантастическую историю о том, как «с целью «взаимной координации» иммиграционной политики Рейха и партии Жаботинского в Берлин был отправлен один из командиров Иргуна Фейвель Полькес, где он встретился ... с Адольфом Эйхманом». Продолжение этой истории напоминает типичный советский детектив в стиле антиссионистской агитки 60-х годов: Эйхман едет в Палестину, где «командир Иргуна» Полькес докладывает обстановку своему «партнеру по иммиграционной политике».

На самом же деле Эйхман, действительно, направился в Палестину, но по прибытии в Хайфу был немедленно арестован британскими властями и выслан в Каир. Сохранившийся протокол допроса Эйхмана в полиции вскрывает любопытный факт: Полькес был платным немецким агентом, засланным в ряды социалистической «Хаганы»! Этот тип, как пишет Том Сегев, не только никогда не был командиром Иргуна, но выступал ярим противником Жаботинского. События тех лет Манин пытается свести к упрощенной схеме «фашист Жаботинский сотрудничал с фашистом Эйхманом». Однако ни Жаботинский, ни его сторонники в Иргуне не сотрудничали с нацистами. Контакты с нацистами осуществляло социалистическое руководство еврейского населения Палестины.

Заслуживает особого внимания одна характерная фраза Манина, начинающаяся с его излюбленного «как известно». В ней утверждается, что «нацистские партнеры приложили все силы, чтобы не обескуражить своих сионистских контрагентов». Что это: издевательство над памятью шести миллионов жертв Катастрофы или Евгений Манин просто использует словарный запас, взятый из советской пропаганды?

Утверждение о сотрудничестве ревизионистов с наци-

стами еще можно как-то объяснить тем, что Манин плохо знаком с современной историей Палестины. Однако его рассказ о затоплении «Патрии» представляет собой просто недобросовестное изложение фактов.

Манин пишет, что «...Иргун, в «порядке протеста», решил провести одну из самых своих удивительных и самых жестоких операций: на борт «Патрии» предусматривалась тайная доставка мощного динамитного заряда, который следовало взорвать и потом свалить вину за это на англичан...»

В этой фразе все не соответствует действительности. Операцию по затоплению «Патрии» задумал провести вовсе не Иргун, а социалистическая Хагана, о чем можно прочитать почти у всех цитированных выше авторов. Гибель пассажиров была вызвана тем, что исполнители акции просто не рассчитали силу взрыва и прочность корабля. Операция эта планировалась не в «знак протеста», а чтобы предотвратить высылку нелегальных иммигрантов. И никто не собирался заложить «мощный заряд» и обвинить впоследствии англичан. Николас Бетелл приводит признание одного из высших командиров Хаганы Исраэля Галили: «Никто не думал, что затопление закончится так. Произошла либо ошибка в расчетах количества взрывчатки, либо стальные плиты вблизи места закладки динамита частично проржавели... Ошибку совершили профессионалы»\*.

Можно допустить, что Манин не знаком с трудами других исследователей, но ведь книгу Боуiera Белла он читал. А этот автор прямо пишет: «Меир Мардор из Хаганы пронес взрывчатку на корабль, но никто не рассчитал, насколько уязвимой окажется «Патрия». Похоже Е. Манин просто искажил этот эпизод, чтобы подогнать его под свою концепцию.

Предвзятость суждения, неприязнь не только к Израилю, но и вообще к еврейству отличают статью Евгения Манина. Читая ее, невольно задумываешься о психологических аспектах подобного самоненавистничества, побуждающего автора выискивать все, что порочит евреев, и полностью игнорировать историческую правду, которая не оставляет камня на камне от его взглядов.

---

\* Betell, p.93



*Борис НОСИК*

## РУССКИЕ ТАЙНЫ ПАРИЖА

### Великий мистификатор Рома Кацев

Это грандиозное здание с раззолоченным куполом Ардуэн-Мансара, самым великолепным из немногочисленных барочных куполов Парижа, известно и за пределами Франции. Царь Петр Первый не преминул посетить его в 1712 году, да и вообще знаменитый этот Дом Инвалидов, построенный поначалу для солдат, пострадавших на королевской службе, а ныне вместивший музеи с реликвиями военной славы и гробницей Наполеона, множеством нитей связан не только с французской, но и с российской историей.

Дом инвалидов хранит и реликвии последней войны, а на мраморной доске при входе в музей — Ордена Освобождения. Немало здесь русских, армянских, еврейских имен, которые один из последних живых кавалеров этого деголлевского Ордена, русский аристократ Николай Васильевич Вырубов выделил в особый «русский список».

Человек, о котором я часто думаю, когда доводится мне проходить близ Дома Инвалидов, тоже помянут на мраморной доске Кавалеров и в «русском списке» Вырубова. Однако вспоминаются чаще не буквы на мраморной доске со знаменитым, им самим придуманным именем — Ромэн Гари, а скандальный и трогательный, тоже им же придуманный эпизод торжественных его похорон в этом вот самом прославленном месте. Рассказала мне о нем участница этого события, соседка по хутору в Шампани, польская певица Анна Прунцаль (по-здешнему Прунцаль), и я непременно вернусь к странной этой сцене, дойдя в свой черед до похорон героя-мистификатора. А пока в двух словах о его жизни.

Родился он в недобрый час, в год, когда началась страшная война, перевернувшая мир, унесшая миллионы жизней и определившая облик века — Первая мировая война. В Европе ее вспоминают чаще, чем в России, где после Первой «империалистической» видели кое-что и пострашней.

Родился мальчик Рома в Москве 8 мая 1914 года, и если об отце его рассказывать особенно нечего, то о матери скажем непременно.

В счастливой дореволюционной Москве среди множества девочек и мальчиков, искавших славы на театральных подмостках, в ту самую пору бродил по городу в поисках признания и кокаина юный киевлянин Александр Вертинский. Можно было встретить в этом круге и юную актрису Ниночку Борисовскую. Настоящая фамилия у нее была, конечно, другая — Овчинская. Родом она была из Курска, семья ее занималась торговлей и промыслами, отец (если верить упоминанию в одном из романов ее сына) был, кажется, часовщик, а сама она шестнадцати лет сбежала из дому и ринулась в Москву на поиски театральной славы. К началу войны успела хлебнуть горя, исколесить всю Россию и даже побывала разок за границей, в самом что ни на есть Париже. Она даже сыграла как-то роль на французском языке в пьесе Лопе де Веги, а в общем-то, подвизалась, как правило, в небольших ролях на сцене московских театров.

Мальчик, рожденный ею, был официально сыном ее второго мужа, о котором известно лишь, что его звали Лейба Кацев. Однако сын этого таинственного Кацева отца своего никогда не видел. Последнее оставляло неимоверный простор для его воображения, которым, надо сказать, он был наделен в избытке. Чьим он был сыном на самом деле, сказать не берусь.

Знаменитый октябрьский переворот 1917 года погнал мать-одиночку с трехлетним сыном на Запад: сперва в польско-литовскую Вильну, где протекали нежные годы нашего героя. Еще через пять лет — в Варшаву, а потом еще дальше на Запад — в лучезарную Ниццу, где обосновался к тому времени Нинин старший брат. Была тут вторая по величине во Франции русская эмигрантская колония. В Ницце маленький Ромка Кацев подрастал и бегал в школу, в вестибюле которой и нынче можно прочесть на доске отличников 1929 года — «Роман Кацев из Вилюса».

Почему и в школе и еще через пять лет при получении французского гражданства он назвал Вильнюс вместо Москвы местом своего рождения, об этом нам спросить уже не у кого.

В школе он отличался разве что на уроках французского и философии. Зато дома, в тесной комнатке отеля, где нашла приют и работу мать, всю жизнь посвятившая своему Ромушке, он все что-то писал и писал.

С матерью они говорили по-русски, а также по-польски. А еще она пела ему песенки той золотой московской поры, когда она лелеяла мечту о сценической карьере. И среди них песенку вдруг прогремевшего перед самой войной грустного Пьеро Саши Вертинского, песенку про лилового негра: «А может, и теперь в притонах Сан-Франциско лиловый негр вам подает мантию...» Притоны Сан-Франциско — это что-то особенное и романтическое, это вам не паскудная трудовая Ницца, в притонах которой вкалывают свои, русские эмигранты, под утро уже лиловые от усталости.

У него, у мальчика Ромы, были странные развлечения. Он любил придумывать имена: исписывал целые страни-

цы звучными именами и постоянно примерял их к себе. Ведь не Кацев же он на самом деле! Да и кто такой Кацев? На тумбочке у Ромы (как впрочем, у многих русских девочек и мальчиков той поры) стояла фотография тогдашнего кумира мирового кинематографа Ивана Мозжухина. Бросалось в глаза их удивительное сходство — те же татарские скулы, тот же разрез и пронзительный взгляд светлых глаз...

Роман смутно помнил, что кто-то неведомый присылал ему в детстве роскошные подарки (не Кацев же!), что мать без конца водила его на фильмы с Мозжухиным. Рассказывал всем и вовсе уж неправдоподобную историю о том, как однажды Мозжухин приезжал к ним в Вильнюс на роскошной машине. Он был уже тогда великий мифотворец, вот и придумал себе, вместо неведомого Кацева, самого блистательного из отцов.

По окончании лицея он отправился в веселый студенческий Экс-ан-Прованс и стал учиться на факультете права. Пробыл там недолго и за это время сочинил мрачный роман, который отослал в Париж. Роман не был напечатан. Если верить автору, он удостоился подробного отзыва, написанного известным психоаналитиком, подругой Зигмунда Фрейда принцессой Марией Бонапарт.

Вскоре Рома сбежал из Экса в Париж и поселился на площади Контрэскарп в отельчике, где жили его школьные друзья из Ниццы — Саша Кардо-Сысоев родом из России, Эдик Гликсман из Польши и чистый француз Робер Ажи. Они вели веселую студенческую жизнь. Довольно часто их навещали длинноногие подружки-шведки. Были праздники и были любовные драмы. А Рома все писал и писал. Он отсылал в журналы свои рассказы и романы, ждал ответа и бегал на заработки: был гарсоном во французской лавке, мальчиком в русском кабаке Шахерезада.

Нина работала в Ницце, не щадя себя, и выкраивала 250 франков в месяц, чтобы послать своему мальчику. И вот случилось чудо — к сыну пришла слава.

Знаменитый «Грэнгуар», где сотрудничали самые зна-

менитые писатели Франции, напечатал рассказ двадцатилетнего провинциала, присланный по почте. Это везде могло бы считаться чудом, но во Франции — трижды чудом. Мать бегала по Ницце и скупала номер за номером «Грэнгуара».

Потом Роман ушел на военные сборы, стал учиться на летчика. До офицерского чина, однако, дослужился не скоро. Затем грянула война... Сперва «странная война» «смешная война», дрозь де гер, в которой Франция потерпела поражение, почти не воевав.

Пока летное подразделение Романа добиралось в Мекнес, французы уже ушли оттуда. Молодой летчик услышал по радио из Лондона призыв Де Голля к сопротивлению и решил всеми правдами-неправдами продираиться в Лондон. Он добрался туда и уже в августе 1940 года был зачислен в военно-воздушные силы Свободной Франции. Там он придумал себе военное имя — Ромэн Гари де Кацев. Он был полон решимости прославить это имя. Конечно, прежде всего в литературе, но для начала — на поле боя. Он летал штурманом на военном самолете — в Абиссинии, в Ливии, в Ираке, в Марокко, в Палестине.

В Дамаске полгода провалялся в госпитале, на грани жизни и смерти. В ноябре 1943 был тяжело ранен в воздушном бою. Пряжка парашюта спасла его от худшего. «Я ослеп. Я не вижу!» — крикнул ему в микрофон пилот. Роман стал давать ему команды, и они все же сумели вернуться на английскую базу, выполнив задание.

В январе 1944 года, после выхода из госпиталя, Роман получил телеграмму за подписью Де Голля, извещавшую о том, что он награжден Орденом Освобождения, высшим деголлевским орденом.

Де Голль не был вправе награждать Орденом Почетного Легиона, так как не был президентом Франции. Он награждал этим орденом Романа, когда смог, в 1945.

Между двумя этими наградами к нему успела прийти громкая писательская слава. Он написал в Англии роман о войне, который там же и был напечатан, а потом переведен на многие языки мира. Это был роман о войне

в каких-то лесах, похожих на польские и литовские леса его детства. Книга была награждена главной премией французской критики и имела огромный успех. Имя Романа Гари было у всех на устах.

Почему Гари? Имя это связывают обычно с тогдашней модой на все американское. Но кто знает, может в нем были отзвуки материнского пения в тесной комнатке в Ницце: «Гори, гори, моя звезда...» В Англии «Гари» познакомился с Лесли Бланш. Она была известной журналисткой, писательницей, переводчицей и притом отчаянной русофилкой. Она уговаривала его вернуться к русскому имени — Кацев.

После войны, преодолевая недоброжелательство министра иностранных дел Кув де Мюрвиля, Де Голль назначил его послом в Болгарию, потом французским консулом в Лос-Анджелесе. К тому времени наш герой так усовершенствовал свой английский, что роман «Леди Д.» (который особенно понравился Де Голлю) он написал по-английски.

В Голливуде он был очень популярен, знали его буквально все, по его романам снимали фильмы. На одном из приемов у себя, во французском консульстве, он познакомился с маленькой актрисой, похожей на девочку. Она была красива и уже очень знаменита. В свои 21 она снялась в роли Жанны д'Арк у Отто Премингера и в знаменитом фильме Годара «На последнем дыхании». Ее звали Джин Себерг. Это была любовь с первого взгляда.

Он развелся с Лесли, женился на Джин, перебрался в Париж, написал еще один роман. Еще и еще. Он стал знаменитым писателем, лауреатом Гонкуровской премии. Но подошли старость, усталость, захотелось все начать сначала. И тогда во Франции появился вдруг новый писатель — Эмиль Ажар (может, тут тоже были отзвуки русского «жара», как знать?). Критика всполошилась — писатель был хороший, даже лучше, чем знаменитый Гари, но кто он? Уже первый роман Ажара пытались выдвинуть в 1974 году на престижную премию, но Ажар отказался. Следующий его роман «Вся жизнь впереди» получил высшую литературную премию

Франции — Гонкуровскую, которую присуждают лишь раз в жизни. Критики сбились с ног в поисках таинственного Ажара. Сам Гари искусно наводит критиков на след: Ажар — это его племянник, молодой шалопаи Поль Павлович. Поль входит в роль и все больше гордится своим успехом: он переплюнул дядю! Мистификация затягивала дядю и племянника все глубже в сети игры. Гари пишет новый роман от имени племянника. Потом он пишет роман «Псевдо», в котором еще более усложняет интригу.

Но маленькая Джин больше не живет с Гари. Осенью 1979 года ее находят мертвой в машине. Говорят о самоубийстве, но тайна этой смерти до сих пор не раскрыта. Той же осенью выходит последний прижизненный роман Ажара — о любви, об одряхлении, о бессилии (навязчивые темы стареющего Гари!).

Соседка по хутору в Шампани, где я живу большую часть года, польская певица Анна Пруцналь рассказала мне удивительную историю. Вот и мы дошли до нее. После одного из ее концертов, где она пела как всегда вперемежку французские и польские песни, напыщенные тексты своего мужа-сталиниста, после песен Вертинского за кулисы к ней пришел знаменитый писатель Ромэн Гари. Он принес цветы и сказал, что придет еще раз послушать ее, потому что она пела русскую песню, которую ему пела мать: песню про лилового негра и притоны Сан-Франциско. Он ходил на все концерты и приносил ей цветы...

А потом на уединенном лесном хуторе, в доме Анны раздался звонок. Какой-то молодой человек, кажется, это и был племянник писателя, звонил из Парижа. Он сказал, что у Ромэна Гари была к ней просьба. Да, месье Гари покончил с собой, об этом было в газетах, и он просил искать разгадку его смерти в названии его романа «Ночь будет тихой». Так вот, панихида будет проходить в Доме инвалидов, как у всех кавалеров Ордена Освобождения. И вот он просил перед смертью, чтобы на его похоронах Анна спела над ним эту песенку, ну, вы знаете — про «лилового негра».

Его хоронили как героя Сопrotивления, как кавалера высших орденов. Били барабаны в Доме инвалидов, гроб, покрытый трехцветным знаменем, несли одиннадцать летчиков, а сзади на подушке несли все его награды. Хор пел «Марсельезу» и «Колокол звонит по мертвым». А потом произошло странное. Произошло непонятное. В чинный ритуал военных похорон ворвался вдруг странный, каркающий голос польской певицы. Зазвучала незнакомая французам, но памятная русским мелодия «Лилового негра» Вертинского. Той самой песенки, что так часто пела Нина в крошечной комнатке в Ницце: «В пролете улиц вас умчал авто...»

Среди торжественных гимнов и молитв, среди знамен, изорванных в сраженьях и опаленных порохом, рыдала песенка эмигрантской тоски и любовного томленья. Русская песенка над гробом эмигрантского сына, тщетно когда-то пытавшегося забыть страну и город, где он родился.

### Тайная любовь Набокова

Уже в молодые годы Набоков думал о том, как бы насолить будущим биографам, запутать следы, бросая им «нить лже-Ариадны». А уж в последние двадцать лет жизни, после того, как «Лолита» стала бестселлером, а сам он сделался знаменит и богат, у него и вовсе появилась возможность сбивать со следу любопытствующих журналистов и биографов, сочинять для них байки про легкомысленные увлечения своей юности. Увлечений на самом деле у него было не так уж много, а никаких недозволенных историй с нимфетками (на мысль о которых могла навести и знаменитая «Лолита») у него, как я убежден, вообще не было. Он прожил больше полвека в благополучном браке с волевой, работающей, преданной и интеллигентной (из петербургских евреев) женой Верой Евсеевной Слоним. Прожил в идеальных для художественного творчества условиях воздержания и, как любят говорить французы, «фантазмов».

Однако, один внебрачный роман, или, грубее говоря,

адюльтер (обратите внимание, как грубеют все эти заграничные, по большей части французские, эвфемизмы) у нашего любимого писателя все же был.

Это случилось с ним в Париже. Набоков был так осторожен, что даже в узком эмигрантском кругу Парижа, где, казалось, все знали всех и все обо всех, о его романе известно было совсем немногим.

Для доказательства достаточно обратиться к мемуарам Василия Яновского, который никому, кроме себя, ни одному самому чистому современнику в воспоминаньях своих не простил оплошности, «поползновения» или проступка. Так вот, этот Яновский (которого Набоков в письме Эдмунду Уилсону предусмотрительно представляет как «мужлана») о Набокове пишет так: «Жене своей он, вероятно, ни разу не изменил... знал только одно свое мастерство...»

Конечно же, биографы Набокова\*, которых скрытность их героя только вдохновляла на новые поиски, это робкое предположение Яновского опровергли. Была, говорят они, была у Набокова тайная любовь в Париже во второй половине 30-х годов. И те люди, которым о ней лучше было бы не знать (и жена Вера, и ее родня, и добрейший покровитель Набокова Фондаминский), о ней, увы, знали.

Если же и я намерен об этой любви здесь снова рассказать, то вовсе не для того, чтобы попрекнуть любимого писателя супружеской неверностью, повторяя зады чужих биографических книг (а заодно и своей собственной), а оттого лишь, что пришли мне в голову некоторые новые догадки, которыми я еще ни с кем не делился. Причем, догадки эти касаются в первую очередь творчества писателя, а не его, в общем-то бесславного парижского романа.

Итак, перенесемся для начала в берлинскую весну 1936 года. В апреле этого года только что вернувшийся после своей триумфальной поездки в Париж самый знаменитый из молодых писателей русской эмиграции Вла-

\* Борис Носик. Мир и дар Владимира Набокова. Первая русская биография писателя. Издательство «Пенаты», Москва, 1995, 550 стр.

димир Сирин-Набоков вдруг отложил в сторону очередную главу своего романа «Дар», так счастливо увенчавшего чуть поздней его русское творчество, и засел за весенний рассказик, который стал одним из лучших, а может, и вообще лучшим его рассказом. Он называется «Весна в Фиальте». Кто же из поклонников Набокова не помнит поразительный, весенний зачин этого дивного рассказа:

**«Весна в Фиальте облачна и скучна. Все мокро; пегие стволы платанов, можжевельник, ограды, гравий. Далеко в бледном просвете, в неровной раме синеватых домов, с трудом поднявшихся с колен и ощупью ищущих опоры (кладбищенский кипарис тянется за ними)...»**

Всякому русскому старшего поколения недаром поместится тут нечто знакомое, ибо за курортами французской Ривьеры и итальянской Лигурии маячит в этом рассказе наша собственная, не забытая, незабываемая Ялта. Да Набоков и сам это признает:

**«Я этот городок люблю: потому ли, что во впадине его названия мне слышится сахаристо-сырой запах мелкого, темного, самого мятого из цветов, и не в тон, хотя внятное, звучание Ялты...»**

В этой-то сахаристо-сырой весенней Фиальте герой рассказа и встречает очаровательную, странную, ветреную Нину, с которой судьба сводит его то там, то здесь, уже на протяжении пятнадцати лет — на день, на час, на миг. Вот и теперь судьба послала им несколько часов в Фиальте — то наедине, то в компании ее мужа, знаменитого писателя-венгра, пишущего по-французски. Несколько часов, и вот уже мучительное прощание, где-то на горе над Фиальтой, в верхней части старого города:

**«... и я сказал, наше дешевое официальное ты заменяя тем одухотворенным, выразительным вы, к которому кругосветный пловец возвращается обогащенный кругом: «А что если я вас люблю?»»** Нина взглянула, я повторил, я хотел добавить... но что-то, как летучая мышь, мелькнуло по ее лицу, быстрое, странное, почти некрасивое выражение, и она, которая запросто, как в раю, произносила непристойные словечки, смутилась; мне тоже стало неловко... **«Я пошутил, пошутил», — поспешил я воскликнуть, слегка обнимая ее под правую грудь. Откуда-то появился**

у нее в руках плотный букет темных, мелких, бескорыстно пахучих фиалок, и, прежде чем вернуться к гостинице, мы еще постояли у парапета, и все было по-прежнему безнадежно. Но камень был, как тело, теплый, и внезапно я понял то, чего, видя, не понимал дотоле, почему давеча так сверкала серебряная бумажка, почему дрожал отсвет стакана, почему мерцало море: белое небо над Фиальтой незаметно налилось солнцем, и теперь оно было солнечное сплошь, и это белое сияние ширилось, ширилось, все растворялось в нем, все исчезло, и я уже стоял на вокзале, в Милане, с газетой, из которой узнал, что желтый автомобиль, виденный мной под платанами, потерпел за Фиальтой крушение... причем Фердинанд и его приятель, неуловимые пройдохи, саламандры судеб, василиски счастья, отделались местным и временным повреждением чешуи, тогда как Нина, несмотря на свое давнее, преданное подражание им, оказалась все-таки смертной».

Вот такой рассказ. И дата под ним в сборнике того же названия — «Париж. 1938». Хотя можно без труда убедиться, что уже в 1936-ом рассказ был напечатан в Париже в «Современных записках», да и написан был в Берлине. Отчего же это осторожное смещение времени и места? И отчего вдруг такой пронзительной горечи, безнадежности, страсти рассказ? О ком он и о чем? У всезнающих биографов не находим ответа. Иным из парижан, прочитавшим рассказ еще тогда, в тридцатые, показалось, что здесь отражены семейные неладья кузена писателя, композитора Ники Набокова и его жены Наташи Набоковой-Шаховской, так что писатель даже счел уместным тогда письменно объясняться на эту тему с сестрой Наташи Зинаидой Шаховской, своей приятельницей: «Я встревожен дурацкой сплетней, которая дошла до меня, будто я в «Весне в Фиальте» вывел Нику и Наташу. По существу это, разумеется, совершенно нелепо (вы-то хорошо знаете, что я чистойшей воды выдумщик и никого не сую в свои вещи)...»

Поскольку у «чистойшей воды выдумщика» Набокова обычно так близко к поверхности его вещей лежат жизненные его впечатления (и в «Подвиге», и в «Машеньке», и в «Даре»), я и тут задумался, откуда этот тревожный настрой рассказа, это смятение автора, эта его явная влюбленность. Одним из ключей к разгадке показалась

мне крошечная деталь из биографии героини рассказа: у нее был жених, красавец-офицер, который «успешно работает инженером в какой-то очень далекой тропической стране, куда за ним она не последовала».

Мне вспомнилось, что именно так рассказывали о замужестве и судьбе молодой парижанки Ирины Кокошиной-Гваданини. Были в рассказе Набокова и другие детали, не менее важные. Скажем, милый «лающий голосок» героини в телефонной трубке. Страстная «собачница» Ирина зарабатывала на скучную эмигрантскую жизнь стрижкой собак. Может, во время ее телефонных разговоров с Набоковым в Париже слышался в трубке лай ее недостриженных «клиенток»? Совпадали портрет героини рассказа и Ирины, их манера снимать перчатку с тонкой руки, держать в пальцах длинный бирюзовый мундштук. И «невнятное, хотя в тон» созвучье имен: Нина — Ирина...

Мать Ирины, В. Кокошкина, зная, что дочь ее заинтересовалась Набоковым, подошла к нему после его парижского выступления (6 февраля 1936 года) и, наговорив ему множество комплиментов, пригласила его в гости, на чай. Набоков принял приглашение, но что было дальше, нам не у кого спросить. Разве что доверимся самому весеннему рассказу, дающему представление о тогдашнем смятении писателя:

**«... с каждой новой встречей мне делалось тревожнее... моя супружеская жизнь оставалась неприкосновенной... Мне было тревожно, оттого, что... я все-таки был вынужден... выбирать между миром, где я как на картине сидел с женой, дочками, доберман-пинчером (полевые венки, перстень и тонкая трость) между этим вот счастливым, умным, добрым миром... и чем? Неужели была какая-либо возможность жизни моей с Ниной, жизни едва воображимой, напоенной наперед страстной, нестерпимой печалью, жизни, каждое мгновение которой прислушивалось бы, дрожа, к тишине прошлого? Глупости, глупости!.. Глупости. Так что же мне было делать, Нина, с тобой...»**

Этот разлад, эти муки нерешительности становятся участью Набокова на годы. Пока, в первом рассказе, он прибегает к испытанному средству писательской магии, к типичному писательскому экзорсизму: он придает ма-

лознакомой Ирине-Нине черты, делающие союз с ней совершенно невозможным. Ее ненадежность, неверность, лживость («ложь и бред» Нининой жизни) — эти ее признаки, реальные или кажущиеся, переходят из одной Набоковской книги в другую, до самой смерти писателя. Но пока, в конце рассказа, он с грустью и облегчением убивает героиню... Акт экзорсизма завершен, рассказ написан, но испытанное средство не помогло. Освобождение не пришло, наваждение неотвязно, и Набокову еще не раз позднее придется объясняться об этом с самим собой.

А пока судьба осложнила ситуацию, принесла новые искушения и муки. В мае 1936 года нацисты назначили главой департамента по делам русских эмигрантов в Берлине (где жили в изгнании со своим маленьким сыном Владимир и Вера Набоковы) черносотенца генерала Бискупского, который взял себе в заместители только что вышедшего из тюрьмы Таборицкого, убийцу отца писателя В.Д. Набокова. Вера озабоченно сказала мужу, что ему надо срочно бежать из Берлина, и он уехал в Париж, оставив в Германии жену-еврейку и сына. Так он снова оказался в Париже и снова встретился с Ириной. Сближение их шло быстро. У них было много общего. Братом отчима Ирины был тот самый кадетский лидер Кокошкин, что был заколот матросами на больничной койке во время Октябрьского переворота. Сын видного кадета писатель Набоков еще в юности посвятил ему стихи. Стихи их сближали тоже. Ирина писала стихи, а главное знала его собственные стихи наизусть. Разве может против такого устоять сердце автора? (Сердце Набокова один раз уже не устояло),...

Между тем, до Веры дошли через кого-то слухи об увлечении мужа. Набоков в письмах упорно все отрицал. Позднее супруги вместе поехали в Чехословакию, оттуда во Францию и поселились временно на Лазурном Берегу Франции. Жили то в Каннах, то в Ментоне...

Набоков продолжал переписываться с Ириной. Узнав об этом, Вера после объяснения в Каннах предложила ему сделать окончательный выбор и немедленно уехать

в Париж. Вера была человеком решительным, но муж ее ни на что не мог решиться. Она же была идеальная жена. Любила его, верила в его талант, поддерживала его все эти годы, была главной добытчицей в семье, ходила на работу. Вдобавок была его секретаршей и машинисткой, матерью его сына, вообще, она «была создана ему по мерке». Но с Ириной он, похоже, познал радость физической близости, может, и впервые.

Парижская любовь внесла смятение в их жизнь, которая становится адом. Вера не разговаривает с Набоковым, она страдает. Он проводит иногда целые дни в горах. Ирина грозитя приехать на Юг и увезти его с собой.

Она осуществила эту угрозу и вдруг появилась на пляже в Каннах в начале сентября. Набоков пришел, как обычно, с сыном искупаться до завтрака и увидел ее. Он был растерян, испуган, просил, чтоб она немедленно уехала. Она села неподалеку, стала наблюдать за ними. Пришла Вера и увела семью на завтрак. Больше Набоков не видел Ирину никогда.

Чувство вины перед Верой окрасило нестерпимой нежностью к ней последние главы романа «Дар», где описана история их знакомства и любви. Набоков считал, что он поступил правильно, не уйдя из семьи. Что он поступил нравственно. Что он поступил разумно, потому что погиб бы, уйдя к Ирине. Что он погубил бы свою литературную карьеру, свое призвание, свой дар. Он писал об этом не раз, снова и снова доказывая это себе самому.

В конце романа «Дар», дописанного еще на Лазурном Берегу, услышав отповедь Татьяны, Пушкинский Онегин поднимается с колен, но что дальше? «С колен поднимется Евгений, — но удаляется поэт... и для ума внимательного нет границы...»

К этой же теме (как заметил новозеландский набоковед Б.Бойд) Набоков вернулся и еще через двадцать лет в научном комментарии к «Онегину»: Татьяна зрелое, нравственное существо поступила правильно, не уйдя от мужа (впрочем, в отличие от Набокова, она не потребовала назад свои любовные письма).

«Парижская тайна» Набокова преследовала долгие годы, и он к ней возвращался не один раз. Такие переживания, как страх, сомнение, ревность, на мой взгляд, благотворны для творчества, оттого и решился я снова затронуть эту тайну...

Тогда же, на Лазурном Берегу, снова отложив роман «Дар», Набоков пишет пьесу «Событие». Одна из главных ее тем — страх, не новая впрочем тема у Набокова. Это заметили многие (говорили даже, что ее «герой — страх»). Герой пьесы Трощейкин боится мести соперника, он в смятении. Страхи героя оказались напрасными.

Существует множество трактовок этой сложной пьесы. На мой взгляд, здесь нашло отражение то самое событие, которое произошло в сентябре на пляже в Каннах: неожиданный приезд Ирины, страх и смущение, пережитые писателем (человеком по природе нерешительным и робким, как многие люди с обостренным воображением), опасение, что Ирина предпримет какие-либо новые шаги, которые разрушат его семейную жизнь.

Уехав с Лазурного Берега, Набоковы поселились в Париже. Друзья сняли для них квартиру в дорогом современном доме на Сайгонской улице, близ Триумфальной Арки: одну большую комнату с кухней и ванной.

На кухне Набоковы принимали друзей, пришедших в гости.

Когда четырехлетний Митя засыпал и в единственной комнате гас свет, под дверью ванной далеко за полночь светилась полоска: установив чемодан на биде, Набоков писал новый, очень сложный роман, полный тайн и зашифрованных кодов. Писал его по-английски, хотя не был слишком уверен еще в своем английском.

Критики-набоковеды много раз объясняли причины неожиданного перехода на чужой язык писателя, создавшего к тому времени свой собственный, оригинальный, блистательный русский стиль.

Одни писали, что Набоков зашел в тупик, что он переживал кризис. Другие — что русских читателей становилось все меньше и журналов в эмиграции также становилось

лось меньше — надо было срочно переходить на английский.

Объяснения кажутся мало убедительными.

«Современные записки», самый популярный журнал эмиграции, выходил до самого начала войны и до последнего своего номера щедро печатал Набокова. А английский читатель? Да где он? Если бы не скандал с «Лолитой», сколько читателей было бы у Набокова?

Кто читал в Америке его «Левый уклон» или «Истинную жизнь Себастьяна Найта»? Думается, главной причиной, которая побудила Набокова писать по-английски, была потребность вернуться к своей «парижской тайне», к истории с Ириной, снова доказывать себе, что он сделал правильный выбор, что он погиб бы (и физически, и нравственно, и творчески), уйдя к Ирине. Именно об этом был его новый, но в общем-то понятный, хоть и зашифрованный, роман. Мысль о том, что парижские друзья (и враги, их было тоже много), многочисленные его поклонники-эмигранты поймут, о чем речь, что пойдут толки, пересуды, — мысль эта была для него непереносимой.

Английский же роман никто и не стал читать, разве, что Люси Леон (с которой он редактировал свой английский). Расчет был правильным. Мысль о читателе-соглядатае, о ненавистном следователе-биографе все время присутствует. Недаром же с первых страниц романа Набоков обрушивается на биографов, воображающих, что способны разгадать жизнь писателя, на этих негодяев и пошляков, которые покушаются на скрытые от глаз толпы личные тайны творца.

В сущности, роман этот (как тогдашний набоковский доклад о Пушкине) отрицает самую возможность понять чужую жизнь. И все же, как нетрудно заметить, герою этого первого английского романа Набокова (он называется «Истинная жизнь Себастьяна Найта») удастся выяснить кое-что о гибели его брата-писателя, чьи произведения, данные в пересказе, так похожи на романы В. Набокова.

У старшего брата, у писателя Себастьяна Найта, была идеальная возлюбленная Клэр, которая и даром вообра-

жения, и многими другими чертами напоминала и Зину Мерц из романа «Дар», и общий их прообраз Веру Набокову-Слоним: «Клэр научилась печатать на машинке и множество летних вечеров двадцать четвертого обратились для нее в белые листы, заползавшие в каретку, чтобы выкатиться наружу сплошь в черных и лиловых буквах...»

Добавлю, что позднее, в Америке, она (Вера, а не Клэр, конечно) научилась еще и водить машину (Набоков, не проявлявший ни умения, ни желаний «овладеть техникой», уже и о старомодной пишущей машинке рассказывает не без удивления).

Себастьян Найт живет в гармонии с прелестной Клэр, которая хотя не сочинила ни одной поэтической или прозаической строчки\*, но тонко чувствовала язык и даже делала замечания автору. В общем, «им было очень хорошо друг с другом».

Пользуясь иноязычностью своего романа, Набоков даже позволяет себе коснуться самых интимных сторон своих отношений с Клэр (Верой?), в пору написания романа особенно его волновавших.

Как можно было догадаться из прочих сочинений Найта (и Набокова), оба не желали «отводить «сексу» почетное место... или, того хуже, раздувать «половой вопрос». «Накатывающая на берег волна — это еще не все море под луной, прячущее дракона в своей пучине, хотя вода — это и лужица в выемке скалы, и голубая дорога в Поднебесную, вся в алмазной ряби».

Дальше автор романа (говоря от лица Себастьянова брата) позволяет себе вовсе уж неосторожную фразу:

**«Если бы я даже узнал из какого-то надежного источника, что Клэр как любовница не совсем устраивала Себастьяна, мне все равно не пришло бы в голову этим объяснять его общее лихорадочно-нервное состояние. Не удовлетворенный всем на свете, он мог быть не удовлетворен какими-то оттенками своей любви...»**

Герой романа Себастьян Найт уезжает без Клэр на курорт и там влюбляется в роковую женщину (ее снова

\* Она, точнее, Вера, стала позволять себе это еще через сорок с лишним лет, после смерти Набокова.

зовут Нина, снова эти «созвучные, хотя и в не в тон» имена: Нина-Ирина). Эта роковая женщина и погубила Себастьяна. Погубила своей ненадежностью, непониманием писателя, пренебрежением его творчеством, переменчивостью, легкомыслием. Его работа, его дела, творчество — все пошло прахом. Что могло быть страшнее для писателя?

**«Чтобы понятно было дальнейшее, заметим, что его литературными делами ведала до этого исключительно Клэр, и стоило ей сойти со сцены, они сразу оказались в страшном беспорядке... Себастьян не умел печатать на машинке, и нервы его были не в том состоянии, чтобы начинать учиться...»**

Не надо преуменьшать катастрофы, которая грозила бы и Набокову, потеряй он верную свою помощницу. Тем более, что он уже привык полагаться на нее во всем. Такие подвижницы, такие надежные поклонницы и служительницы мужниного творчества, как Вера Набокова-Слоним, попадают не часто в истории литературы (позднее монологом на эту тему разразится в романе «Пнин» эмигрантский профессор, главный герой романа).

Ну а что же узнает о роковой соблазнительнице Нине Речной брат погибшего Себастьяна, идущий по ее следу. Не так много. Зато во всех описаниях маячит тот самый силуэт, который обозначился уже в знаменитом весеннем рассказе, а потом еще безжалостней прорисован в романе «Пнин» и других набоковских произведениях. Это, конечно, не реальная женщина, а набоковское представление о роковой Нине-Ирине, отражение набоковского страха перед ней, перед соблазном, перед ее вторжением в спокойное течение его жизни, отражение его бессилия, неспособности обрести уверенность, разрешить ситуацию, принять решение, наконец отражение его мучительной ревности.

Писатель, похоже, и сам не уверен, что Нина-Ирина изменяла ему, что у нее было много любовников и «беспорядочных связей», как ему порой казалось. Вот ведь и бывший муж Нины Речной Пал Палыч говорит о ней брату Себастьяна:

«Видите ли, мне не кажется, чтобы она прямо уж так меня обманывала, что называется, на всю катушку. По крайней мере, я старался так думать, ведь около нее всегда вертелось стадо мужчин, и она, конечно, была не прочь, чтобы ее поцеловали, но я бы с ума сошел, если бы позволил себе ломать над всем этим голову...»

Как и бывший муж Нины, Набоков не был убежден в том, что у парижанки Ирины Гваданини было так уж много поклонников и романов. Просто она вела жизнь молодой разведенной женщины, любила общение, компанию интеллигентов (то самое «стадо мужиков», о котором говорит Пал Палыч), она развлекалась по вечерам и отдыхала от дневной стрижки собак, а Набоков, скорее всего, не решался появляться с ней на людях. Он, вероятно не хотел, чтобы их видели вдвоем. Зато они бродили ночью вдвоем по укромным парижским переулкам, и об этом можно прочесть в «Пнине». К тому же, у него тоже бывали занятые вечера, а что она делала без него? Снова ему мерещилось «стадо мужиков»? Пропащие поэты «парижской школы» стояли по вечерам у стойки «Селекта», читали стихи, ссорились, интриговали... Удачнику и «счастливику» Набокову не нравился их образ жизни и сами эти люди. Многих из них он успел обидеть в задиристых рецензиях, их вожди (Адамович, Иванов, Гиппиус) обижали его. Всякий вечерний выход Ирины казался ему изменой, предательством. Возможно, это все обостряло его ревность. Он писал обо всем этом немало. («Мне, вы знаете, очень нравится про нее рассказывать», — признается простоватый Пал Палыч, нарисовавший, в общем-то, портрет «капризной ветреницы», «охочей до развлечений красотицы», какой подозрения Набокова делали иногда Ирину.)

Встреча героя романа с Ниной Речной: «Хрупкая маленькая дама с бледным лицом и мягкими черными волосами — думаю мне еще не случалось видеть столь ровной бледности»... «в руке она держала длинный черный мундштук»... «изысканно красивое лицо. Мягкий изгиб щеки и пропадающий взлет брови... На нижнем веке и налитых темных губах лежало по блику. Выраже-

ние лица показалось мне странной смесью мечтательности и коварства...», «очаровательный вид заговорщицы», ее поведение, речь, ее французский язык, ее круг чтения, все говорит о том, что Себастьян был увлечен не «бойкою девой» и банальной ветреницей, Более того, Нине, выдающей себя за француженку мадам Лесерф, почти удается убедить нас, что эгоцентрический писатель Себастьян вовсе не был такой уж находкой для молодой женщины: «Тут он понял, что жить без нее не может, а она поняла, что довольно наслушалась рассказов о его снах, снах во снах и снах во снах его снов...»

Набоков мог позволить себе такой беспощадный взгляд на себя со стороны в иноязычном романе. Тем более, что и правдивые наблюдения только подтверждали разумность его поступка и выбора: кто кроме Веры смог бы перенести его длинные и непонятные рассуждения «на счет формы пепельницы или про окраску времени», все про творчество, все для него, все одно и то же. Вера все примет как должное. Она понимает, что творчество — главное.

В первом английском романе Набоков дал себе волю, показав Ирину с разных сторон и предоставив ей слово. Простоватый экс-супруг Нины Пал Палыч делает признание, которое мог бы сделать и сам его рафинированный создатель:

«Понимаете, она ведь не из тех женщин, чтобы взять да и выкинуть из головы, когда она влезет вам в печенки...»

Само появление первого английского романа после весеннего рассказа и пьесы было подтверждением этого наблюдения. Но и новый акт экзорсизма не избавил Набокова от наваждения «парижской тайны». Узнавая время от времени о том, что его жизнерадостный кузен композитор Николай Набоков опять «усовершенствовал» свою семейную жизнь, Набоков всякий раз восклицал не без зависти: «Ника опять женился!»

Еще и через 20 лет он изгоняет память об Ирине в романе «Пнин». Морально нечистоплотную героиню-поэтессу в «Пнине» зовут Лиза, и лирический герой романа относится к ней свысока. Однако и здесь она представ-

ляет роковую опасность для мужчины, который отважится на ней жениться, как сделал Тимофей Пнин. Здесь многое присутствует из того, что было уже в первом английском романе. В том числе и таинственная белочка. Откуда она вообще пошла? Еще одна парижская тайна.

В пародийном описании Лизы в «Пнине» совсем мало остается от настоящей Ирины, от их встреч и прогулок, от все еще тревожащего по временам запретного парижского романа. А все же и в нем есть его неизгладимые отзвуки, его отблески, точно вспышки магния на ночной парижской улице:

**«Бедная Лиза! У нее бывали, конечно, свои поэтические мгновения, когда она вдруг останавливалась, зачарованная, в разгар майской ночи где-нибудь на убогой улочке, чтобы полюбоваться — о нет, восхититься пестрыми ключьями старой афиши на мокрой черной стене в свете уличной лампы или, скажем, прозрачную зеленью липовых листьев, свисающих у фонаря...»\***

Вскоре после «Пнина» «бедная девочка» Лолита принесла Набокову славу и богатство. Кто-то из друзей сказал ему тогда, что Ирина Гваданини очень больна и впала в нищету. Набоков выделил для нее какую-то сумму, очень, впрочем, небольшую. «Скуповат стал», говорил он теперь о себе, посмеиваясь...

## Маяковский и Брики

*Памяти Ю. Карабичевского*

Маленькая гостиница «Истрия» и нынче стоит на улице Премьер-Кампань, неподалеку от бульвара Распай и знаменитого перекрестка Монпарнаса. Только сегодня она украшена мемориальной доской, на которой теснятся фамилии покойных знаменитостей, некогда здесь живших. В 1925 году, с которого мы начнем рассказ, все эти люди еще не были так знамениты во Франции или в Америке, как нынче, — все эти художники, писатели, женщины, «близкие к искусству», бывшие жены художни-

\* В. Набоков Романы. Издательство «Художественная литература», Москва, 1991, стр. 312, пер. Б. Носика.

ков, все эти поэты-сюрреалисты — Дюшан, Деснос, Пикабиа, экс-мадам Леже, Мен Рей, Макс Эрнст, Хемингуэй...

Русский поэт, уже не первый год останавливавшийся в этой гостинице, был среди них исключением. Он уже тогда был у себя на родине настоящей знаменитостью. Рассказы о его популярности у молодежи, о его признанности и в массах и в верхах, о невероятных его привилегиях, о тиражах его книг зачаровывали парижских гениев, заставляли мечтать о стране, где престиж искусства, особенно нового искусства, так велик.

С другой стороны, в этом не было ничего удивительного: революция победила в России, освободила народ, освободила искусство, всем, кроме богатых, дала свободу и счастье. Хотелось расспросить этого русского обо всем подробнее, но он, к сожалению, не знал французского, вообще никакого иностранного языка не знал, так что говорить приходилось через Эльзу (которую он звал Элла, Элик), но Эльза и без него всегда утверждала: да, так и есть, страна счастья, вот и она, Элла, скоро туда уедет. Однако пока медлила с отъездом...

По утрам, едва поднявшись, русский постоялец спускался в комнату Элика, садился у ее постели, и начинались бесконечные разговоры. Спешить им было некуда: он приезжал за границу надолго, а она не работала. Говорили они о прекрасной Лиле, Эллочкиной старшей сестре, которая была первой и главной любовью Маяковского. Конечно, ее не называли в сурово-идейные годы моего отрочества ни женой, ни любовницей, ни даже подругой поэта — ее полагалось называть просто «Лиллябрик».

Лиля была их родственницей, их повелительницей. Они были рабы, и если у них появлялась иногда мысль о бунте, никто не должен был об этом знать. Конечно, строго говоря, для Эллы обожаемая старшая сестра была разлучницей; она увела у нее Маяковского, с которым семнадцатилетняя Элик познакомилась на его выступлении в каком-то петербургском парке, еще до войны. Он был одет в странную желтую кофту, и стихи его очень понравились Эллочке.

«Солнце!  
 Отец мой!  
 Сжалься хоть ты и не мучай!  
 ...Я одинок, как последний глаз  
 у идущего к слепым человека!»

Уже совсем юной Эллочка умела вглядываться в мужчин, их понимать и жалеть. Даже прощать. И она все поняла про этого Маяковского в дурацкой кофте. И то, что было с ним дальше, тоже было ей понятно, — жуткая обида на все и всех, жажда мести и, конечно, любви. Он притворялся сильным, хамоватым, всепобеждающим, вон и земля у него «поляжет женщиной, заерзает мясами, хотя отдаться...»

Это правда, у него очень было много ненависти — отсюда все эти куски мяса, кровь, казни, которыми он грозил всем этим богатым, торговцам, лабазникам, адвокатам... А почему адвокатам? Папочка вон адвокат, а какой он милый. И богатые ничем не хуже бедных. Нет, наверно, все-таки хуже, и нужна революция! Папа вон тоже за революцию. И Ося... А Осин папа очень богатый, но наверно, и он за революцию. И про мщение все говорят — и Блок, и Волошин, все призывают к мщению...

Эллочка даже подошла к нему после концерта (ни одна школьница не решилась, а она решилась). Никакая девушка его не ждала. Он один был со своей желтой кофтой и своими жлобами-футуристами. Они пошли гулять по парку вдвоем, потом обменялись телефонами, и еще встречались в Москве.

Позднее, в Петербурге она сама познакомила его с Лилей, и Лиле он вначале не понравился. А потом он читал им стихи у них дома, в Петербурге, и Ося, Лилин муж, сказал, что это гениально, и Лиля решила им заняться. То, что он в нее влюбился, это понятно, в нее все влюблялись — глаза горят ведьминские и такая жизненная сила — где мужчинам устоять? Так что главное — что захочет она, что решит она. А она решила, что у этого Володи будущее, Ося не ошибается. Кстати, уже многие его заметили. Сам Чуковский написал, что в нем великая ненависть, в Маяковском. Сам Горький помог ему избежать фронта... А Ося ему с Лилей в их любви не препятствовал. У Оси с Лилей еще до брака, с первого их разговора в ресторанном кабинете, было условлено: они не мещане, чтобы цепляться за собственность: можно жить по Чернышевскому, мы не вещи. А если верить Лилечке, то она с Осей и в 1916 уже больше не спала, а

только спала с Маяковским. Хотя, если по его стихам судить, они все же втроем жили, стихи не соврут.

Если вдруг прокрасться к двери спальной,  
 Перекрестить над вами стеганье одеялово,  
 знаю —  
 запахнет шерстью паленной,  
 и серой издымится мясо дьявоново.

Да уж, это точно, в Лиле есть что-то дьявольское. А Эллочка вот, простушка, осталась тогда ни с чем. Писала ему тоскующие письма:

«Милый дядя Володя... Так жалко мне, что вы теперь чужой, что я вам теперь ни к чему... Надоела себе страшно, а куда от себя уйдешь, некуда...»

С тех пор, конечно, много воды утекло. Она им всем отомстила, мужчинам, Эллочка. Стала вот Эльза. Только для Володи — Элик...

В 1918 она решила, что с нее хватит этой их революции, недоедания, эпидемий, решила уехать к чертовой бабушке — вышла замуж за офицера из французской миссии Андре Триоле и уплыла в Стокгольм. Андре обещал увезти ее на сказочный Таити. И маму вывезла в Лондон. И уплыла на Таити. Вернувшись, они разошлись. Она сохранила его звучную фамилию, а имя свое офранцузила: стала Эльзой Триоле. Она вела жизнь свободной молодой женщины, близкой к искусству. Уже сочиняла романы по-русски. По всеобщему мнению плохие. Но не могла же не сочинять в окружении всех этих пишущих или рисующих русских. В Германии, куда она отправилась после Таити, Шкловский таскал ее на поклон к Горькому, и Горький сказал — надо жить творчески, надо творить. Так что, она сотворила уже две книги, и Лиля их куда-то пропихивала в Москве. Но жила-то Эльза в Париже. Хозяйка пансиона на авеню Терн недовольна была, что у нее часто бывают мужчины, и добродушный Фернан Леже привел ее сюда, в «Истрию», где у него жили друзья и первая его жена заодно. Так Эльза попала на Монпарнас и больше никуда не собиралась двигаться, хотя часто говорила, что вернется в «революционную Москву». Только вот жизнь что-то не устраивалась, а было ей уже под тридцать...

По утрам в «Истрии», нежась при нем в постели (то, что дядя Володя к ней в постель не полезет, она знала, у него, с этим непросто), Эльза рассказывала Маяковскому про свои дамские беды: влюбилась в аристократа-писателя, а он ноль внимания, другой тоже не чешется, а ей бы хотелось, чтоб тоненький был, с хорошими манерами и, чтоб в Париже — она хотела обязательно в Париже. Вот Лиля, та бы и в Париже все смогла, чего захочется. Лилино всемогущество отнимало у младшей уверенность в себе. У Маяковского, может быть, тоже.

Откровенность за откровенность: дядя Володя рассказывал ей о своих терзаниях. Собственно, он был Лилей отставлен еще после Берлина, в конце 23-го. Появился новый кавалер, потом еще... Но они жили по-прежнему вместе, семьей, он был опорой семьи, Ося его помощником и наставником, главным теоретиком, его справочной книгой и редактором, а Лиля — их богиней. Однако от близости с ней Маяковский был отстранен, как некогда и сам Ося. Конечно, он сперва взбунтовался, но ему напомнили, что они не мещане: Ося же не лез в свое время на стенку...

Когда она стал бунтовать, они запретили ему появляться у них, дали исправительный срок. Потом он извинялся за «приставания» и был даже слегка награжден за свое послушанье. Оказывается, за два месяца ревности и муки она написала поэму, а также лучшие свои стихи. Он приходил в подъезд, слушал, как в квартире гуляет Осина братва из ГПУ, Лилины поклонники, стоял под окнами. (Все правда: моя учительница перевода Рита Райт рассказывала мне, как Маяковский томился на лестнице. Осторожно, впрочем, рассказывала — она была из пуганого поколения, из выживших.)

Однако позже, человек из диссидентского или даже постдиссидентского поколения, Юрий Карабичевский неплохо во всей этой истории разобрался. Только, вероятно, и он не знал, кто сменил «дядю Володю» в постели чародейки «Лилибрик». Скорей всего, кто-нибудь «из железных ворот ГПУ», может, сам Яша Агранов, интимный друг Лилечки (и Сталина), да и Маяковского тоже. Маяковский этого убийцу ласково звал «Агранычем».

Если бы не Юрий Карабичевский, никому, может, и в голову не пришло перечитать, что пишет об этой странной истории сама Лиля. Перечитав, все поняли, что чародейка была, конечно, искусница, такую плела паутину лжи. Однако не совсем убедительно, хотя и вполне профессионально:

**«Личные мотивы, без деталей, коротко, были такие: жилось хорошо, привыкли... к тому, что живем в тепле, едим вкусно и вовремя, пьем много чая с вареньем. Установился «старенький, старенький бытик». Вдруг мы испугались этого и решили насильственно разбить «позорное благоразумие». Маяковский приговорил себя к 2-м месяцам одиночного заключения... В эти два месяца он решил проверить себя».**

От байки этой за целую версту несет туфтой. Зачем Маяковскому надо было уходить, если он знал, что влюблен? Зачем ему нужна была эта дурацкая проверка? Чтоб не есть больше варенья? И что они там гепеушников этих, не выходящих из дома, чаем что ли поили?

Потом уж, его спровадив, они что положено пили. Так что Маяковский, послушно стоявший на лестнице, запечатлел показания в таких антиалкогольных стихах:

**Горлань горланья  
оранья орло  
ко мне доплеталось пьяное допьяна.**

В комнатке дешевого отеля «Истрия» Маяковский с Эллочкой говорили и о других русских тайнах. Вряд ли Яша Агранов из ГПУ одобрил бы эти разговоры. Конечно, гепеушники выпускали Маяковского за границу и даже помогали ему уехать, может, и материально тоже, и даже личное оружие со специальным разрешением Лубянки ему выдали, но не затем, чтобы он в частных разговорах касался личностей.

Впрочем, они знали, что никакого бунта с его стороны больше не будет. Лиля Юрьевна сама привела его чувства в порядок. Он остался влюбленным в нее другом и рабом. Ему разрешалось «физически» (выражение Лилечки) отвлечься, развлечься, но он должен не забывать и за границей (кстати, может быть, за границей он семейству Бриков был даже удобнее, да и Эллочка за ним

присматривала), что во-первых, он там посланник коммунизма и его пропагандист, а, во-вторых, он должен помнить, что у него дома повелительница, которая не в Париже, а в Москве — так что нужны и духи, и шмотки, и даже автомобильчик (а шофера уж мы найдем, не проблема).

Помню, «Литературное наследие» напечатало как-то письма Лили Брик к Маяковскому. Боже, какой поднялся скандал! Потому что нельзя же было это показывать ни детям, ни взрослым — все эти письма с просьбой купить в Париже и то, и се, и пятое, и десятое, и хотя бы маленький автомобильчик. Что? В нищую Россию? Какие там автомобильчики? Откуда столько деньжищ? И откуда у нее столько наглости? Ученым составителям тогда попало за эту публикацию. А им бы взять да объяснить, что она тогда с Маяковским уже не жила «физически». У нее были другие ответственные товарищи. Тогда все, может, было бы пристойнее. Объяснить, впрочем, ничего нельзя было. Все было тайной. И ее деловые письма. И его нежно сюсюкающие, где вместо подписи нарисован был Щен, который все еще стоит на задних лапках и опасается сказать хоть слово правды. И уверяет, что ему невыносимо скучно здесь, что он рвется рвется домой, а вокруг никого нет, только вот переводчица (которой он сделал дочку), да еще какой-то народ: мужчины, женщины, коммунисты, чекисты...

Но вернемся к 1925-му. В Эльзиной тесной комнатке отеля «Истрия» дядя Володя и бывшая Эллочка Каган с Маросейки снова и снова говорили о ней, нежно любимой, только о ней — о сестре-изменщице, сестре-сопернице, а также о ее друзьях, о симпатичных людях из ГПУ, друзьях Лили и Осика, которые «дядю Володю» благодетельствовали, с которыми он вместе «пил чай», путешествовал и даже вместе писал (скажем, сценарий о происках врага). Их и здесь, впрочем, было в достатке, этих парней — при новом посольстве, на открытие которого бывалый тов. Красин пригласил Маяковского. А тот, понятное дело, осветил событие: откликнулся стихами про красный флаг, который взвился над прогнившей столицей Франции.

**А про что еще тут писать? И что ему было делать каждый год (он приезжал сюда девять раз) в прогнившей столице Франции? Языка он не знал «матерьял» никакой не «собирал», а все, что**

написал о Париже, можно было написать в Москве: вот, товарищи, Версальский дворец, отсюда поволокли «королевку», чтоб ей отрезать голову — это чудесно! И еще тут были у них коммунары — они тоже расстреливали — это славно. Их тоже правда убивали — это грустно, рождает, понятное дело, классовую ненависть.

А вот собор Нотр-Дам: клуб бы в нем устроить для трудящихся, между химерами ввинтить лампочки и повесить плакаты. Здесь это еще удобней, чем в Василии Блаженном. Однако ведь все эти пролетарские шутки Маяковский уже и в Москве использовал. Увидел же он, судя по стихам о Париже, за девять многомесячных поездок меньше, чем нынешний любопытный турист успевает за неделю.

Эльза простодушно сообщает, что он ходил, конечно, по магазинам, посещал портных, шил костюмы, покупал множество подарков Лиле, ну и, конечно, играл в карты. Карты, стихи, бильярд, рестораны и курорты — этим списком, пожалуй, и исчерпывались его заграничные развлечения. Культура Франции и ее история его не занимали, а вот картежник он был отчаянный. В Берлине в 23-ом году он так и не вышел из гостиницы, играл в карты, в то время как большевистский интеллектуал Ося Брик усердно ходил по музеям и делал записи.

Иные критики объясняют, что Маяковский ездил за вдохновением, ездил обновлять свою ненависть к буржуазии. Его довоенная ненависть — вешай, режь на куски, стреляй — пригодилась для дела ужесточения и укоренения новой власти. Маяковский приветствовал расстрелы, воспевал ГПУ, требовал все большей жестокости — «зорче и в оба, чекист, смотри»! Но вот, запал стал иссякать, и тогда он стал ездить без конца за рубеж, чтоб налиться до краев новой ненавистью при виде гнусных буржуазных столиц и населяющих их буржуев.

Однако, создается впечатление, что в Париже «заправка» ненавистью шла медленно. Маяковскому очень понравился Париж. Хотя Лиле он регулярно писал, что в Париже отвратительно, скучно, невыносимо, что он не чает вернуться, однако не возвращался, отчего-то сидел там подолгу и без дела. И в Америке он сидел очень долго и не вполне убедительно оживляя былую злобу:

**Горы злобы**

**аж ноги гнут.**

Даже  
           шея вспухает зобом.  
 Лезет в рот,  
           глаза и внутрь,  
 Оседая,  
           влезает злоба.

Или вот еще:

Выйдь,  
           окно разломай, —  
 а бритвы раздай  
           для жирных горл.

Это последнее мероприятие Маяковский рекомендует американской девушке («май герл»), потому что ей приходится самой себе зарабатывать на хлеб, варенье и прочее. Разве это не повод для того, чтоб резать «горла» бритвочкой? Это, конечно, уже больше похоже на прежнего, все ненавидящего Маяковского, а в Париже у него и так не получалось. Ну кто ж поверит восторгу, объявшему его в умильной версальской «Деревне Марии-Антуанетты» от того, что какие-то малоизвестные ему французские «коммунары» «поволокли» какую-то прекрасную женщину на эшафот?

Если честно, то очень нравился Маяковскому Париж. Он бы даже согласился «жить и умереть в Париже», если б не боялся Москвы.

Эльза проговаривается иногда и о главной, во всяком случае, полуофициальной цели его визитов и некоторых неудобствах, связанных с его миссией. Он маялся, пишет она, потому что не мог, по незнанию языка и языков, всем и всякому «доказывать, что СССР единственная на свете страна, в которой можно жить...»

В Париже Маяковский себя чувствовал так вольно и по-домашнему, что Эльза, засев позднее, в 1939 за мемуары, даже не нашла, о чем вспоминать, не нарушая запретов. А про то, что можно и что нельзя было, к 39 году она уже все знала досконально (вот про Бабея, с которым наверняка виделась в Париже и который помогал ей в Москве «дотягивать» ее беспомощный роман, упоминать уже было нельзя).

Эльза к тому времени наверняка была представлена сестричкой Лилей тем самым влиятельным друзьям, что помогли и Осе и Лиле уцелеть, когда расстреляли столько их друзей, и даже нового Лилиного мужа командарма Примакова.

Но это все позже, а пока на дворе 1925-й, и Эллочке почему-то даже русскую визу дали не сразу. Пришлось Маяковскому пойти, поговорить с кем нужно в посольстве — дали.

Кстати, из написанных в 1939 трех-четырёх мемуарных страниц о пребывании Маяковского в Париже Эльза целую страницу уделила краже денег, все в том же 1925.

Маяковский, «для каких-то своих целей», говорит Эльза, за несколько дней до своего кругосветного путешествия вынул из банка все свои деньги. Зачем? Эльза целей не знает и денег этих не видела. Назавтра утром он надел в ее присутствии пиджак, похлопал себя по карману и объявил, что у него украли все деньги — 25000 франков. Дальше идет бесконечно подробное описание некоего всем известного вора, которого так никогда и не поймали, но который эти деньги наверняка украл.

В письме Лиле Маяковский тоже подробно рассказывает, как он вышел на 20 секунд в туалет, оставил дверь открытой, а когда вернулся, уже не было ни вора, который, дескать, специально снимал комнату напротив, ни денег, ни документов (все бумажники, пишет он, украдены!) У Эльзы про «документы» ничего не сказано. Первая телеграмма Лиле по этому поводу... пропала. Но цела вторая. Там тоже есть про документы.

В письме, которое торгпредство отправило по этому поводу в Госиздат, прося прислать гарантийную телеграмму на 200 червонцев для выдачи их Маяковскому, сказано, что билет на 12 июля у него каким-то образом уцелел. И паспорт новый не нужен, стало быть, документы все же не украдены. И действительно, «Испания», как писал Лиле Маяковский в злосчастный день пропажи, ушла 19 июня с Маяковским на борту. Может быть дата отъезда торгпредством или самим Маяковским была дана более близкая, чтоб поторопить издательство.

Мне по стилю описаний история эта напомнила Лилины рассказы про «варенье» и «бытик». Когда надо что-то скрыть, такие мемуаристки, как Эльза и Лиля, начинают сочинять детали и метафоры (да вот же варенье!) Лично я думаю, что такой азартный игрок, как Маяковский, мог преспокойно деньги эти проиграть, оттого и взял из

банка «для каких-то своих целей». Это впрочем, ничего не меняет — просто еще одна маленькая парижская «тайна». Французский биограф Эльзы называет все эти ее истории «правда-ложь».

Любопытно, что она подробно описывает поведение Маяковского после этой пропажи. Поведение это кажется ей замечательным. Сперва лицо его стало пепельно-серым. Потом он сказал, что он не станет отменять свое путешествие (Мексика, Америка, потом, может, Италия, куда Лиля хочет поехать для улучшения здоровья). И вообще, он будет жить как будто ничего не случилось: они, как обычно, отправятся в ресторан, а потом пойдут делать покупки. После визита в торгпредство, рассказывает Эльза, он стал добирать деньги к выданным ему двум сотням. В частности, описывается, как он останавливал русских, приехавших в Париж на выставку прикладного искусства, и других парижских знакомых (в том числе представителей нищей богемы, которым тоже пришлось раскошелиться, поскольку русский гений в беде), — в общем, «всех подряд». «Это тут же превратилось в игру!», — восхищается Эльза. Игра была в том, что она должна была угадать, сколько даст Маяковскому тот или иной знакомый. И тот, кто ему отказывал, «переставал для него существовать».

«Собаки!» — восклицал он, выражая крайнее отвращение всем своим видом, выражением лица, движением плеч. И он начинал этих людей преследовать, делая их всеобщим посмешищем до самого конца своего пребывания в Париже». Ну а тот, кто давал ему больше, чем он ожидал, становился для него «лучшим из людей». Эренбург, к которому, по наблюдению Эльзы, он не испытывал раньше никаких чувств (тот посмеивался над маниакальным страхом Маяковского перед заразой: в роскошном парижском кафе он пил кофе через соломинку), «завоевал» Маяковского «пятьюдесятью бельгийскими франками. Он стал звать Эренбурга по имени и видеть в нем положительные качества».

О том же рассказывает Юрий Анненков, который вспоминал, как он встретил однажды Маяковского на улочке Старого Города в Ницце:

«Пали сумерки. Я спускался по узкой живописной улочке, которая сползала к морю. Навстречу мне поднималась знакомая фигура... Маяковский крикнул мне издали:

— Есть у тебя тыща целковых?

Он объяснил мне, что ездил в Монте-Карло, где проиграл все деньги... Я дал ему тыщу франков.

— Есть хочется, — добавил он, — если ты дашь мне еще двести, я угощу тебя супом буайябез».

Похоже что мемуарный рассказик этот, в порядке исключения, достоверен.

Маяковский приезжал в Париж и в 1926-м и в 1927-м, И снова были разговоры в комнате Эльзы — все более откровенные. Эльзе уже за тридцать. У нее самые разнообразные романы, поклонник-шахматист, какие-то художники, но не было того, что нужно. Жизнь неустроенна, хотя ей нравилось здесь, на Монпарнасе, где было столько знакомых, столько компаний — и в каждой можно поговорить за рюмкой вина или чашкой кофе о своем одиночестве. Такое многолюдное одиночество, — грустно объясняла Эльза, — можно позволить себе только на Монпарнасе. Так, впрочем, думали многие...

Переломным годом оказался для наших героев 1928-й. Эльза увидела все на том же Монпарнасе, в кафе «Куполь» красивого поэта-сюрреалиста, настоящего француза по имени Луи Арагон. Он ей показался неотразимым. Он был и правда элегантен, красив, печален и романтичен.

Неудачные романы с мужчинами и женщинами, недавняя неудача с богатой англичанкой Нэнси Кунард, дочерью судовладельца, неудачная попытка по этому поводу покончить с собой в Венеции, — все это делало его еще романтичнее и беззащитнее в глазах Эльзы.

Как и сестра, Эльза на самом деле не была ни хрупкой, ни беззащитной. Она тоже, на свой манер, была завоевательница, тем более сейчас, в свои 32 года. Она многому научилась у всемогущей Лили за эти годы. Ей нужен был свой и притом французский, Маяковский, ею самой выведенный в люди. Меланхолический красавчик, мета-

ввшийся между мужчинами и женщинами, между свободой и тоталитаризмом, показался Лиле идеальной кандидатурой для заключения союза, наподобие двух Лилиных. Эльза, впрочем, говорит лишь о любви, но может, это и есть любовь, один из видов любви: в такой же союз вступили некогда Гиппиус и Мережковский, Сартр и Симона де Бовуар, Майя и Роллан, да их немало, этих союзов, на Олимпе искусств и политики.

Французского красавчика Арагона еще надо было, впрочем, завоевать: он не сопротивлялся, но ускользал в чужие объятия — то возвращалась шальная Нэнси, то его уводили друзья. Борьба была жестокой. Счастливым обстоятельством было то, что поэты потянулись в это время к компартии. Оно отчасти понятно. Поэт беззащитен, ему нужен царь, падишах, халат с плеча падишаха, брошенный с трона кошелек, нужна тоталитарная партия — поэт хочет опереться на силу, на власть. С призывом опереться на силу уже выступили итальянские футуристы. Они угадали силу в фашизме. Их идейные эпигоны, русские футуристы, могли невооруженным взглядом, видеть приход к власти толпы и бунта, потом тоталитарной, террористической власти. Им было на кого опереться, и они наперебой предлагали власти свои услуги, предлагали в своих манифестах «для массового потребления оптимистическое искусство», не скрывая источника своих идей: «Итальянский футуризм ставит ставку на сильного. Прекрасно! Сейчас этим сильным кажется фашизм. Завтра этим сильным окажется революция...»

Французы начали позже. Им и компартию-то русские устроили позже. Но уже в 1926-м в компартию вступил раздавленный русской эгерией хлюпик Элюар, за ним потянулись Арагон и другие. Вот тут-то Эльза могла его кое-чему научить. Ведь головокружительный успех революционного авангардиста Маяковского был на устах у всех. А Эльза верила в талант Арагона, она читала его книги. Но, повторяю, борьба за него была долгой, и победа далась ей нелегко.

Арагон представил ее друзьям-сюрреалистам и их вождю Андре Бретону. Бретону она не понравилась.

«Русская шпионка», — сказал он без обиняков. Надо отдать должное его чутью: он ведь не видел ни Лили, ни Осиных мерзких усиков, ни их друзей из ГПУ во главе с убийцей «Агранычем» на совести которого были и Гумилев, и Клюев, и Мандельштам.

Сердца прочих друзей Арагона Эльзе, впрочем, удалось завоевать. Андре Тирион вспоминает в книге «Революционеры без революции», как Эльзе удалось изменить его мнение о себе — ценой ночных разговоров в «Куполи», где столько в те годы толкалось русских:

**«...У меня были долгие беседы с Эльзой, я их потом пересказывал Арагону. Так что я тоже втянулся в эту игру. Мало-помалу образ шпионки уступил место образу женщины, влюбленной по уши и вознамерившейся во что бы то ни стало заполучить мужчину, которого любит».**

Решительную атаку на свой «предмет» Эльза приурочила к новому приезду Маяковского в Париж. Она обещала Арагону познакомить его с великим Маяковским, главным певцом революции, главным поэтом загадочной страны обновления, самым преуспевающим в мире поэтом. Но и с Маяковским, столь привычно приехавшим снова в Париж, случилось на сей раз необычное происшествие: он влюбился. Может быть в первый раз за эти десять лет, или, на худой конец, за пять лет после отставки.

Эльза рассказывает, что они сидели в тот осенний день 1928 года с Маяковским в гостях у какого-то врача, и вдруг, «представьте, входит сама красота, в обрамлении ожерелья и меха». Они стали знакомиться, и все увидели, что девушка почти одного роста с Маяковским. Эльза даже поздравила Маяковского: вот, они, кажется, нашли ему девушку по росту. Она и правда была очень высокая, стройная, длинноногая, породистая, коротко подстриженная по моде и великолепно, по моде же, одетая. Длиннолицая, как те русские красавицы с севера, из какого-нибудь Новгорода, куда не дошло полчище Орды, остановленное на Сицком болоте. У нее был красивый, маленький рот, прелестные руки...

— Что такими руками делают? — спросил Маяковский.

Она ответила просто:

— Шляпки шьют.

Эльза рядом с ней казалась маленькой, беспородной, некачественной, простоватой, безвкусно одетой и, конечно, немолодой. Танечке Яковлевой было восемнадцать. Защищаясь, Эльза говорила: «Ну да, девочка-манекенщица...» Но все было не так просто. В тот первый вечер Татьяна удивила Маяковского тем, что... знала русскую поэзию. Ну да, манекенщица. Их много было тогда в Париже русских манекенщиц, которых не за одну ценили красоту и породу: лежал у них на лицах особый отблеск души и культуры. Что стало с ними потом? Одна из них — княгиня Вики Оболенская — стала в войну героиней, каких мало нашлось у Франции... Другая — французской писательницей...

Ну, а юная Танечка? Она была племянницей замечательного художника-эмигранта Александра Яковлева, чью парижскую выставку Бенуа назвал «настоящим событием не только художественного, но общекультурного значения». В общем, была Танечка из культурной русской семьи. Уезжая в эмиграцию, дядя-художник вывез и ее с матерью. До отъезда из России успели они натерпеться и холода, и голода, и страха, без которых вообще не бывает ни путчей, ни революций.

Отчим Танин в 21-м умер от голода, у самой Тани уже было в ту пору затемнение в легком. Но в Париже оправилась, молодость взяла свое, и назад в Россию ее не тянуло. Работала, шила, демонстрировала моды, по вечерам — в гости, в кафе, танцевать могла ночь напролет, поклонников был полк, скучать было некогда, однако была неулыбчива: спокойный, серьезный взгляд. Любила стихи и знала их множество.

Из гостей она в тот раз быстро собралась уходить, и Маяковский тут же вызвался ее подвезти. Она думала, что машина у подъезда, но он схватил такси, он возил ее по городу, они сидели в кафе, он был влюблен, очарован, неистов, швырялся деньгами, как миллионер.

В первый вечер в кафе у Люксембургского сада, откликаясь на далекие всплески оркестра, она вдруг прочла:

**Звучала музыка в саду  
Таким невыразимым горем...  
свежо и горько пахли морем  
На блюде устрицы во льду.**

Это были стихи Ахматовой, им любимой и, конечно же, им злобно оплеванной, — те самые, что он принес Лиле в 1915-м (и, конечно, Лилей они были осмеяны). Таня

могла читать наизусть Гумилева, Анненкова, Блока, Пастернака, но ей еще не доводилось читать стихов Маяковского.

Парижская жизнь его стала на сей раз и странной, и тайной. Он писал Лиле, что ему здесь невтерпеж, особенно в Париже, что он тут одинок, что он хочет вырваться отдохнуть — в Ниццу, в Канны. Но он никуда не ехал, он встречался с Таней чуть ли не каждый день. Собственно, так бывало и раньше: в каждом письме он заверял Лилю, что она одна на свете, что он рвется домой. Лилия подозревала, что у него там бывают романы, что у него даже родился ребенок в Америке, а может, и в Париже, но Лилия была спокойна. А он? Чего он боялся, когда лгал ей в письмах? Что она больше не захочет с ним видаться? Что он потеряет надежду на возвращение ее любви или, на худой конец, ее дружбы? Или он еще чего-то боялся? Боялся ее друзей? Что ж, если так, то не зря боялся.

На сей раз Лилины телеграммы были особенно беспокойными. Может быть, Эльза ввела ее в курс дела. Может, Лилия сама почувствовала, что на этот раз все серьезно и что Маяковский может освободиться от ее власти. А он, написав стихи о Тане, даже не решился послать их в журнал Кострову через Лилю, которая вела в его отсутствие все его литературные дела. И он был прав. Когда стихотворение это было напечатано, Лилия встревожилась не на шутку. Все его стихи о любви должны быть (и как она утверждала, — были) посвящены ей одной.

С другой стороны, знаменитое это стихотворение «Из Парижа о сущности любви» могло встревожить и Танечку, да и любого нормального человека, не возвращенного на лживой двусмысленности и страхе, на дубовой партийной терминологии, — любого, кто не был, по выражению Оруэла, совершенный «двоемысл», лицемер-«doublethink».

Влюбленный Маяковский, с нарочитой грубоватостью объясняет в этом стихотворении, что в Танюше его привлекает ее длинноноготь, да и то не потому, что ему приятно обнимать длинноногую Татьяну, а потому что Стране Советов нужны сейчас длинноногие. И все, что он делает — делает не для себя, а для строительства коммунизма и для трудящихся.

Мы  
теперь  
к таким нежны —  
Спортом  
выправишь немногих —  
вы и нам  
в Москве нужны,  
не хватает  
длинноногих.

Итак, поэт даже объясняется в любви не от своего имени, а от имени трудящихся, с которыми, однако, не готов поделиться ни девушкой, ни Парижем, ни свежесмытой сорочкой — только идеями и шутками. Маяковский выдает это за юмор, но к этому партийному юмору надо долго привыкать.

Легко допустить, что Таня именно так воспринимала эти стихи. А писатель Юрий Карабчиевский и вовсе охарактеризовал приведенные выше строки как некий «отчет о профсоюзном собрании в борделе... Не хватает длинноногих, недовыполнен план, кое-какие коротконогие выправлены, но этого все еще мало, и в соответствии с нуждами народного хозяйства, длинноногих приходится выписывать из Парижа, разумеется, временно, пока не будет налажено собственное отечественное производство...»

Маяковский предвидит в этих стихах, что длинноногая Таня выберет себе в мужа не его, а другого своего поклонника, но возможность отказа он рассматривает как оскорбление рабочего класса и показатель несомненного ее желанья «выдать» эти ноги «в ужины» с нефтяниками» (то есть, с нефтяными королями). Отказ поэту — это оскорбление, и будет он нанизан на «общий счет» оскорблений, нанесенных изганными-эмигрантами пролетариям (то есть Маяковскому) и Стране Советов (которую он представляет).

Легко представить, что ценительница поэзии Яковлева была не в восторге от этой классовой лирики. Что до Лили, то она пришла в ярость, однако гроза грянула позже. А пока Маяковский готовился к отъезду, и они с Татьяной бегают по дорогим магазинам и покупают подарки для Лили: одежду, духи и прочее, а также присматриваются к заказанному Лилей «автомобильчику», к «Реночке» (фирмы «Рено»).

Эльзе все это пока тоже на руку. Она занята осуществлением своей программы. Уже познакомила Арагона с Маяковским. Теперь помогала готовить на рю дю Шато у Арагона, где он жил с Тирионом, прощальную вечеринку в честь Маяковского.

Были приглашены русские парижане. Маяковский пришел с Татьяной, танцевал с ней и был весел. Тирион сидел один в лоджии, он грустил, потому что его возлюбленной не было. Потом Арагон присоединился к нему, чтобы разделить грусть друга. Эльза не дала им побыть одним. Тирион вспоминает, как она вышла к ним.

«А это место вы мне не показывали, — сказала она хозяину, — а чем здесь занимаются?» В задней части лоджии, отгороженной занавеской, стояло низкое кресло, спроектированное Пьером Шарре. Эльза схватила Арагона за руку и увлекла его за занавеску. «А здесь? — сказала она. — Чем здесь занимаются? Любовью?» Я видел, как она прильнула к губам Арагона».

Борьба ее за Арагона продолжалась еще долго. Он прятался, убегал. Она вытесняла соперниц. Она была настойчивой, у нее был опыт, а главное была решимость добиться своего.

Перед отъездом у Маяковского еще был большой вечер в кафе «Вольтер», что на нынешней площади Клоделя, близ театра «Одеон». Маяковский читал стихи про за границу, которую он так «хорошо» знал. Про русскую жизнь, про которую правду рассказывать не мог и не хотел. И про которую знал не лучше, чем про границу. Присутствовало на вечере много левых евразийцев, ставших уже к тому времени поклонниками Советов и коммунизма.

Чуть позднее одни из них стали агентами ГПУ, другие просто вернулись в Россию — и те и другие были расстреляны. Но в тот вечер они ликовали. Маяковский демонстрировал собой, своим парижским костюмом и галстуком, своей свободой передвижения успехи освобождения пролетариев, демонстрировал высокое положение поэта в СССР.

Марина Цветаева была на вечере с мужем, Сергеем Эфроном. Она была в восторге от Маяковского, от его стихов, от всего, что происходило с ним в Советском Союзе. Вечер этот сыграл роковую роль в ее жизни. Ее

восторги, ее приветствие, ее отчет в журнале «Евразия» произвели удручающее впечатление на большую часть русской эмиграции. После этого ее перестали печатать в лучшей русской газете — у Милюкова.

Маяковский был доволен вечером, доволен успехами своей поэзии и успехом советского «имиджа». Может быть, еще и тем, что выполнил свой долг. Долг перед кем? Перед родиной? Перед поэзией? Перед учреждением «Аграныча», который не зря ему доверял?

Он не спешил уезжать из Парижа. Нарисовал для Лили купленный им «автомобильчик» (темно-синий, четырехцилиндровый, фирмы Рено), отправил письмо о нестерпимом ожидании отъезда и остался еще на несколько дней. Перед самым отъездом он получил телеграмму от Лили, которая решила, что лучше все же купить Форд. Солиднее. Маяковский ответил, что обменять уже невозможно.

А ранней весной он снова был в Париже. Здесь была Таня. Он настаивал, чтоб она вышла за него замуж. Ей нравилось, как пылко он ухаживает, нравилась его настойчивость, его честная готовность к браку. Но многое ее пугало. Пугала не забытая еще Россия большевиков. Пугал он сам. Пугала незнакомая Лиля, о которой она слышала ежедневно. Если эта Лиля держит его в руках, причем тогда Таня? И как он живет с ними, если у Лили свои мужчины? Не только восемнадцатилетней Танечке, но и людям постарше уразуметь все это было не просто. А если б еще Танечке довелось прочитать, что говорят на эту тему бессмертные произведения Осипа Брика — он творил во всех жанрах, хотя и одинаково бездарно — у нее бы головка пошла кругом:

«Мы — коммунисты, не мещане, и никакие брачные драмы у нас, надеюсь, невозможны... Никакой супружеской верности я от тебя не требую. Но делить тов. Сандрарова с какой-то там буржуазной шлюхой я не намерена... Я не жена тов. Тарк. У коммунистов нет жен. Есть сожительницы».

На ее счастье романов Оси Брика Танечка не читала. (Их вообще читал, наверно, один добросовестный человек — Юрий Карабичевский и его уже нет с нами.) Зато Маяковский вручил Тане рукопись «Клопа», и она долго с ней мучалась, пока не потеряла. Решимости выйти за него замуж это ей не прибавило. Она вообще подозревала, что жить с Маяковским будет тяжело. Когда спало

возбуждение, он становился очень и очень скучным. В полном смятении Танечка писала маме:

«У меня сейчас масса драм. Если бы я даже захотела быть с Маяковским, то что стало бы с Илей, и кроме того есть еще двое. Заколдованный круг».

**В конце концов Маяковский уехал в Москву. У него были какие-то неотложные театральные дела. Перед отъездом они с Таней договорились, что он вернется к осени. И она решится... А он будет ей все это время писать.**

**Перед отъездом он зашел в цветочную лавку и заплатил вперед за много недель: чтобы Тане каждый Божий день приносили цветы. Она была в восторге и говорила, что уж что-то, а ухаживать он умеет.**

**Эльзу он оставил сражаться на любовных баррикадах. Арагон сопротивлялся все слабее. Впрочем, время, чтобы написать сестре подробный отчет о безумствах «дяди Володи», у Эльзы нашлось. И Лиля приняла меры. Он ведь мог ускользнуть от них. А эта Танечка была явно «не наш человек». Лиля больше не верила никаким письменным заверениям: надо было действовать!**

Вскоре по возвращении Маяковского в Москву Ося познакомил его с молодой, прелестной актрисой Вероникой (Норой) Полонской. Она была замужем, но Осю и Лилю это, вероятно, устраивало. К тому же «у коммунистов нет жен». Маяковский был очарован Норой. Он страстно ухаживал за ней, не забывая отправлять влюбленные телеграммы-молнии Танечке. Когда он был в отъезде, то слал молнии и Тане и Норе. И обеим делал предложение. Он любил обеих, и ему нужна была, наконец, своя женщина, жена, в полное обладание, не на паях. Выходило, что он нормальный человек, а не коммунист? С другой стороны, многие утверждают, что именно в эту зиму и весну (1929-1930) он был уже не вполне нормальным. Вскоре Танечка заметила, что письма ее доходят до него не все, потом они и вовсе исчезли. Вероятно, Лиля об этом позаботилась.

К осени Маяковский собрался в Париж, к Тане, и тут случилось невероятное: его не выпустили! Он ехал в десятый раз, он был не абы кто, он был свой, друг «Аграныча», у него было разрешение на оружие, он только что выступал перед членами ЦК с чтением поэмы

«Владимир Ильич Ленин», а там как бы целый «Краткий курс ВКП(б)». Члены ЦК ей аплодировали. И вот его не выпустили. Он стал «невыездной». Он стал как все. Хуже того — он стал «отказник». Он знал, что бываете теми, кто как все. С теми, кто сползает вниз. Он решил бороться. Или спастись. Он заметался. Стал устраивать какую-то идиотскую выставку к какому-то наспех придуманному юбилею. Хотел, чтобы наверху подтвердили, что он «свой», что он «не как все», что ему доверяют. Ведь он Маяковский. Он главный. И вот ему стало казаться, что все рухнет, что уже наступил полный крах. Никто из членов правительства не пришел на его выставку. Издатели вырвали из уже готовой брошюры его портрет. Для портретов уже существовал к тому времени Самый Главный. Остальным этого не полагалось. Пьесы Маяковского провалились. Его впервые освистали на выступлении. Молодежь, вузовцы... Но главное все же — его не выпустили в Париж. Значит, ему не доверяют. Он знал, что «Агранныч» может сделать с теми, кому не доверяют.

Прошла осень, наступала зима. Он не ехал во Францию. Танечка решила, что он передумал жениться. Где ей было понять, как это происходит у них там, в Стране Советов? Ведь он не уставал всех убеждать: «Хорошо у нас в Стране Советов...» Он был так уверен в себе. Он так хвалил ихний режим, их свободу. И он так клялся в любви. И вот он не приехал.

До нее дошли слухи, что он женится на актрисе. Эльза постаралась все расписать. И конечно, Тане было обидно. Хотя она и не уверена была, что готова замуж, а все же обидно. И она сделала то, что делают обиженные девушки в таких случаях (если у них есть другие варианты — у Тани были). Она вышла замуж за виконта дю Плесси.

Маяковский, собравшись в Ленинград, забежал к Лиле за чемоданом, и она спокойно зачитала ему письмо Эльзы. Про то, как Танечка венчалась с виконтом. На ней были белое платье и флерд'оранж... Маяковский слушал молча. Потом схватил чемодан и выбежал вон не протившись.

Личный шофер товарищ Гамазин мерз у подъезда в его

личной машине. Надо было что-то сделать. Немедленно что-то сделать. Он понял: надо срочно жениться на Норе Полонской. Она ездила с ним на курорты, она по-своему любила его. Но она еще по-своему любила и мужа-актера и без памяти любила сцену. Маяковский заявил ей, что она должна немедленно бросить театр) И бросить мужа. Маяковский был в таком возбуждении, что она испугалась. Он показался ей ненормальным. Он без конца выяснял с ней отношения, скандалил. Ося и Лиля, не выдержав постоянных скандалов, уехали на два месяца в Англию. Им-то визу дали без труда. 14 апреля, через полминуты после очередного объяснения с Норой и отвергнутого ею очередного ультиматума, Маяковский пустил себе пулю в лоб. Цитата из старого стихотворения про «любвную лодку» и какой-то непонятный «быт» — «бытик», а также завещание были у него заготовлены заранее.

**Лиля и Ося вернулись из Лондона на похороны. Может быть, оба вздохнули с облегчением. В завещании Маяковский просил «товарища правительство» обеспечить его семью: мать с сестрами, Лилю и Веронику Витольдовну Полонскую. Веронику Лиля сразу оттерла от пирога. Ее вызвали на ковер куда надо, предложили ей путевку в дом отдыха: езжайте, отдохните, вместо прав наследования на миллионные тиражи. Она отказалась.**

**Ося и Лиля сели сочинять миф о его жизни и его гибели: Маяковского затравили враги! Кроме того, он любил Лилю (одну Лилю) до смерти — оттого и умер.**

**Школьником и студентом я, как и все, верил, что никакой Полонской в природе не существовало. А уж Танечка Яковлева-дю Плесси-Либерман — это вообще миф. Была одна «Лилиб-рик». Про «отказничество», естественно, ни слова. Это великая тайна. Ее раскрытие замутняло бы картину, и без того мутную.**

Интеллигенция позже рассказывала байки о том, что Маяковский разочаровался в режиме, потому что был настоящий революционер, потому что он верил. И его убили. Сталин убил или, может, враги революции убили. Или евреи. Нет, пардон, это Есенина евреи убили. А может, всех они убили, с них станется! А Маяковский верил в Ленина, очень его любил, очень любил пролетариев. Встречал их иногда на прогулке. Придумывал им

фамилии. Они, как живые у него. Например, рабочий Козырев. Еще он что-то такое любил, Маяковский. Компоты что ли? Нет, нет, не карты, не бильярд, а что-то возвышенное. Может, варенье? И люто ненавидел буржуазный образ жизни, бежал от него в Париж, ненавидел мещанство, деньги, канареек, хотя зачем-то все же подарил Лиле канарейку. Ненавидел деньги и собственность. Помните: «мне и рубля не накопили строчки». И он был прав: на рубль, даже тогдашний рубль, в Париже и дня не прожить. Поэтому брал он только червонцами.

**Недавно приезжал ко мне на хутор в Шампани знаменитый русский режиссер: предложил, чтоб я попробовал написать по такой вот «интеллигентской» схеме сценарий про Маяковского. Левым французским продюсерам понравится, дадут деньги на съемки.**

**Я предложил ему лучше взять какую-нибудь простенькую тайну. Скажем, отчего Маяковского вдруг не выпустили за границу? Вероятно, Лиля и Ося поговорили с Аграновым. Мол, что делать — увлекают в белоэмигрантские сети нашего поэта. Чуждые элементы. А он, раззява, утратил бдительность. «Да, Лиля, — кивал головой «Агранныч», — он вообще, распустился. Проигрывает классовым врагам в карты. Думаешь, мы не знаем? Мы так сделаем: пусть посидит дома, подумает над своим поведением». Скорей всего, так и было, хотя вряд ли это где-нибудь зафиксировано. Отказали и все тут.**

Режисер обиделся и уехал. А зря! Потому что палач и сталинский подручный Яков Агранов был Лилечке настоящим другом. Небось, это он через пять лет, когда ручеек гонимых у Лилечки стал иссякать, подложил вождю Лилино письмишко. Мол, зажимают наследие великого поэта революции!

Вряд ли Сталин читал или любил все эти стихи-«лесенки», но, значит, было кому объяснить, что стихи Маяковского соответствовали постановлениям и мыслям вождя. Вождь и наложил резолюцию: «Товарищ Ежов, Маяковский был и остается... лучший, талантливейший...»

Гонимые потекли к «лилебрику» полноводной рекой. Она жила очень долго и очень богато, а умерла от новой любви, в 85 лет, себя порешила от страсти.

А Эллочка-Эльза все же добила свою поэтическую жертву — Луи Арагона. Он сдался, и она повезла его в

Харьков. Там Лилины друзья взяли с него подписку, что он отрекается от «гнилого буржуазного сюрреализма» и однополого буржуазного секса. И, чтобы отныне про мужские глаза никогда не писал, только про женские («Вот есть у вас, камарад Арагон, голубые глаза товарища Каган-Триоле, про них и пишите, товарищ»). Он вернулся домой в Париж, заклеил Бретона, ушел в «сексуальное подполье», стал активистом компартии и, подобно Маяковскому, стал прославлять ГПУ, призывая его к более прочному укоренению во Франции («Приходи, ГПУ, приходи, И порядок у нас наведи. Всех врагов перебей, Поскорей!» — перевод в рифму, но точный.)

Эльза стала большой гранд-дамой компартии, боролась за мир, часто ездила в Россию, наблюдала там жизнь, а вернувшись, все писала наоборот. А все эти «русские тайны» держала при себе. Громила всех по очереди: «врагов народа», титовских фашистов и даже «безродных космополитов». Писала о Маяковском тоже: про то, как очень хитрый вор украл у него 25000. Писала даже про то, как он помер. А вот про то, что она о нем сообщала Лиле, и про то, как его перед самоубийством сделали «отказником», — про это ни слова. Не простой человек была Эльза. Не простой, но строгий, И спала только с мужчинами, как и положено члену компартии. А вот Арагон, хотя и член политбюро, оплошал: как только Эльза отбыла в мир иной, пустился во все тяжкие, с мальчишками. А ведь почтенный человек, и уже был в возрасте. Но это, наверно, от горя. И от скуки. Эльза померла, унесла в могилу все свои «русские тайны». И стало ему скучно и одиноко.

## Король взаперти

Этот дом в XVI округе Парижа (излюбленный некогда квартал русских — в Пасси) мало чем отличается от прочих пристойных буржуазных домов. Его квартиры были некогда доступны и эмигрантам, а теперь уж и не всякому французу по карману. (Похоже, что именно мечта о собственной квартире в этих местах довела до

самоубийства первого русского премьер-министра Франции, эмигрантского сына Петра Берегового, иначе — социалиста Пьера Береговуа.)

Впрочем, женщина, снимавшая тут просторную квартиру в конце 20 годов, Ромола де Пульски происходила из знатной венгерской семьи, была богата и вдобавок хороша собой. Ее всякий мог видеть, когда она выходила из дому, садилась в автомобиль или в коляску, подобрав подол элегантного платья. Но вряд ли хоть кто-то из обитателей дома знал тайну этой богатой квартиры. Редко кому удавалось проникнуть за ее массивную дубовую дверь. Там, в глубине квартиры, в отдельной комнате, которую отпереть можно было только снаружи, под неусыпным надзором слуг, домочадцев и санитаров, давно уже обитал бывший король парижской и мировой сцены, Вацлав Нижинский.

Возможно, и нам с вами не удалось бы даже одним глазком заглянуть за дубовые двери. Но случилось так, что однажды, летом 1929 года, когда Ромолы не было в Париже, свояченица Нижинского связалась с Сергеем Дягилевым и попросила его сделать последнюю попытку спасти Вацлава. И вот в квартиру отсутствовавшей Ромолы нагрянули гости. Среди них был новый возлюбленный Дягилева молодой солист балета Сергей Лифарь. Это благодаря его воспоминаниям об этом июньском дне, напечатанным лет через десять в эмигрантском журнале, мы можем представить себе атмосферу этого странного (для Дягилева почти предсмертного уже) визита.

Надо сказать, что это посещение было нелегким для него, нежно любившего когда-то Нижинского, свое творенье, своего лучшего танцовщика.

В гениальном Дягилеве, который умел быть и щедрым, и нежным, и безжалостным, этот нежданный визит пробудил, наверняка, много воспоминаний, и состраданье, и наряду с этим неумемное любопытство артиста.

Столько же любопытно, и, возможно, страшно было молодому любимцу Дягилева Сергею Лифарю, которому предстояло сейчас увидеть трагического, легендарного Нижинского, своего сломленного судьбой соперника — на сцене и в любви.

В Пасси, в квартире Нижинских, молчаливые слуги в больничных халатах повели гостей в просторную комнату, которая запиралась снаружи и которую нельзя было открыть изнутри. Там на низком широком матрасе увидели полуголого человека в носках и халате. «Он лежал, вытянув скрещенные ноги и грызя себе ногти... — вспоминает Лифарь. — Он бросил на вошедших взгляд исподлобья, а потом вдруг чудесно улыбнулся — так мило, хорошо, по-детски светло и ясно улыбнулся, что зачаровал своей улыбкой. И дальше он то мило улыбался, то мычал, то громко и неприятно-бессмысленно хохотал».

...В тот же вечер Лифарь и Дягилев повезли больного в театр.

«Он производил впечатление человека, поглощенного какой-то своей глубокой, тяжелой, неотвязной думой и потому не замечающего, что его окружает...» — пишет С. Лифарь.

По театру между тем пронесся слух, что появился Нижинский. К нему приходили в ложу, потом повели фотографироваться вместе с труппой. Дягилев рассказывал Лифарю, что во время спектакля, в ложе, Нижинский вдруг начал что-то чувствовать. Он раздумялся, а после спектакля не хотел из ложи уходить. Его вывели силой.

Несчастье случилось с Вацлавом Нижинским, величайшим танцовщиком мира, в год всех несчастий — в 1917-м году. Ему было тогда 27 лет. Он вышел из скромной семьи, закончил в Петербурге театральное училище, учрежденное еще в 1738 году по указу императрицы Анны Иоанновны при шляхетском корпусе.

Нижинский выделялся своими способностями еще в училище, а по окончании был принят в Мариинский театр, где танцевал в балетах, поставленных знаменитым Фокиным.

С 1909 года он участвовал в «Русских сезонах» Дягилева в Париже, где успех молодого танцовщика не знал себе равных. Для истории мирового балета это было открытие. Вот что писала по этому поводу знаменитая балерина Матильда Кшесинская:

**«До него классический танцор был поставлен много ниже балерины, его роль ограничивалась главным образом поддержкой и исполнением какого-нибудь ничтожного па, чтобы дать балерине передохнуть перед следующим номером. Благодаря же Нижинскому классический танцор был выдвинут на первое место наряду с балериной...»**

Еще дальше идут в оценке роли Нижинского другие русские артисты, скажем, постановщик Романов, который пишет: «Как Шаляпин, который в опере был не только певцом, но и великим актером, так и Нижинский был не только танцовщиком в балете». Кстати, и сам Нижинский предпочитал говорить, что он не «танцует», а «играет». Увидев его в балете Стравинского «Петрушка», великая французская актриса Сара Бернар воскликнула: «Мне страшно — передо мной великий актер мира!» А один из французских композиторов утверждал, что в жесте и танце Нижинского — «все страдания славянской души».

Восторженные статьи о Нижинском писал скульптор Огюст Роден. Что до критика французской социалистической газеты, то он требовал, чтобы правительство раздавало рабочим бесплатные билеты на спектакли с Нижинским. Рабочий класс, по убеждению критика, должен был лучше, чем буржуазные тартюфы, оценить этот великий танец. Ибо, как восклицал критик, «танец Нижинского — это не только танец, а сама стихия жизни». Я мог бы цитировать панегирики до бесконечности, но и без того уже ясно, что весь Париж, левый и правый, богатый и нищий, был у ног этой несравненной звезды мирового балета.

Рассказывают, что когда Нижинский выходил после спектакля из Театра Елисейских Полей, светские дамы, не щадя дорогих туалетов, опускались перед ним на колени, прямо на тротуаре. Нижинскому было всего двадцать лет. Он был простой, не слишком-то образованный танцовщик. Так что было от чего закружиться бедной его голове.

Беда, впрочем, пришла позже. Пока же, по возвращении из Парижа в Петербург он был неожиданно уволен из Мариинского театра. Предлогом послужил его якобы слишком вольный костюм в «Жизели». На самом деле, и Нижинский и Дягилев были уже слишком вольны для России.

Дягилев увозит своего любимца за границу, это была как бы «художественная эмиграция».

«Холостой, одинокий Дягилев окружает Нижинского отеческой заботой, — сообщает нам тот же Романов. — Дягилев занимается просвещением своего молодого друга». Да это было так. Возлюбленный Дягилева, Нижинский весь мир видел его глазами. Старший в этом союзе был и главным. Лифарь рассказывает, как однажды в Венеции Дягилеву пришла в голову идея постановки «Послеполуденного отдыха фавна» на музыку Дебюсси. Ставить этот балет он поручил Нижинскому (которому, без сомнения, помогал «мозговой трест» Дягилева — гениальный Бакст и другие). Позднее он доверил Нижинскому ставить «Игры» на музыку того же Дебюсси и, наконец, «Весну священную» Стравинского. Всего три балета! Их было достаточно, чтобы принести шумную славу Нижинскому, сделать его знаменитым на всю Европу.

**Вот как описывает Романов (сам тоже постановщик) финал «фавна»: «Убегающая от фавна Нимора оставляет в его руках легкую ткань от своей одежды. Потеряв подругу, фавн бережно расстилает ткань на земле и в любовном упоении припадает к ней телом и устами. Если принять во внимание, что роль фавна играл сам Нижинский с его огромной силой изобразительного таланта, то откровеннее представить зрелище патологического фетишизма было невозможно. Таким образом, хаос в зрительном зале нельзя считать неожиданным».**

Огромный скандал вызвала и «Весна священная» с ее, как писали шокированные критики, «ритуально-эротическим беснованием». В этот теплый майский вечер зал парижского театра содрогался от свиста и криков. Потом среди древнеславянских декораций вдруг появился в цилиндре и с тростью сам Дягилев, крикнул парижским зрителям, что они невежды, не понимающие гениального творения века.

Это был пик славы Нижинского. Но как отмечали, он стал меняться. Поскандалил с Фокиным. Ссорился с Дягилевым. В 1913 году Дягилев отпускает его с труппой на гастроли в Южную Америку, одного. Итак, Дягилева не было на борту корабля «Эйвон». Зато была там молодая и богатая поклонница Нижинского, следовавшая за ним по

пятам из страны в страну, — венгерка Ромола де Пульски. Она мечтает покорить короля мирового балета и стать женой короля. Были на борту и два толстовца из Дягилевской труппы, которые стали вбивать свои идеи в бедную голову танцовщика...

Роман с женщиной... Такого у неопытного Нижинского еще не было. Голова шла кругом. Едва сойдя на берег в Рио-де-Жанейро, они с Ромолой обвенчались. Узнав об измене Нижинского, Дягилев приходит в ярость и увольняет своего гения. А тут еще мировая война... Интернированный в Австрии, впервые оставшийся без балета, потрясенный Нижинский начинает погружаться в безумие.

В 1914 у него рождается дочь — Кира, в 1920 — дочь Тамара. Но его ли дочь? Нижинский подозревает, что настоящий отец — его лечащий врач. Он ведь давно уже живет в заточении — то в запертой комнате швейцарского отеля, то в лечебном заведении в Сэнт-Морисе. Зимой 1919 года он в последний раз в жизни танцует — в каком-то благотворительном спектакле, и в ту же зиму, на грани полного безумия, цепляясь за проблески мысли, начинает писать свой дневник...

Посетившие его Лифарь и Дягилев еще не знали об этом.

В 1936 году Ромола решает издать дневник мужа. Возможно, ей нужны были деньги. А, возможно, мечта о роли супруги короля (пусть даже безумного короля) ее еще не оставила.

Вместе с английской переводчицей она садится редактировать, кромсать рукописный русский текст, выбрасывая из него все, что может, на ее взгляд, скомпрометировать мужа, ее, семью, их брак, все эти непристойности, отчаянную эротику, намеки на ее отношения с доктором... Она превращает «записки сумасшедшего» в записки юриста.

Позднее, в 1959-м, дневник этот, переведенный уже с английского (так часто поступают с русскими оригиналами нелюбопытные и экономные французские издатели) был издан Галлимаром во Франции. Между тем, его подлинник был в 1978 году продан на аукционе Сотбис.

Французский переводчик решил уговорить дочерей Нижинского, живших в США, разрешить ему перевод подлинного дневника и его театральную постановку. Старшая, Кира, живет в Сан-Франциско. Ей больше 80. Когда-то Кира танцевала в фильме «Она танцует одна» и посвятила отцу этот танец. Младшая, Тамара, живет в штате Аризона. Она поделилась с французским корреспондентом удивительно нежными воспоминаниями об отце. Она ведь не видела его здоровым, но ей запомнились их молчаливое общение, атмосфера абсолютного спокойствия и понимания царившая когда они были наедине, его детские шалости и его ослепительная улыбка (которую описал и Лифарь). Она слышать не хочет о диагнозе «шизофрения» и говорит просто о «болезни». Ну да, отец был болен, но она общалась с ним, как общаются с любимыми, даже если они больны. Тамара пыталась донести до журналиста простую мысль о том, что любовь сильнее, чем любые слова, и чем даже сознание, и даже разум...

Дочери дали согласие на перевод и постановку полного текста отцовских дневников. И вот на Авиньонском фестивале под яркими звездами Прованса прозвучали эти записи, и безумная риторика текста с его бесконечными повторами, кружением на месте и неожиданным уходом куда-то в небо, с четкой, неповторимой логикой безумия — все это потрясло публику.

Вскоре после этого в том же Провансе, в Арле, в том самом издательстве, что лет десять назад вытащило из забвения на девятом десятке лет жизни русскую эмигрантку Берберову, вышел по-французски полный текст дневников Нижинского. Теперь французский читатель смог погрузиться в этот не скованный никакой интеллектуальной дисциплиной и стыдливостью мир знаменитого безумца, перед которым преклонялась Европа, то страдающего и кричащего от боли, то проказливо бесстыдного. Погрузиться в тексты, полные намеков на измену жены, реминисценций о мастурбации и еще Бог знает чего.

**«Бог понимает человека. Человек Бог, вот почему он понимает Бога. Я Бог. Я человек. Я добр, и я зверь. Я зверь, наделенный разумом. Я во плоти. Я сама плоть. Я сам от плоти. Плоть от Бога.**

**Я Бог. Я Бог. Я Бог... Я счастлив, потому что я и есть любовь. Я люблю Господа, вот почему я про себя улыбаюсь. Люди думают, что я стал безумцем...»**

Здесь и бесконечный спор с Дягилевым, и все драмы последних лет перед болезнью. Здесь наблюдения больного, который все видит, оставаясь незамеченным, здесь неожиданные прозрения, непреходящая обида и боль, боль от попытки думать, и от усилия все понять при помощи обостренного своего инстинкта, потрясавшего когда-то интеллектуалов и художников предвоенной Европы. В общем, настоящие, а не придуманные «Записки сумасшедшего» с их тысячью неразгаданных тайн, главная из которых, может быть, тайна безумия.

«...Дягилев думает, что он Бог искусства. Я думаю, что я Бог. Я хочу вызвать Дягилева на дуэль, на спор перед лицом мира. Я хочу доказать, что искусство Дягилева суцая глупость. Если мне помогут, я помогу людям понять Дягилева. Я работал пять лет с Дягилевым, без отдыха. Я знаю Дягилева лучше, чем он сам себя знает. Я знаю его сильные, его слабые стороны. Я его не боюсь. Мадам Эдвардс боится его, она принимает его за Бога искусства. Серт ее муж, но только не на бумаге. Он ее муж, поскольку он с ней живет. Серт на ней не женится, потому что считает недостойным светского человека жениться на женщине, которая жила с Эдвардсом. Мадам Эдвардс чувствует запах денег. Серт богат, потому что родители оставили ему наследство. Серт глупый художник, потому что не понимает того, что делает. Серт думает, что я глуп. Серт думает, что я бросил Дягилева по глупости. Серт думает, что я глуп, а я думаю, что он глуп. Я первым дам ему пощечину, потому что испытываю к нему любовь. Серт избьет меня за эту пощечину. В жилах Серта испанская кровь. Испанцам нравится бычья кровь, вот почему нравятся им убийства. Испанцы ужасны, ибо допускают убийство быков. Церковь и сам папа не могут остановить убийство быков. Испанцы думают, что бык хищный зверь. Торeadор плачет перед тем, как убить быка. Торeadору много платят, но им занятие это не нравится. Я знал много торeadоров, которым быки вспороли живот. Я сказал, что мне никогда не нравилось избиение быков, и меня не поняли. Дягилев сказал Мясиному, что коррида великолепное искусство. Я знаю, что Дягилев и Мясин скажут, что я сумасшедший и поэтому от меня не следует слишком много требовать. Дягилев всегда прибегает к этой интеллектуальной уловке. Ллойд Джордж так же поступает с политиками. Он, как Дягилев. Он думает, что его не понимают.

**Я их понимаю обоих, вот почему я против боя, против боя быков, а не против мычания. Я мычу, но я не бык. Я мычу, но убитый бык не мычит. Я Бог и я Бык. Я бычий бог Апис. Я египтянин. Я индус. Я индеец. Я черный, я китаец, я японец. Я иностранец, я пришелец, я не отсюда. Я морская птица. Я птица земная. Я древо Толстого. Я корни Толстого...**

**Я знаю, что суверен это человек, вот почему я не хотел, чтоб его убивали. Я говорил об этом убийстве со всеми иностранцами. Мне жаль суверена потому, что я любил его. Он стал жертвой зверей. Дикие звери — это большевики. Большевики боги. Большевики дикие звери. Я не большевик»**

Здесь многое узнаваемо. И соперник Мясин, молодой красивый танцовщик, которого Дягилев готовил на смену Нижинскому, и книга Толстого, которую читал Нижинский на корабле, и ссора с Дягилевым. И везде, конечно, это неизбывное потрясение — женщина, жена, Ромола, совместная жизнь. И спор об уме и безумии.

«Я огорчил мою жену, не поняв ее, и я извинился, но мне не перестают при каждом удобном случае снова говорить о моих ошибках. Я боюсь свою жену, потому что она меня не понимает. Она думает, что я безумный и злой. Я не злой, потому что я люблю ее. Я пишу о жизни, а не о смерти. Я вовсе не Нижинский, как она думает. Я Бог и я человек. Я люблю доктора Френкеля, потому что он меня чувствует. Доктор Френкель хороший человек. Моя жена тоже хорошая. Моя жена думает, что я все делаю нарочно. Я ей рассказал по секрету о своих планах, а она рассказала о них Френкелю, желая мне добра. Моя жена не понимает, в чем моя цель, потому что я ей не раскрыл эту цель. Она чувствует, и она поймет. Я понимаю, и она почувствует. Я не хочу думать, потому что мысль это смерть. Моя жена боится меня, потому что думает, что я злой. Я знаю, что я делаю. Я не желаю тебе зла. Я тебя люблю. Я желаю жизни, вот почему я буду с тобой. Я говорил с тобой. Я не хочу интеллектуальных бесед. Речи Френкеля — интеллектуальные, речи моей жены — тоже. Я боюсь их обоих. Я хочу, чтобы они сами почувствовали. Я знаю, что тебе грустно. Твоя жена страдает из-за тебя. Я не желаю смерти, вот отчего я и прибегаю ко всем уловкам. Я не раскрою свою цель. Пусть думают, что ты эгоист. Пусть посадят тебя в тюрьму. Я освобожу тебя, потому что знаю, что ты для меня. Я не люблю умную Ромолу. Я хочу, чтоб она из тебя вышла. Я хочу, чтоб ты была для меня. Я не хочу, чтоб ты любила меня любовью мужчины. Я хочу, чтоб ты любила меня любовью чувства».

И еще. О любви. О языке. О любви к иностранке...

«Милая моя и любимая Ромушка.

Я нарочно обидел тебя, потому что я тебя люблю. Я хочу, чтоб ты была счастлива. Ты боишься меня, потому что я изменился. Я изменился, потому что Бог этого желал. А Бог этого желал, потому что я этого желал. Ты вызвала доктора Френкеля. Ты поверила чужому, а не мне. Ты думаешь, что он согласен с тобой. А он согласен со мной. Он боится показать своей жене, что он ничего не знает. Он боится показать своей жене, что он ничто. Ничто, потому, что все, что он изучил, ничто. Я не побоялся бросить учебу и показать всему миру, что я ничего не знаю, Я не хочу танцевать, как прежде, потому что эти танцы — смерть. Смерть — это не только, когда умирает тело. Тело умирает, но дух жив. Дух это голубь, но в Боге. Я Бог и я в Боге. Ты женщина, как все другие. Я мужчина, как все другие. Я тружусь, больше, чем другие. Я знаю больше, чем другие. Ты поймешь меня позже, когда весь мир скажет, что Нижинский Бог. Ты поверишь тогда и согласишься. Ты скучаешь, потому, что ты не хочешь трудиться. Я хочу погулять с тобой, а ты не хочешь погулять со мной. Ты думаешь, что я болен. Ты так думаешь, потому что доктор Френкель тебе сказал, что я болен. Он думает, что я болен, потому что он думает, что я болен. Я пишу в своей тетради, потому что хочу, чтоб ты читала по-русски. Я научился говорить по-французски. Ты не хочешь говорить по-русски. Я плакал, когда я чувствовал твой русский. Тебе не нравится, когда я говорю по-венгерски. Мне нравится венгерский язык, я — венгерский язык, потому что ты — это венгерский язык. Я хочу жить в Венгрии. Ты не хочешь жить в Венгрии. Я хочу жить в России, ты не хочешь жить в России. Ты не знаешь, чего ты хочешь, а я-то знаю, чего я хочу. Я хочу построить дом. Ты не хочешь жить в доме. Ты думаешь, что я глуп, а я думаю, что ты идиотка. Идиотка — это ужасно. Я глуп, но я не идиот. Ты идиотка, но ты не глупа. Я глуп, я глуп. Человек, что глуп, это труп, а я же не труп. Труп, труп, труп, а я не труп. Я не желаю тебе зла. Я люблю тебя, тебя. Ты не любишь меня, не любишь. Я люблю тебя, люблю тебя.

Ты показать не хочешь, что любишь меня. Скажу тебе, что ты любишь меня, ты любишь меня. Хочу сказать, что люблю тебя, люблю тебя.

Люблю тебя. Люблю тебя. Хочу сказать тебе, что ты любишь мя и мя».

Дальше те же признанья и заклинанья стихами, страницами, две, три... За последней строкой стихов — снова проза:

«Я был голоден. Меня позвали на обед. Я обедаю в час. Я не стал есть, потому что почувствовал запах мяса. Жена хотела есть мясо. Я оставил нетронутой свою тарелку мясного супа. Жена

обиделась. Она думала, что мне противна пища. Мясо мне противно, потому что я знаю, как убивают животных и как они плачут. Я хотел показать ей, что брак не для того, чтоб у людей были одинаковые взгляды. Я бросил на стол обручальное кольцо. Потом я подобрал его и снова надел. Моя жена стала нервничать, потому что я снова его бросил. Я бросил его второй раз, потому что я почувствовал, что ей хочется мяса. Я люблю животных, поэтому я сожалею, когда приходится есть мясо, потому что я знаю, что если я ем мясо, придется убивать больше животных. Я ем мало. Я ем только, когда я голоден. Моя жена ест много. Ей меня жалко, потому что она думает, что я должен есть мясо. Я люблю хлеб с маслом и с сыром. Я люблю яйца. Я ем мало для моего роста. Мой желудок работает лучше, когда я не ем мяса. Мой живот поднялся, а раньше он был опущен. Он был опущен, потому что кишки были раздуты. Кишки раздуваются, я это заметил, когда ешь много мяса. Мясо не оставляет желудок в покое. Раньше болел живот, а теперь не болит. Я знаю, что многие врачи скажут, что это все глупости. Что надо есть мясо, потому что мясо необходимо. А я отвечу, что мясо вовсе не является необходимым, потому что мясо пробуждает желание. С тех пор, как я не ем мясо, у меня пропало желание. Мясо — вещь ужасная. Я знаю, что дети, которые едят мясо, занимаются мастурбацией. Я знаю, что молодые девушки и юноши занимаются мастурбацией. Я знаю, что мужчины и женщины, вместе и врозь занимаются мастурбацией. Мастурбация развивает глупость. Человек утрачивает чувства и разум. Я утрачивал разум, когда занимался мастурбацией. Нервы были у меня напряжены. Я весь трясся в ознобе. У меня была головная боль. Я бывал болен. Я знаю, что Гоголь занимался мастурбацией. Я знаю, что мастурбация его погубила. Я знаю, что Гоголь был человек разумный. Я знаю, что Гоголь умел чувствовать. Чувства его притуплялись с каждым днем. Он почувствовал смерть, потому что он порвал свои последние произведения. Я не порву мои произведения, потому что я не хочу заниматься мастурбацией. Я много занимался мастурбацией и был страшный онанист. Я плохо понимал Бога и я думал, что когда я занимаюсь мастурбацией, он желает мне блага. Я знал многих женщин, которые имели привычку сидеть нога на ногу. Эти женщины часто занимались мастурбацией. Мужчина может сидеть нога на ногу, потому что его тело устроено иначе. Многие женщины считают, что это красиво — сидеть нога на ногу. Я считаю, что это некрасиво, ибо то, что хорошо для мужчины, не так хорошо для женщины. Я не хотел бы, чтоб Кира клала ногу на ногу, но она это делает, потому что она заметила, что другие не делают ей замечание. Кира еще маленькая и не понимает, что она делает. Я ей часто говорил, что не надо спать на животе. Я спал на животе, но это потому что у меня маленький живот, так что

я могу это делать. Люди, у которых большой живот, не должны спать на животе. Мужчина должен спать на боку, а женщина на спине...

...Моя жена чувствует, что не надо есть мясо, но она боится от него отказаться, потому что доктор Френкель ест мясо. Она думает, что доктор Френкель больше смыслит в медицине, чем я. Я понимаю, что доктор Френкель ничего не понимает в медицине, как и многие другие врачи и профессора. Врачи и профессора любят много есть, потому что они думают, что мясо дает физическую силу. Я думаю, что физическую силу дает не питание, а разум. Я даже сказал бы, что можно питаться разумом, потому что разум распределяет питание. Я ем столько, сколько мне рекомендует разум. Теперь я много ем, потому что чувствую большой голод. Я убежал из дому, потому что жена не поняла меня. Она боится меня, а я боюсь ее. Я ее боюсь, потому что я не хотел есть мяса. Она боится меня, потому что она подумала, что я не хочу, чтоб она ела. Она думала, что я хочу уморить ее голодом. Я хотел ей помочь, вот почему я не хотел, чтоб она ела мясо. Я убежал из дому. Я бежал, спускаясь все ниже и ниже по склону горы, на котором стоит наш дом. Я все бежал и бежал. Я ни разу не споткнулся. Какая-то незнакомая сила несла меня вперед. Я вовсе не обижен был на жену. Я бежал спокойно. У подножья горы стоял маленький городок Сент-Мориц. Я спокойно прошел через Сент-Мориц. Потом я свернул на дорогу, ведущую к озеру. Я ускорил шаги. Проходя через городок, я заметил доктора Френкеля, который шел к моей жене. Я понял, что она позвонила ему и попросила его придти...»

Тексты эти уже несколько лет, как звучат на французской сцене. Проходя по улочкам Пасси, я смотрю на окна, за которыми скрыто так много русских тайн. За одним из них томился узник Нижинский. Отбыв тридцатилетний срок заключения, он скончался в Лондоне шестидесяти лет отроду. Тело его было перевезено в Париж и захоронено на тенистом Монмартрском кладбище, неподалеку от могилы писателя Теофиля Готье (бывшего кумиром Н. Гумилева и автором текста «Жизели»), а также от могил Эммы Ливри и Гаэтано Вестриса, прославленных французских коллег бедного русского гения. Я был там совсем недавно. Новенькая, модная дамская шляпка лежала на могильной плите. Видно какая-то поклонница Нижинского наткнулась, как и я, на эту могилу, праздно проходя по аллее, а так как цветов у нее не было, оставила шляпку...

Антонин ЛАДИНСКИЙ

## СТРАНИЦЫ ВОСПОМИНАНИЙ

*Антонин Петрович Ладинский (1896—1961) — писатель, много лет провел в эмиграции. В 1930-х годах выпустил несколько стихотворных сборников, сотрудничал в газете «Последние новости». В годы Второй мировой войны примкнул к тем русским эмигрантам, которые приняли советскую ориентацию, участвовал в созданной после освобождения Парижа от фашистской оккупации газете «Русский патриот» (позднее переименованной в «Русские новости»);*

*с 1946г. гражданин Советского Союза. Вернувшись в 1955г. на родину, поселился в Москве.*

*Автор нескольких исторических романов, написанных частью в эмиграции, а частью уже в СССР («Когда пал Херсонес», «Анна Ярославна — королева Франции», «Последний путь Владимира Мономаха» и др.). В 1956 г. закончил работу над «Парижскими воспоминаниями», в которых рассказал о Бунине, Бальмонте, Тэффи, Саше Черном и других писателях-эмигрантах.*

## Бунин\*

В последние зарубежные годы Бунин жил в Париже, в тихом квартале Пасси. В этом шестнадцатом округе французской столицы сто лет тому назад, когда здесь встречался с Ганской Бальзак, была настоящая деревня и в рощах прыгали дикие кролики. Теперь это чопорный и буржуазный уголок Парижа, без маленьких бистро, которыми полны парижские улицы. Здесь на малолюдной улице Жак Оффенбах у Буниных была скромная квартира. Недалеко от него жили Мережковские, Тэффи.

Но летние месяцы Бунин обычно проводил на юге Франции, в Грассе, недалеко от Канн. Грасс — сонный городок в Провансе, в котором много парфюмерных фабрик. Вилл... Опущенные жалюзи... Здесь Бунин долгие годы жил на вилле «Бельведер», предоставленной в его распоряжение поклонниками. Здесь он написал многие свои книги, среди чудесных южных пейзажей. Кто бывал в Крыму, тот легко может представить себе этот мир. Очень много солнца, безоблачное небо, голубоватые горы на горизонте, а на соседних холмах древние, пурпурные к осени, виноградники, розоватые дома с голубыми ставнями под красной черепицей и у круглого каменного колодца серебристые оливы. Целый день поют в этом зное цикады, а по вечерам особенно сильно пахнет лавандой, мятой, пиниями и еще какими-то травами и злаками. Не потому ли в последних книгах Бунина так много солнца и ароматов?

Но чаще всего встречаться мне приходилось с Буниным в Париже, в литературные сезоны, когда уже стоят над Сеной зимние голубоватые туманы. По парижскому обычаю такие встречи происходили в монпарнасских кафе, которые представляют собою одну из особенностей парижской жизни.

Приходилось не раз сидеть с Буниным в таких кафе, и теперь приятно и грустно вспоминать об этом.

Чаще всего это происходило на Монпарнасе, в огромном кафе «Куполь» или в старомодном «Доме», или за стойкой «Доменика», или где-нибудь на романтической улице Ласточки, в старинном кабачке «Ля Болле», где молодые поэты читали свои стихи, привлеченные сюда призраком Верлена, что пил здесь некогда абсент. Здесь спорили до хрипоты о стихах, и Бунин курил и молча слушал молодежь.

В последние годы Бунин стихи почти не писал. Зато чем дальше он жил, тем ароматнее и поэтичнее становилась его проза: «Солнечный удар», «Лика», «Митина любовь», «Жизнь Арсеньева» и другие. Справедливость требует заметить, что эти произведения уступают по силе образов тому, что Бунин писал

в России, например, замечательной повести «Деревня». Но в вещах зарубежного периода, особенно в романе «Жизнь Арсеньева», который Бунин, между прочим, отказывался считать автобиографическим, или в прелестной повести о Лике появилось какое-то сияние, то сладкое и горестное в описаниях молодой любви, на что писатель способен только в полном расцвете своего таланта и на склоне жизненного пути. Это было особенно заметно у Бунина.

Но странно, среди прелестных южных пейзажей Прованса и в голубоватом парижском тумане Бунин писал только о России. Да, у него есть прославленный рассказ «Господин из Сан-Франциско». Однако почти все остальное — русская довоенная провинция, русские города и деревни, усадьбы скудеющего дворянства. Бунин не хотел писать на эмигрантские темы и во всей красоте и сочности сохранил чудесный, русский, бунинский язык, в котором каждое слово на вес золота.

У меня было к нему дело, о котором мне было поручено переговорить с ним. Как всегда осторожно, сдержанно и со всякими оговорками Бунин выслушал меня, дал свое согласие на встречу с одним лицом, и разговор перешел на другие темы. Мы стали говорить с ним о никчемности существования эмигрантского писателя, с жалкими тиражами, а главное, без всякого воздуха, с узким выбором тем.

— Ведь о советской жизни нам трудно писать, Иван Алексеевич.

— Верно.

— Вот почему некоторые ушли у нас в исторический роман, другие питаются воспоминаниями о прошлом или растворяются в сомнамбулической атмосфере, которую создал Кафка...

— Это вы про Сирина? А все-таки хорошо пишет!

Кафка в том четвертом измерении, которое он выдумал, стараясь вызвать у читателя новые и неведомые «содрогания», как написал о нем один критик, влиял на некоторых французских и эмигрантских писателей.

Все труднее становилось издавать книги за рубежом на русском языке. И все-таки у Бунина было горделивое сознание, что его-то книги попадут на родину.

Недалеко от нас сидела влюбленная пара. Должно быть, молодой художник, судя по претенциозной бородке и бархатной куртке, и молоденькая парижанка с прической а la Греко, т.е. со связанными на затылке в пучок волосами. У стойки шумели матросы. Парень в синем переднике наливал им красное вино, лихо перевернув вниз горлышком бутылку и в нужное мгновение, наполнив стаканы до края и не пролив ни единой капли, снова переворачивал ее в нормальное положение. Это был своего рода шик.

\* Публикуется с незначительными сокращениями.

Бунин курил и грустными глазами наблюдал эти сценки, и его грустный взгляд старика, которому жаль расставаться с миром, яснее определял бунинское творчество, чем многословные статьи литературоведов и критиков. Видно было, как ему хотелось запечатлеть эту молодую любовь в образах, чтобы она не исчезла бесследно. Видно было, что он любит жизнь и что в этой любви и заключается сущность бунинского очарования.

Мне приходилось бывать с Буниным среди веселящейся молодежи. Бунина в последние годы тянуло туда, где музыка, где танцуют, хотя сам он не танцевал, где можно в нарядной обстановке выпить стакан вина. Он терпеть не мог «скучных материй», как он говорил, философствования и переливания из пустого в порожнее. Иногда на каком-нибудь собрании академического характера, когда бородатый оратор говорил выспренне о «моральных идеалах» или разглагольствовал о проблеме добра и зла, Бунин шептал, не спуская глаз с философа: «А может быть, сегодня где-нибудь вечеринка есть? А что если поехать на людей посмотреть?»

С важным видом, якобы связанные какими-то обязательствами и якобы с сожалением, мы выходили на цыпочках при явной зависти менее решительных слушателей, садились в такси и ехали куда-нибудь на вечеринку, где была музыка и было много молодых женщин. Бунина влекло в залитые светом залы, как будто бы он хотел заглушить какую-то душевную тревогу. С этой тревогой были явно связаны его мысли о смерти.

Иногда его смущала мысль, что нарождаются новые имена и его могут забыть. Он с грустью говорил: «Писатели, как людоеды: у нас молодежь поедает стариков». Может быть, это была очередная бунинская шутка. И снова он смотрел на танцующие пары...

Бунин не любил разговоров о литературе. Он раз бросил: «Надо писать, а не рассуждать о том, как писать»...

У меня не было случая наблюдать за процессом его творчества и неловко было залезать в его святая святых, но я часто видел, как он правил корректуру своих рассказов, так как писал в той же газете «Последние новости», что и он. В редакторском кабинете он нацеплял на нос старомодное пенсне, брал гранки в руки и вдруг становился серьезным. В этой нахмуренной строгости выражалось его сознание ответственности за написанное. Он понимал, что это последний момент, когда еще можно изменить фразу, найти другой эпитет, исправить ошибку. Гранки он правил очень тщательно, не считаясь с тем, что одно новое слово, вставленное в строку, потребует перебора всего абзаца. Закончив корректуру, Бунин писал своим крупным и четким почерком: «так печатать» и ставил подпись. Выпускающий с почтительным поклоном брал гранки, чтобы

немедленно отправить их в типографию. Наутро русские парижане читали отрывок из нового бунинского романа на двух подвалах. Коммерческий директор газеты, человек весьма меркантильный, как все коммерческие директора, вздыхал за разметкой гонорара: «Дороговато. Зато первый сорт».

Хотелось бы прибавить к образу Бунина еще несколько маленьких житейских штрихов. Ведь особенно всякого рода мелочи делают человека в нашем представлении живым.

Как и в своих писаниях, Бунин был способен сказать резкое слово, определить человека одним словом и не любил мягкотелости. Он очень боялся болезней. Если простуженный подходил к нему слишком близко, Бунин махал на него руками: «Не заражайте меня вашими чиханьями...»

Как у всякого человека, были у Ивана Алексеевича и маленькие слабости. Он очень гордился своим дворянством, писал и говорил, что его род уже дал России двух поэтов: Жуковского, сына Бунина и пленной турчанки, и Анну Бунину, а также многих государственных деятелей. Поверим Бунину на слово, хотя что-то не приходилось встречать государственных деятелей в российской истории с такой фамилией, и едва ли это были чиновники выше губернаторского ранга.

Бунин любил почет, уважение, впрочем, вполне заслуженное. Любил вспоминать, что как академик он имеет право на титул превосходительства. Рассказывая о своей академической деятельности, он вспоминал:

— На первом моем заседании в академии около меня сидел какой-то старичок с белым пухом на голове. Вдруг он меня спрашивает: а помните, ваше превосходительство, какой снег шел, когда баснописца Крылова хоронили?

Он любил вкусно поесть, любил и все красивое, очень тонко чувствовал природу, испытывал томление по женской красоте, но больше всего ценил талантливую книгу. Однако понимал толк и в хорошем вине, и в старом арманьяке, хотя во всем и везде соблюдал собственное достоинство.

Жилось ему на чужбине не очень хорошо. Куда-то расплылась Нобелевская премия, и по-прежнему он устраивал свои литературные вечера, билеты на которые распространял особый «дамский комитет». По установившейся традиции эти вечера устраивались в нарядном зале отеля «Лютеция», на Левом берегу. Читал он свои произведения превосходно, очень просто, без всяких ритмических приемов, и было в его чтении какое-то русское благородство. Весь вечер Бунин выдерживал на своих плечах. В последние годы, чтобы поддержать свои силы, вынимал перед чтением аптекарскую бутылку с коньяком и преспокойно наливал содержимое в стакан, стоявший на пюпитре. За чтением время от времени он прихлебывал из стакана.

Трудно сказать, что он думал в глубине своей души о России, о революции. Человек он был довольно сложный, несмотря на наружную и как бы нарочитую простоту. Уже в молодости его одолевали противоречия. В своем путевом очерке «Тень птицы» он писал тогда: «Я хорошо знаю, что можно любить тот или иной уклад жизни, что можно отдать свои силы на созидание его... Но при чем здесь родина? Если русская революция волнует меня все-таки более, чем персидская, я могу только сожалеть об этом. И воистину благословенно каждое мгновение, когда мы чувствуем себя гражданами вселенной».

Это своего рода молодой и благородный космополитизм. Но именно молодой. Когда человека потреплют жизненные бури, ему приятно вспомнить, что есть свой дом, родина, могилы отцов. Бунин не мог не вспомнить об этом на чужбине.

Он, по-видимому, не представлял себе жизнь вне русской стихии. Бунин не делал особых усилий, чтобы войти во французскую среду, и так и не прижился к чужой жизни, несмотря на всю любовь к уютному Парижу или к милым пейзажам Прованса.

Он не любил разговоров на тему о возвращении на родину, отговаривался своей старостью. Мол, «мне уже помирать пора, ну куда я поеду на старости лет, привыкать к новой жизни».

Однажды был с Буниным особенно длинный разговор на эту тему. В тот вечер он назначил мне свидание в одном кафе на Монпарнасе, где так любил бывать Маяковский,

Это было угловое кафе «Дом», где не в пример другим монпарнасским кафе с их модернизированными залами, огромными зеркальными окнами и обилием электрического света сохранилась в те годы старая парижская обстановка: молескиновые диванчики вдоль стен, не очень опрятные передники гарсонов, старомодные мраморные столики, цинковая стойка.

Как обычно по вечерам, в кафе уже стояли облака табачного дыма. За столиками сидели завсегдатаи: художники в клетчатых куртках, незадачливые литераторы с косматыми прическами, непризнанные гении. Многие из них проводили за чашкой кофе одинокий вечер, потому что дома было нетоплено. Они попыхивали трубками, говорили о Матиссе или о Браке. У стойки шумели подвыпившие матросы с красными помпонами на синих шапках.

Мы уселись с Буниным за свободный столик и заказали по рюмке «мара». Есть такая французская крестьянская водка. Помню, Бунин понюхал рюмку и сказал:

— Хороший мар, новыми сапогами пахнет!

Это было вполне бунинское определение. Действительно, как и сливовица, мар припахивает немного кожей.

## Бальмонт

Имя Бальмонта в предреволюционные годы гремело на всю Россию. Такие его книги, как «Горящие здания» и «Будем как солнце», пользовались большой популярностью и были своего рода программными. Мастерство Бальмонта считалось очень высоким. Например, такие стихи, как звукоподражательные «Камыши» или стихи об Амстердаме:

О, тихий Амстердам,  
С печальным перезвоном  
Старинных колоколен...

В гимназические годы мы подражали стихам Бальмонта и завидовали его «красивой жизни». И вот пришлось столкнуться с ним в Париже.

Представители старшего поколения, вероятно, помнят оригинальный облик Бальмонта. Таким он оставался и до конца своих дней. Острая испанская бородка, длинные кудри до плеч, которые были некогда золотыми, а на чужбине поседелели. Все так же носил он широкополую черную шляпу и высоко закидывал голову. Это был надменный и гордый поэт, не желавший признавать себя побежденным. Однако жизнь победила.

Один писатель рассказывал, как Бальмонт вступил однажды в каком-то ресторане в бурное объяснение с официантом. Официант толкнул его, и Бальмонт упал. Но, лежа на земле, он горестно взывал:

— На кого ты поднял руку? На поэта.

В ресторане смеялись, лакей был совершенно уверен в своем превосходстве, и тучный трактирщик негодовал по поводу скандала в его приличном заведении. И здесь поэт был побежден. Но не жизнью, а пошлостью.

Но это был поэт. Всю свою жизнь он писал и даже думал стихами, и даже проза его перемежается стихами. Правда, за рубежом он уже перепевал самого себя, и его стихи превратились в сплошные составные слова: «златоструйный», «светозарный» и что-то в этом роде, что ничего не говорит ни уму, ни сердцу. Однако до конца своих дней он сохранил престиж блистательного поэта.

Это был человек большой эрудиции и отличный лингвист. Бальмонт читал трудные книги и заглядывал в глубь веков. Гомера он читал по-гречески, Тацита — по-латыни, Сервантеса — по-испански, Гюго — по-французски, Шекспира — по-английски, Стриндберга — по-шведски. Он много переводил. Одна из его культурных заслуг — перевод на русский язык стихами «Рыцаря в барсовой шкуре», над которым он работал с 1912 года, а

закончил только за рубежом. Но это стихи Бальмонта, а не Руставели, поскольку мы не можем судить о них, не зная грузинского языка.

Однажды мы возвращались с Бальмонтом с какого-то литературного собрания. Разговор шел о далеких временах, и когда я привел какое-то свидетельство из «Писцис-Софии», Бальмонт бросился меня обнимать: «Голубчик, вы читаете «Писцис-Софию»!» Есть такая апокрифическая книга на коптском языке, найденная сравнительно недавно в каком-то эфиопском монастыре и изданная во французском переводе. Видно было, что Бальмонту было приятно встретиться на своем пути, где он был в полном одиночестве, еще одного случайного спутника. В наши дни кто станет забираться, кроме специалистов, в такие темные дали?

Почему-то запомнилась эта встреча с Бальмонтом. Разговор происходил на пустынной парижской улице, при слабом свете газового фонаря. Было за полночь. Окна в соседних домах по французскому обычаю закрывали жалюзи. Это происходило где-то в Латинском квартале. Буржуа уже спали давным-давно, а вот Бальмонт в бессоннице бродил по Парижу, и я сам никогда не чувствовал себя так поэтом, как в те минуты.

За рубежом Бальмонт очутился в 1922 году. В России, перечитывая «Историю» Соловьева, он негодовал на свою страну и как библейский пророк страстно и гневно обличал грехи своего народа. В такие моменты он мечтал о лазурном небе Италии или о райских цветах и птицах Мексики, где он побывал во время одного из своих путешествий. Но, очутившись за рубежом, он стал испытывать приступы тоски по России, едва переехав границу. Он готов был вернуться домой «хотя бы на крайние лишения». В том же самом 1922 году он писал близкому человеку: «Хочу в Россию... Духа нет в Европе. Он только в мученической России...»

В одном из своих пышных сонетов, в котором он пишет об ибисах, фламинго и подобной египетской экзотике, Бальмонт вздыхает:

Но пусть пленителен богатый мир окрест,  
Люблю я звездную России снежной сказку  
И лес, где лик берез, венчальный лик невест...

Его тянуло в Россию. «Я русский, а не гражданин вселенной», — писал он за рубежом, не в пример Бунину.

Во Франции Бальмонт жил в первые годы на берегу океана в Бретани, а позднее в парижском предместье Кламаре. Иногда он совершал поездки на Балканы или в Польшу, читал лекции в Сорбонне. Некоторые его книги были переведены на французский язык. Он жил обособленно, не водил дружбы с другими писателями, иногда в большой нужде, но оставаясь высокомер-

мым поэтом и сохранив верность «поэтической шляпе» и «высоким воротничкам».

До конца его дней с ним была его верная подруга, Елена Константиновна Цветковская, которую он несколько торжественно и претенциозно называл Еленой. Это было кроткое существо, отдавшее всю свою жизнь поэту. У них была дочь, названная в честь поэтессы Лохвицкой Миррой. Впрочем, она и теперь живет в Париже. Девушкой она писала стихи, которые отец считал гениальными, говорил, что Мирра похожа на редкостный цветок. Потом Мирра вышла замуж. Теперь у нее целая куча детей. Не знаю, что случилось с ее действительно милыми стихами.

Однажды приехал из дебрей Африки в Париж в отпуск русский врач, служивший французским санитарным инспектором где-то на берегах Убанги. Хотя у него французская фамилия, но в те годы он писал стихи о березках и весьма почитал Бальмонта. В знак уважения он решил угостить поэта вкусным ужином.

Ужин состоялся в русском ресторане, но меню было типично французское. Помню, Бальмонт заказал для себя: «Тюрбо, шатобриан, грушу!» Около нас, как всегда в таких ресторанах, суетились метрдотель и официанты. По французскому обычаю в заключение были поданы сыры и к ним в плетеной корзиночке лежала еще одна бутылка Поммара.

Африканскому доктору очень хотелось, чтобы Бальмонт почитал свои стихи, но после второго стакана вина Бальмонт, как всегда, опьянел, а его опьянение немедленно превращалось в какое-то безумие. Вдруг в нем просыпалось в такие минуты непонятное раздражение, он начинал говорить дерзости, произносил грубые ругательства, грубо обращался с женой, хотя за этой грубостью было видно какое-то горе, которое он срывал на близком человеке. Вечер был окончательно испорчен.

Когда Бальмонт пил, его глаза делались безумными, злыми, но в нормальном состоянии, в разговоре с собратом, с теми, кому он симпатизировал, он оставлял свои надменные позы, и глаза его делались совсем добрыми. Такие глаза и запомнились.

## Грэта Гарбо

*Рассказ*

Алла Владимировна жила в районе Дюплекс, в скромном отеле «Британия». Места кругом людные, но скучные и грязные. На улице целый день слоняются безработные арабы с выщербленными оспой лицами и с кадыками худых шей, подозрительные типы в лиловых затасканных пальтишках, простоволосые женщины в ночных туфлях с помпонами, занятые выбором салата

или сыра в местных лавчонках. И эти худые шеи в грязных шарфах, дешевые пальтишки, засаленные кепки, горсточки медных и алюминиевых монет говорят о бедности, о болезнях, о тупой покорности судьбе. Здесь часто слышится русская речь, простая, почти превратившаяся в какой-то жаргон, со словечками «пошамать» вместо поесть, «франчей» вместо франков. В этих серых, однообразных домах течет скучная жизнь, без интересных книг и красивых надежд.

Алла Владимировна занималась шитьем белья и порой сидела за иглой ночи напролет или хлопотала по хозяйству, готовила однообразный обед, а в свободное время читала запоем романы Минцлова. Иногда приходили гости, пили чай, говорили о какой-нибудь смешной статейке в русской газете, рассказывали друг другу случаи из шоферской практики: муж Аллы Владимировны был шофером. По пятницам, когда в местном «Мажик-Паласе» менялась программа, отправлялись компанией в кинематограф.

Раз в неделю муж имел свободный день. Тогда он с утра надевал домашние туфли, ложился на кровать и, наслаждаясь отдыхом, перечитывал газету или решал крестословицы.

— Аля, — спрашивал он, — английский историк и порода обезьян?

— А? — вздрагивала Алла Владимировна, просыпаясь от своих женских грез над иглой.

— Я говорю, что такое английский историк или порода обезьян?

— Почему же я знаю.

— Не знаешь? Эх, ты, — добродушно ворчал муж, — чему вас в институте учили.

Константин Сергеевич Круглов — бывший полковник, еще не старый, но довольно мрачный человек, с бурыми толстыми усами, с металлическими очками на крупном носу. Он всегда был примерным тружеником, а теперь целиком отдался своим шоферским обязанностям, и из-за этого мало чем интересовался. Кроме своей семьи, была у него в Болгарии еще сестра — вдова с тремя детьми, на которую уходила половина заработка.

С Аллой Владимировной они поженились лет пятнадцать тому назад, и все в их жизни шло более или менее гладко, если не считать мимолетных сцен по поводу пересоленного супа. Но иногда Алле Владимировне казалось, что чего-то недостает в ее жизни, а романы и американские фильмы напоминали ей, что существует иная жизнь, красивая и богатая, полная музыки, бриллиантов и роз. Иногда, оставаясь наедине, она устраивалась перед зеркалом и долго рассматривала свое лицо, свою увядшую миловидность, которую в глубине души считала красотой. Может быть, когда-то она и была хороша, но хроническое мало-

кровие, запущенные по бедности зубы, маленькие припухлости у краев рта преждевременно старили ее и лишали той прелести, что бывает у сорокалетних, живущих в довольстве и холи женщин. Но себе самой она казалась хорошенькой, поэтичной и ей было грустно, что ее жизнь проходит так тускло, с хорошим, но с таким простым мужем, называющим ее при посторонних — «мать».

— Приготовила, мать, белье? Пойдем что ли, мать, домой.

Однажды в коридоре отеля она столкнулась с незнакомым молодым человеком, который разговаривал по-русски с маленьким старичком в котелке. Она была в халатике и, стесняясь своего костюма, поскорее проскользнула в номер. Она чувствовала на себе взгляды мужчин, какую-то связанность в движениях, и ее спина, обтянутая голубым халатиком, женственно колыхалась. Вернувшись в комнату, она подошла к платяному шкафу, в котором висели ее скромные платья и синий «выходной» костюм мужа и поправила перед зеркалом прическу. Ее лицо порозовело от волнения, от того, что она попала на глаза незнакомым мужчинам в таком виде. Рассмотреть их она не успела, но ей показалось, что молодой смотрел на нее улыбаясь и что у него приятное, бритое лицо.

Потом они познакомились внизу у телефонной будки. Он оказался новым жильцом, декоратором на мебельной фабрике. Звали его Александр Федорович Пружало. В одно из воскресений она пригласила его, как соседа, на чай.

Первый визит прошел не совсем гладко. Муж рассказывал гостям о возмутительном случае, когда на него был составлен протокол из-за каких-то пустяков.

— Поехал я на Распай, — рассказывал Круглов, — думаю, может быть, клиента поймаю, а тут меня перегоняет частная машина...

В это время Пружало постучал в серую дверь, на которой висела эмалированная пластинка с номером «25».

— Войдите, — пропела Алла Владимировна, которая не без волнения поджидала молодого соседа.

Пружало вошел и увидел обычную в таких случаях обстановку: чайник на примусе, несколько человек гостей, широкую двуспальную кровать, покрытую пикейным покрывалом, эмалированный кувшин в такой же чашке с розовыми узорами.

— Это наш сосед, мсье Пружало, — представила его хозяйка, позабыв его имя-отчество.

Мужчины привстали.

— Очень приятно, — сказал Круглов и мрачно посмотрел на Пружало.

— Садитесь, пожалуйста, — пригласила гостя к столу Алла Владимировна, — хотите чаю?

В комнате наступило неловкое молчание, а Константин Сергеевич, подождя минутку, довольно бесцеремонно продолжал:

- Перегоняет меня машина, а тут и полицейский стоит...
- Вам сколько кусков сахара? — ухаживала за гостем хозяйка.

Во время своих посещений Пружалю, помня холодный прием во время первого визита, старался бывать у Кругловых, когда мужа не было дома. Алла Владимировна ему нравилась. Случилось это, может быть, потому, что он впервые увидел ее в голубом халатике, когда у нее колыхалась спина под его взглядом. Со своей стороны Алла Владимировна охотно принимала его ухаживания, потому что они вносили в ее жизнь приятное разнообразие в давно позабытое сознание, что и она вызывает у чужого человека какие-то нескромные планы. Но когда он брал ее руку в свои, она жеманно освобождала ее балетным движением и искренне возмутилась, когда Пружалю попытался ее обнять.

На Святках Пружалю пригласил ее на бал. Алла Владимировна смастерила бальное платье — черное, с четырьмя воздушными воланами. Муж отнесся к ее желанию потанцевать довольно равнодушно, хотя жена, кроме русского ресторана, где они иногда в компании ужинали с водкой, нигде не бывала.

В день бала Алла Владимировна стояла перед зеркалом с красной розой на плече. Прическа была сделана утром у парикмахера, и она в сотый раз осматривала себя, взволнованная непривычным выездом в свет. Ее каштановые волосы были волнисто причесаны, голые плечи напудрены, глаза горели от предстоящего удовольствия. Она казалась сама себе красивой и нарядной.

Ей казалось, что у нее туманные глаза, что она напоминает какую-то кинематографическую актрису. И новые шелковые чулки приятно облегли ноги.

- Похожа я на Грэту Гарбо? — спросила она Пружалю, когда тот явился к ней, чтобы ехать на бал.
- Очень, — глупо поддакнул он, не зная, что сказать.
- Ну, вот я и готова.

На балу, на одном из тех благотворительных балов, что устраиваются зимою в русском Париже, заливался джаз-банд, за столиками сидели нарядные дамы, танцевала балерина в испанской шали, кружились пары. Они тоже сели за столик, и Алла Владимировна танцевала то с Пружалю, то с одним знакомым мужа. Воспользовавшись отсутствием своей дамы, Пружалю выпил в буфете несколько рюмок водки, и в его голове поплыл приятный туман.

Алла Владимировна была в упоении от музыки, от нарядной обстановки, от потоков электрического света, от приятной сутолоки и большой духоты. Она кокетливо клала руку в черной перчатке на плечо кавалера и томно скользила под звуки танго.

Все ее движения и жесты приобретали какую-то смешную манерность и изысканность.

— Ломака, — подумал Пружалю, глядя, как она танцует, оставив пальчик, склонив головку, полузакрыв глаза.

Он немного опьянел от водки и от этой тоже непривычной для него обстановки и вдруг почувствовал непонятное раздражение на свою даму. Кругом было много других незнакомых и поэтому более таинственных и заманчивых женщин, более молодых и более нарядных, с нежными руками, без этих припухлостей у краев рта, без впадин на щеках от вырванных коренных зубов.

— Ты с кем? — спросил его приятель по работе, подойдя к столу.

— Так, одна знакомая.

— Знакомая?

— Грета Гарбо, — пояснил Пружалю, — произнес имя шведской артистки на украинский лад, с придыханием, с мягким «е» вместо «э» обратного.

— Хрета Харбо? — прыснул приятель.

— Тсс... — зашипел на него Пружалю, увидев, что Алла Владимировна возвращается к столику, обмахиваясь после танца платком.

Но было уже поздно. У приятеля был слишком зычный голос, и Алла Владимировна ясно расслышала исковерканное имя. По интонации она поняла, что это было только повторение слов самого Пружалю. Она вспомнила, что так называла себя перед зеркалом. Стало стыдно до слез. В ту минуту ей хотелось провалиться сквозь землю. Едва сдерживаясь от слез, она присела за столик. Кругом танцевали пары, весело смеялись люди, а для нее все пропало в одно мгновение.

- Пойдемте танцевать, — робко пригласил ее Пружалю.
- Спасибо, я устала, — сухо ответила она, кусая губы.
- Пойдемте, — приставал Пружалю.
- Нет, я сейчас поеду домой.

Надо было, в самом деле, уезжать. Теперь уже нельзя было чувствовать себя молодой и красивой. Бал потерял всякую прелесть.

В такси Пружалю опять попытался ее обнять.

— Оставьте меня, — зашипела Алла Владимировна и прижалась в далекий угол. За стеклом мелькали пустынные улицы, равнодушные и холодные газовые фонари. В мире стало холодно, как на льду. Едва попрощавшись со своим кавалером, она взбежала по лестнице, и с невыразимой тоской отворила дверь в свою комнату.

— Вернулась? — спросил проснувшийся муж. — Много было народу на балу?

— Много, — ответила она, снимая через голову платье.

Убедившись, что муж опять заснул, она положила голову на стол и заплакала беззвучными слезами. Ее голые плечи вздрагивали от рыданий, и ее лопатки, с которых давно осыпалась пудра подчеркивали бедную худобу ее спины.

## На бульварах

У церкви Мадлен останавливается автокар, нагруженный упитанными и краснолицыми туристами англосаксонского типа, у шофера в бело-голубом балахоне профессионально-скучное лицо. Рядом с ним стоит энергичный гид и, надрывая голос, объясняет достопримечательности Парижа:

— Леди и джентльмены! Церковь Св. Магдалины! Заложена в 1764 году. В 1806 году Наполеон приказал достроить храм с целью посвятить его победам Великой Армии...

Краснолицые дамы в роговых очках, лондонские клерки и йоркширские сельские учителя, как по команде, поворачивают головы и смотрят на гигантские колонны, на скульптуру фронтона, на котором изображена сцена Страшного Суда, и титанический Христос стоит среди праведников и грешников, трубит каменный ангел и плачет Св. Магдалина.

— Леди и джентльмены, — продолжает гид, — бульвары тянутся от Мадлен до площади Бастилии на 4500 метров. Ширина бульвара 30 метров...

Любопытные глаза прикидывают ширину бульвара, Мадлен, каменный ангел, продавщицы цветов и нищий под платановым деревом остаются позади. Огромная лакированная машина ползет в синеватую дымку бульваров.

Но уже голубеют ранние сумерки, продавцы задвигают железные решетки магазинов, и одна за другой вспыхивают световые рекламы. Трепетный электрический свет бежит по гейслеровым трубкам. Появляются и исчезают огромные огненные буквы. Загораются холодным светом лампионов пышные и претенциозные кинематографы. Особенно сильно пахнет бензиновыми газами автомобилей. У касс «Паласов» толпятся люди, на всю жизнь отравленные американскими драмами. В дорогой парикмахерской шипит пульверизатор над лысиной последнего клиента. В шикарном магазине усталая за день продавщица заворачивает последнюю покупку.

В такие часы бульвары особенно оживленны. Толпа плывет непрерывным потоком, и компактным строем движутся автобусы и автомобили. Хорошенькие продавщицы, наскоро подкрасив губы, вырываются из магазинов. Где-нибудь поблизости их поджидают друзья, чтобы вместе пойти пообедать в соседнем маленьком ресторанчике, чтобы потом вместе посмотреть очеред-

ную американскую драму. Праздные фланеры ищут приключений. Свистят свистки полицейских, мелькают белые палочки, и толпа переходит улицу, как опасный поток.

Витрины магазинов остаются освещенными до поздней ночи. Любопытные ходят от окна к окну и рассматривают красивые и хрупкие вещи, разложенные в артистическом порядке. Блестят лакированные дамские туфельки, и солидно поблескивают тяжелые мужские башмаки. Янтарные и нежно-зеленые духи застыли в граненом хрустале кубических флаконов. Выпячивают крахмальные груди прямоугольники полосатых рубашек. Бусы напоминают об Африке. Рядом прекрасные, как мечта о далеком путешествии, чемоданы из свиной кожи и уютные несесеры с лакированными щетками и никелированными пробками флаконов.

Под холодными лучами электрического солнца разложены пляжные дамские пижамы — малиновые, лимонные, белые, нежные шелковые одежды и полосатые купальные костюмы. Молодые люди рассматривают пышные букеты галстуков, — «вместо 45 — 15 франков». Пляжные парусиновые туфли — 295 франков. Манекены с вечной улыбкой на восковых устах. Живописные проспекты путешествий. Модель гигантского парохода. Это — «Бремен», необозримые пространства Атлантики, голубой бант.

Все ярче и ярче горят рекламы. Точно кровью наливаются розово-мутные шары метро. Солидные господа сидят на террасах кафе и тянут через соломинки ситронад или ядовито-зеленые смеси ликеров. В толпе мелькает первая женская улыбка, первый взгляд подведенных беспокойных глаз. На фасаде соседнего дома, где помещается редакция бойкой парижской газеты, вдруг бежит электрическая информационная лента:

— Парижская газета сообщает... Капитан Гаук благополучно совершил перелет из Нью-Йорка в Гаванну... На ферме около Фроменвилля вспыхнул пожар... На руанской дороге разбился автомобиль, — четыре человека тяжело ранены...

Электрические слова торопливо бегут и спешат юркнуть за угол. Их догоняют три трепетных звездочки. Последние известия. Где-то восторженная толпа приветствует на аэродроме авиационного героя. Обезумевшие от огня коровы мычат в хлевах нормандской фермы. На придорожной траве стонет молодая дама, за пять минут до этого смеявшаяся от веселого анекдота. Но никто не обращает внимания на деловито-короткие сообщения. Люди спокойно едят мороженое. В черном небе победоносно сияют рекламы шин, аперитивов и подтяжек. Фамилия знаменитого американского фабриканта автомобилей взлетела в небеса стрелой голубого росчерка. Стены недостроенного дома заклеены афишами с изображением пухлых младенцев и гигантских

бутылок. Над одним из кинематографов картонные боксеры угрожающе выставили кожаные кулаки. Над другим человек прильнул к железной бутафорской решетке. За настоящими железными решетками банковских окон — черная тишина храма Ваала. В другом конце бульвара — величественные триумфальные арки — напоминание о победах Людовика над голландцами, немцами и испанцами. Под этими арками вступала в Париж обкуренная порохом русская гвардия и трепетали белые перья на шляпе императора Александра. Здесь бились с правительственными войсками мятежники и коммунары.

Толпа пестра и разнообразна. Навсегда исчезли с этих широких тротуаров воспетые французской литературой «бульвардье» — экзотические генералы, эмигранты, денди с розой в петлицах рединготов, дуэлянты, задиры и владельцы соседних портняжных магазинов, на окнах которых висят плакаты с объявлением о грандиозных скандалах и распродажах. Только иногда музыка в кафе руладами старинных мелодий Оффенбаха и бессмертной Кармен напомнит о тех временах, когда сюда приходили к «своему кофе, к своим газетам и друзьям» усатые и бородатые джентльмены в лимонных перчатках и рыжих сюртуках и ренуаровские дамы в челках и турнюрах.

Большие бульвары американизируются не по дням, а по часам. В газетных киосках хорошенькие головки английских «магазинов». Повсюду пооткрывались автоматические бары. Клиент опускает жетон, и в стеклянном шкафчике открывается высокий тощий бутерброд с икрой или из крана льется лимонад, столько, чтобы наполнить стакан. Появились новые кофейни в стиле модерн, напоминающие рубки пароходов, где можно наспех выпить чашку кофе. Тут же и особенно сложные и особенно американского вида весы для взвешивания следящих за своим здоровьем.

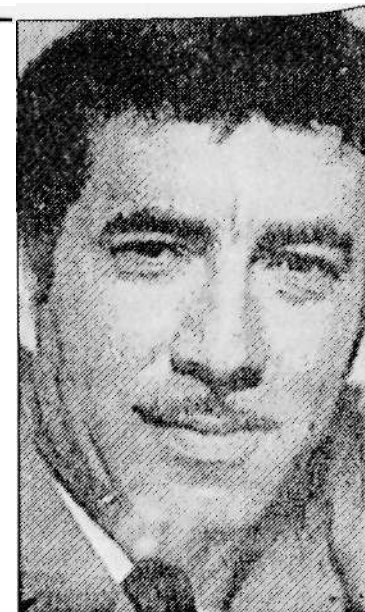
Над фасадом газетного дома видимо бежит лента:

— Парижская газета сообщает...

В полночь разъезд из Большой Оперы. На некоторое время на бульварах появляются смокинги и нарядные, завитые головки слушательниц «Таис» или «Бориса Годунова». Но жизнь уже замирает. Старушка в киоске закрывает свое эфемерное предприятие и связывает все непроданные газеты — неприятный для издателей «возврат». Какой-то старик мирно спит на скамейке. Веселые же тени цвета шоколадной рекламы еще резвятся в черном небе, но проходят последние автобусы, и бульвары пустеют, как пустыня. Одинокая девица в черной шляпке бредет по тротуару и скрывается за углом.

Публикацию подготовил Григорий Поляк

В КОНЦЕ  
НОМЕРА



Виктор ПЕРЕЛЬМАН

## «ВРЕМЯ И МЫ» И ЕГО ЧИТАТЕЛИ

По следам социологического опроса

Начнем с ясного и в то же время далеко не очевидного вопроса: много ли редакция знает о тех, кто читает журнал? Именно знает, с достаточной степенью достоверности (а не просто догадывается, полагаясь на интуицию или на опыт многих лет издания).

Итак, разговор о читателе. Разговор начистоту, без малейшего лицемерия, каким и должно ему быть у издания, перевалившего через двадцатилетний рубеж. Сразу же сделаем признание, что наши читатели не пишут в журнал или почти не пишут. Все это осталось там, на «доисторической родине», где им хотелось поговорить с редакцией «по душам», поведать о своей жизни, высказать свои читательские соображения, «по-товарищески» покритиковать родную редакцию. Нашим читателям просто не до того. Они люди, озабоченные, может быть, самым наитруднейшим и серьезнейшим человеческим делом — как обустроить свою жизнь в новых услови-

ях, ... нет, не просто в новой для себя стране — все эти слова об «успешной интеграции», «вхождении в новое общество», «о благодарности новой родине» и т.д. так и остаются словами, побрякушками слов, давно набившими всем оскомину.

Интегрироваться можно годами, десятилетиями, из поколения в поколение, но куда деваться от самого себя — будем прямо говорить! — все еще чужого этому обществу (поначалу, во всяком случае), куда уйти от неустройства собственной души? Если уж без лицемерия, то мы не переехали из страны в страну или из полушария в полушарие, тут совсем другое, тут можно вполне сказать, что катапультировались на планету Марс. В этом драма и суть проблемы, у которой великое множество аспектов. Один из них, применительно к нашей теме, состоит в том, что и здесь, на Марсе, мы сохранили прежние свои привязанности, например, тягу к книге и литературе. Отсюда и выросла эта потребность в журнале, в особом журнале, хотя бы потому, что всеми своими истоками он уходил в ту самую покинутую нами «доисторическую родину» — любимую, ненавистную, презираемую, манящую, измочаливающую душу, дурацкую, отталкивающую... Хотим мы этого, или не хотим, но все в нас уходит туда, в ту самую бездну, из которой мы вырвались. Зачем вырвались? На жизнь счастливую ли? На хождение ли по мукам? Оставим эту риторiku тем, кто забрасывает нас из-за океана вопросами на вечно жгучую тему — ехать не ехать? Мы-то перешли рубикон, сожгли мосты и тем определили свою судьбу на все оставшиеся годы.

Итак, мы — необычный журнал, и у нас необычные читатели. И хотя озабоченные обустройством на новой планете (пусть одни зарабатывают миллион, а другие просто крутятся, чтобы выжить), — так вот, хотя озабоченные нелегкими проблемами жизни, читатели не шлют в редакцию писем, не изливают душу (ах, дорогая, любимая «Комсомолка»!), не молят о спасении, не дают советов, какие печатать стихи и прозу — но от всего этого наши читатели не становятся для нас менее инте-

ресными. Они и по сей день во многом для нас загадка: начиная с их возраста, образования, профессии и кончая их взглядами на окружающий мир. К тому же они и есть те, для кого мы существуем, для них издается журнал «Время и мы». И именно отсюда наше неутихающее любопытство, границы которого не всегда просто очертить: занимает ли, например, по-прежнему их умы и души Россия? Или уже больше Америка, или, скажем, Израиль, куда уходят их национальные корни? И что за проблемы их интересуют в России? И каковы их прогнозы относительно ее будущего? А затем — и это совершенно понятно! — следует круг вопросов, связанных с их отношением к журналу. Чем он является в их жизни? Что они в журнале ищут? Что находят и не находят? Какой из разделов их интересует более всего? Какие темы? Их любимые авторы? Лучшие, с их точки зрения, произведения? Наконец, их критика журнала, их предложения. Таковы лишь некоторые из 22 вопросов, которые вошли в анкету, разосланную тремстам читателям журнала «Время и мы».

Число полученных ответов равно пятидесяти девяти. Вряд ли можно полагать эту цифру строго репрезентативной выборкой. Но, во-первых, все в мире относительно. Относительно даже места, где осуществляется опрос: одно дело проводить его в двухсотмиллионной, гомогенной России силами социологических институтов и Центров, другое — здесь, в Новом свете, среди ограниченной группы эмигрантов, представляющих собой некий этнический анклав в американском обществе и сохраняющих национальные черты страны исхода.

Но даже и такая ограниченная выборка важна. Даже очень важна для понимания читателя. Хотя бы потому, что отвечают на анкету не какие-то «среднестатистические эмигранты», а прежде всего подписчики журнала, смеем надеяться элитарного журнала, притом наиболее активная их часть, которым, для того, чтобы «вытянуть» из них ответы не надо (согласно американской традиции) прикладывать к анкете доллар-другой, для «бодрости духа!» Наши читатели отвечают редак-

ции, потому что понимают смысл этого предприятия. Кто-кто, а они-то знают, что мы затеяли этот опрос не для того, чтобы развить наш безнадежный бизнес. Но для того, чтобы лучше понять нашу аудиторию и, следовательно, лучше служить делу, за которое взялись. Вот и все, что я хотел сказать в этом кратком вступлении.

### **О тех, кто читает журнал**

Если начать с их возраста (как это и принято в серьезных опросах), то картина выглядит следующим образом. О возрасте сообщили 98,3%. И было бы все 100, если бы одна из подписчиц на вопрос, сколько ей лет, не воскликнула «Но вэй!» (то бишь дудки! Да простят меня хранители чистоты английского языка.)

Что касается большинства выборки, то 54% — это люди от 55 до 69 лет. 36% — от 35 до 54 лет. Двое выше 70-ти и двое выше 80-ти. Но один из приведенной выше выборки воистину порадовал нас. Оказалось, что есть в нашем полку некий израильский студент, юноша, 26-ти лет.

Итак, большинство — люди преклонного возраста. Но к месту еще раз вспомнить, что все в этом мире относительно. Одно дело, когда наша почтенная возрастная категория обитает в России, и совсем другое — когда в Америке.

Давайте на миг обратимся к прошлому. Где был наибольший шанс встретить людей, находящихся «на заслуженном отдыхе», славную гвардию российских пенсионеров? Не среди примостившихся ли на дворовых лавочках доминошников или местных шахматистов, самозабвенно протирающих штаны на каком-нибудь Петровском или Нарышкинском бульваре? (Хоть и не все, конечно: велика Россия! Так что не будем впадать в соблазн обобщений!) И для того, чтобы лучше понять, что представляет собой наш читатель, достигший золотого возраста или приближающийся к нему, перейдем к следующему вопросу анкеты: «Ваша профессия до эмиграции и Ваша профессия в Америке?»

О профессии до эмиграции сообщили все 100% вы-

борки. Что касается второй части вопроса, то вот данные о профессиях читателей в Америке. 47% — инженеров. По специальности из них работают 36% (11% — это потери, которых мы коснемся чуть ниже). Далее идут врачи — 10%, учителя — те же 10%, писатели и журналисты — 8%, рабочие — 5%.

В нашей выборке — два музыканта, два преподавателя университета, два компьютерщика (один из которых в прошлом зам. директора театра), три химика, один физик, один финансовый консультант, один социолог, один переводчик, один бухгалтер, один туристический агент, наконец, 26-летний студент из Израиля (наше юное поколение, представленное в единственном числе!).

Но что интереснее всего: из стольких лиц пенсионного возраста действительно пенсионеров всего двое (один из которых — в возрасте 85 лет). Так что теплые компании «московских доминошников» и «бульварных сидельцев» вряд ли найдут себе в нашем полку компаньонов, хотя бы по причине повседневной занятости полка.

Будь наша выборка более репрезентативной, мы были бы вправе придти к еще одному заключению. О русской интеллигенции в Америке. Какие бы страхи не рассказывали об ее интеграции, — худо-бедно, а тяжелейшие барьеры ею все-таки взяты. Впрочем, не будем увлекаться. Это только в целом. Ну, а как быть с единицами, которых просто по-человечески не сбросишь со счетов? Как быть, например, с такими ответами читателей: «Ваша профессия до эмиграции? — инженер. После эмиграции — рабочая на складе». «До эмиграции — инженер, после эмиграции — лавочник». «До эмиграции — филолог, после эмиграции — много разных профессий было для выживания». «До эмиграции — редактор, после эмиграции — home attendant\*». «До эмиграции — химик, после эмиграции — тоже химик («Мама моих детей!») Вот вам и потери бывших инженеров, филологов, химиков, учителей... А 10% не ответивших вообще? Не от хорошей же жизни эта фигура умолчания? И даже те, кто преуспел — каково приходилось им: сколько пережили часов

\*Санитарка, помогающая пожилым людям на дому.

отчаяния, проклятий, слез на пути освоения Нового света! Так что потише с шапкозакидательством и слезливым квазипатриотизмом: де «мы эту землю целовать должны и прочее!» Воздадим лучше должное присутствию духа в каждом из нас, выстоявших. Не сломались же, а ведь могли! Ясное дело — могли. Чтобы дорисовать портрет читателей, приведем данные об их образовании. 89% — с высшим, 11% — со средним, 28% — кандидаты и доктора наук. И, наконец, еще черта того же портрета: когда была ими оставлена Россия? 97% уехали в 70-е, 80-е и 90-е годы и лишь две семьи раньше: одна — в 60-е, другая сразу после войны — в 40-е. Итак, кто же мы в этом новом для нас мире?

В большинстве своем — «шестидесятники», люди послевоенных лет, хорошо образованные профессионалы, сумевшие не мытьем так катанием интегрироваться в Америке, которая, пусть и была для нас планетой Марс, но которую худо-бедно все-таки обжили. И успешно работаем. И вернули в большинстве свой статус. И еще ходим на празднества и юбилеи, чтобы поднять тост за будущее детей, и, вообще, за все хорошее.

### **Кто ближе: старая или новая родина!**

Напомню, что анкету составляли не мы, журналисты, а специалисты-социологи (всегда вызывают во мне чувство зависти люди, имеющие фундаментальные, корневые начала!) Специалисты-социологи, добывая нужные цифры, всегда идут в глубь, нет в них верхоглядства, присущего второй древнейшей профессии\*.

Итак, о связи читателей с Россией и Америкой. Вопрос в анкете: «В какой степени вы следите за событиями в России: практически ежедневно? когда там происходят крупные события? очень редко? практически никогда?»

\* Как обожает рассуждать мой сосед «новый русский» (заработавший на винном извозе миллион) про другого моего соседа Винограда (преуспевающего владельца галереи): «Виноград, это фигура! Настоящий американец! Не то, что мы фраера!» Живая социология на языке российской новоречи!

Те же формулировки относительно Америки. Из опроса узнаем, что за событиями в России повседневно следят 42% выборки, когда там крупные события — 44% (всего 86%), и лишь 14-ти процентам их бывшая родина безразлична. Что касается Америки, то за ее жизнью ежедневно следят 68% (на 26 процентов больше, чем за жизнью России), когда в Америке крупные события — 27 процентов. Всего ею интересуются 95 процентов, безразлична она лишь пяти процентам, в абсолютных цифрах — это четыре человека.

При первом приближении кажется, что все наши респонденты поделились на две группы «про-американскую» и «про-российскую», но ниже мы убедимся, что «первое приближение» — не лучший инструмент социологических опросов. Далее следует вопрос, помогающий понять как бы глубину интеграции нашей выборки. «Какие американские газеты вы более или менее регулярно читаете?» 29% ответивших ограничились либо прочерком, либо порадовали нас такими, например, ответами: «читаю только вырезки» или только «те, которые попадают на приеме у врача». (А ведь 95 процентов заявили, что они следят за информацией об Америке. Знать бы на каком языке?)

Зато оставшийся 71% дает картину противоположную. 40% читает «Нью Йорк Таймс», 23% — «Тайм», 14% — «Нью-Йоркер», 11 — «Нэшэнэл Географик». Интересно, что 7% выборки более или менее регулярно читает от 7 до 10 американских газет и журналов.

Таким образом, 71% может с полным основанием чувствовать себя настоящими американцами\*.

### **Взгляд на Россию**

Как видим, и «настоящие американцы» и пока не ставшие «настоящими» (например, познающие жизнь

\* Может быть, не столь «настоящими», как мой сосед Виноград, но уж никак не... (как там назвал себя наш «новый русский»?) — так вот, извините за это чудненькое словцо из российской новоречи — никак не «фраерами», не удосужившимися за столько лет изучить язык страны, в которой живут.

через газету «Новое русское слово», таких в нашей выборке — 2), так вот, и те и другие интересуются Россией, сколько бы они там не клялись в безразличии к ней. Не потому ли на вопрос «Какие проблемы современной жизни России Вас интересуют?» дали ответ без исключения все (в том числе и те 14%, которые заявили, что они очень редко или почти никогда не следят за событиями на своей бывшей родине).

Другой вопрос, в какой степени интересна она нашим читателям? Что именно интересует их? Судя по их ответам, на первом месте стоят четыре области. Во-первых, мораль и человеческие отношения — 49%. (А если прибавить тех, кто моралью интересуется лишь «в известной степени», то будет уже 80%.)

Те же 49 процентов занимает наука, культура и искусство, а если снова присовокупить «в известной степени», то цифра будет еще больше — 83%. Экономикой очень интересуются 30 процентов, политической жизнью — 35 процентов. Спорт — 1 человек. Все остальное (труд, техника туризм, отдых) интересует не более 5%.

Кстати, судя по опросам, близкое к этому распределение интересов характеризует и самих россиян, которых в отличие от западных людей весьма занимают конфликты жизни: падение морали, политические скандалы, катаклизмы экономики. Но вот парадокс! — рядом с этим: интерес к театрам, кино, живописи. В этом смысле наши приоритеты — это зеркало приоритетов населения метрополии.

Ни для кого не секрет, что Россия переживает серьезный кризис, который мир оценивает по-разному (рассматривая степень его глубины и характер опасностей, нависших над страной). Отсюда вопрос: «Какие, по Вашему мнению, опасности больше всего угрожают России?» Отвечавшим на анкету было предложено выбрать три из нижеследующих: экономическая катастрофа, голод, распад Российской империи, гражданская война, установление фашистской диктатуры, технологические катастрофы, война с Украиной, полная криминализация

власти, возрождение холодной войны с Западом, наступление на Россию Китая, наступление на Россию Исламского фундаментализма...

47% отметили, что опасность номер 1 — это полная криминализация общества и захват власти криминальными структурами. На втором месте — экономическая катастрофа (39%). Затем установление фашистской диктатуры (35%). Что касается остальных угроз, то возможность гражданской войны (о которой недавно так много говорили), предвидят только 12%, технологической катастрофы — 13%, распад Российской федерации — 8%, голод — 3%.

Довольно разумный ответ дали те 5%, которые заявили, что невозможно установить какие-то главные опасности. Каждая действует по-своему. Один из респондентов написал, что, вообще, ни один из перечисленных факторов не представляет опасности. Есть ответ, что главная угроза — это полная американизация России, которая уже сегодня идет полным ходом.

И как всегда не обошлось без оригиналов, один из которых над списком нависших над Россией бед крупными буквами начертал «ДУРАКИ!», оставив нас в недоумении, кого именно он имеет в виду.

Касаясь перечня угроз, один из респондентов заметил: «Все это преувеличено!» Ремарка, заслуживающая, на мой взгляд, внимания. В самом деле, что это за жуткие опасности и катастрофы, которые приехавший в Москву вообще не ощущает. Правда, телевидение и газеты время от времени сообщают об убийствах, о криминальных разборках, о демонстрациях коммунистов и фашиствующих молодчиков, об угрозе гражданской войны, о ссорах с Украиной, но рядовые граждане (или как говорят «человек с улицы») живут вполне нормальной жизнью: ходят в кино, в театры, на концерты, ездят по заграницам, глазуют на пестрые витрины магазинов, толкаются в очередях, — в общем, живут себе и живут, и бывая среди москвичей, я что-то не припомню, чтобы улавливал в их лицах или разговорах хоть какие-то следы страха перед экономической катастрофой, или перед криминальными

структурами, или там перед готовой разразиться гражданской войной. А средства массовой информации на то они и средства массовой информации — так уж во всем мире! — чтобы сеять среди населения панику, повод для которой всегда найдется. Такой вот дуализм двух жизней — жизни реальной и той, что отражается в газетах и телевидении. А в эмиграции и вовсе абберрация зрения, которой, естественно, подвергнуты и наши читатели и которую, как мне кажется, удесяттеряет сам механизм эмигрантского сознания. Как и любому смертному, а, то и больше, эмигрантам присущи и комплексы и, конечно же, защитная реакция перед лицом далеко не просто развивающейся жизни. Что значит над Россией ничего не нависает? Да возможно ли это? Да было ли когда-нибудь такое в российской истории? И что же, все пройденное нами, все страдания и муки — курочке под хвост? Что же, люди остаются людьми, даже, если это мыслящие читатели «Время и мы».

### **Держит ли проза номер!**

Теперь, возможно, самое главное: что интересует наших респондентов в журнале? Чтобы избежать риторики, социологи сформулировали этот вопрос предельно конкретно. Какие разделы интересуют читателей: «Проза», «Поэзия», «История», «Публицистика», «Социология», «Мемуары», другие разделы. Притом не просто интересуют, а и в какой степени: «очень», «в известной степени», «мало», «совсем нет». Многовариантность вопроса, естественно, предполагала многовариантность ответов, столкновение мнений, возможно полностью противоположных.

Так, собственно, и произошло. «Время и мы» — литературный журнал, именованный в прошлом журналом литературы и общественных проблем. С самых первых номеров был у редколлегии принцип: «Проза держит номер!» Под рубрикой «Проза» публиковались Платонов, Галич, Виктор Некрасов, Ходасевич, Адамович, Василий Гроссман, Аксенов, Войнович, Го-

ренштейн, Карабичевский... (несколько поколений русских писателей!), в переводах — Джойс, Сол Белоу, Кафка, Артур Кестлер, Милан Кундера... — лучшие мастера мира. Проза всегда считалась гордостью журнала. Отсюда и шли мои редакторские ожидания: абсолютное большинство отдаст предпочтение прозе. А что же выяснилось? А выяснилось, что, если и набралось большинство, то весьма и весьма незначительное. «Очень» проза интересовала лишь 59%, остальных лишь «в известной степени» или даже «мало».

Читателей, которых очень занимала публицистика (куда с некоторым допуском отнесена критика, история и социология) оказалось не намного меньше (53%). А если взять и тех, кого публицистика интересовала в известной степени, то получится, вообще, 85%. Что касается мемуаров (которые опять же в фаворе у редакции, именуются «документальной прозой»), то они отстали даже от публицистики. Мемуарам отдали предпочтение лишь 38% выборки.

Особый разговор о поэзии. «Очень» интересуются поэзией лишь 22% опрошенных, в известной степени — 27%. Именно поэзия лидирует по числу негативных ответов. Многих читателей она интересует либо очень мало, либо не интересует вовсе. Тут, однако, возникает деликатный вопрос, который, кстати, относится и к прозе. Что читатели недооценивают: поэзию (и даже прозу) как жанр или им не нравятся вещи, публикуемые в журнале. Отсюда интересны не только цифры, а и читательские ремарки. Вот некоторые из них: «Очень неровный подбор поэтических произведений — от замечательных, до провальных!» «Проза не всегда на высоком уровне». «Плохих стихов вроде и нет, но замечательные не так часто». «Слаб поэтический раздел». Некоторые сопровождали анкету даже своего рода анализом. Вот письмо одного из новых читателей, талантливого поэта — израильтянина Наума Басовского: «К сожалению, пишет он, перечень достижений журнала в разделе прозы, не так велик. К безусловным удачам я отношу только повесть В. Платовой «Де факто» (ном. 134), документальную повесть

Р. Зерновой (ном. 133) и публикацию Аркадия Белинкова в ном. 132. Неплохое впечатление произвели две повести И. Лесовой (ном. 128 и 132), повести Б. Носика и Д. Рубиной — но к ним, честно говоря, у меня есть серьезные претензии. И наконец о разделе поэзии. Возможно, я не совсем вправе строго судить, поскольку дважды за эти годы печатался в журнале, а о себе не приходится говорить не хорошо, не плохо — пусть говорят другие. Но поэтические страницы, по отношению к которым я выступаю не автором, а читателем, чаще всего оставляли меня, мягко говоря, равнодушным. Только стихи С Шабалина в ном. 133 и Ларисы Миллер в ном. 129 показались мне удачными. А более всего удручает, когда в таком солидном и профессиональном журнале поэзия попросту представлена дилетантскими текстами на уровне самодеятельности».

Думаю, что составители анкеты не случайно не включили вопроса, предлагающего читателям дать общую оценку журнала. Все та же причина: не хотели эмоции, хотели максимальной конкретности. Но именно в этом месте, когда обсуждается характер нашего издания, мне хочется еще раз вспомнить Сергея Довлатова: «Время и мы» — странный журнал, — сказал он однажды. — Прозы нет, поэзии — нет, критики — нет, а журнал хороший». Как это ни парадоксально, но качество журнала далеко не всегда зависит от публикуемых в нем вещей. Есть здесь трудно уловимые детали, связанные даже не столько с работой редакции, сколько с ее интуицией, с ее способностью ощущать пульс жизни в унисон с читателями. И тут я хотел бы привести еще одно письмо, хотя оно прямого отношения ни к прозе, ни к поэзии, ни вообще, к процессу «делания» журнала не имеет. Это просто «человеческий документ», мимо которого трудно пройти (письмо написано перед тяжелой операцией его автора). Мне оно еще интересно и потому, что принадлежит жене моего умершего друга московского писателя Юрия Кларова. Называйте это как хотите — ностальгией по прошлому, долгом памяти, но письмо это, может быть, по-своему высвечивает то

обстоятельство, по которому читатели полагают «Время и мы» журналом по-настоящему своим. (Не потому ли, что и журнал и его редактор, и читатели вышли из одного и того же мира, одного и того же круга жизни?)

«...Пишу тебе уже после нашего последнего разговора по телефону, где ты вдруг заговорил о голосах прошлого в журнале. Как-то это сказано высоким «штилем». Просто мне иногда кажется, что все твои авторы — мои старые знакомые, и мы собираемся у нас дома, и Юра жив, и все это обсуждается за столом за рюмкой водки. Так что для меня журнал — это вести из того параллельного мира, где когда-то мне очень хорошо жилось, но который я утратила по тем или иным причинам. Я думаю, что это потому, что журнал делает человек, который тоже из того мира и журнал — это его детище, его вкус, его мысли, его бессонница. Недостатки журнала меня не волнуют, предложений и замечаний у меня нет, да они и не нужны тебе, так как только будут раздражать. Это все по вопросам и ответам анкеты. Остальное после операции, будь здоров, Женя».

### Перед судом читателей

Уверен, что об авторах «Время и мы» еще когда-нибудь напишут. Это они в годы безвременья, оказавшись вдали от Родины, продолжали бить в набат о свободе. Во что вылилась их гордая мечта, — это, как говорится, на совести у Бога, деяния которого так часто наводят на грустные мысли.

Товаровед Московского Дома книги, Неля Гурвич, пережившая в Москве все гримасы российской судьбы и которую я знаю еще с диссидентских времен, как-то разоткровенничалась в кругу сослуживцев и сказала, что «Время и мы» давно пережил свое время, хотя у него и бывают интересные произведения. Признаться, я не знаю, как в контексте сегодняшней российской действительности воспринять это «пережил свое время». Что это? Верность журнала былой мечте и принципам? Или осуждение его старомодности, отставание от жизни? Впро-

чем, все это опять же слова, слова, побрякушки слов («поколения», «шестидесятники», «перестройщики», «отцы», «дети» и пр.).

Как и в прошлые времена, так и в нынешние, да с самого первого номера вопросом номер один для «Время и мы» были авторы, их талант и уровень, их способность задевать человека за живое. Журнал, если он настоящий, должен нравиться. Притом нравиться очень. Суть дела именно в этом. Отсюда и вопросы анкеты: «Назовите произведения, напечатанные в 1996 году, которые Вам очень понравились». Заметьте, «очень понравились». И далее: «Назовите имена авторов, которые Вам нравятся».

Начнем с того, что в общей сложности наши респонденты назвали 32 таких автора, иногда ссылаясь на их произведения, иногда ограничиваясь упоминанием имен. Невозможно даже просто перечислить всех «понравившихся». Да еще, когда называют вам не одного, а нескольких, к тому же и активно комментируют свой выбор. («Много талантливых женщин, чудесно пишут!») О Дине Рубиной — «это привычная, старая, милая проза». О Виктории Платовой — «это глубоко психологическая проза с ликвидацией главного героя. Жаль, что местами длинноты. Слишком долго подготавливает читателя к подобному концу». Но и на этом как будто чисто «творческом поле» мы снова прибегаем к процентам и цифрам — единственному признаваемому социологами языку исследования. А тут еще и необыкновенный разброс мнений, к тому же очень субъективный: воистину непросто выступить судьями столь разных по стилю и таланту литераторов! Вот лишь несколько произведений, которые «очень» понравились читателям. Из прозы: Руфь Зернова «Скользкая тропа», Виктория Платова «Де факто», Дина Рубина «Глаза героя крупным планом», Аркадий Белинков «Человечье мясо», Юрий Нагибин «Дафнис и Хлоя», Борис Носик «Анна и Амадео», Татьяна Мушат «Боги вне млют»...

Публицистика и критика: Владимир Шляпентох «Что

значит застой?» (по мнению одного из читателей, читается как проза), Виктор Перельман «Похвальное слово социализму» и «Лари Флинт в перевернутом мире», Евгений Манин «За что нас ненавидят», Лев Аннинский «Чудодейственный путь Венички Ерофеева», Андрей Грицман «Двуликий памятник на фоне заката», Миша Гофман «Русская правда и западная логика». Затем несколько неожиданно: «В. Петровский — создатель миниэнциклопедии по русскому изобразительному искусству» и неповторимый Вагрич Бахчанян (давно бы пора вспомнить!) и мн. др.

А теперь посмотрим, какой процент голосов из нашей выборки получили понравившиеся авторы: Владимир Шляпентох — 20%, Дина Рубина — 17%, Юрий Нагибин — 12%, Лев Аннинский — 12%, Руфь Зернова — 10%, Виктория Платова — 10%, Борис Носик — 8%, Андрей Грицман — 8%, Ефим Эткинд — 7%, Аркадий Белинков — 7%, Татьяна Мушат — 7%, Борис Хазанов — 5%, Наум Басовский — 5%. (Упомянуты далеко не все, а лишь те, кого отметило не менее трех читателей.)

Автор настоящих заметок намеренно вывел себя из «конкурса»...\*

### Каковы недостатки! Каковы предложения!

Если бы меня — не профессионала — спросили, в чем сила и значение любого опроса, я бы, конечно, ответил: в возможности выяснить мнение массы. Но тут же добавил бы: а также в активности, в мыслях тех, кто отвечает социологам. Выше мы познакомились с воззрениями читателей, с их приоритетами в оценках жизни и журнала, увидели, как распределяется их интерес между его разделами и авторами. Не пришло ли время узнать о том,

\* Он просто не уверен в объективности всех тех, кто заявил, что им нравится, как пишет Виктор Перельман. А таких оказалось 28 процентов. Конечно, они руководствовались добрыми намерениями. Но не получилось ли, что, симпатизируя журналу и его авторам, некоторые не могли упустить случая, чтобы не подбодрить редактора. Ну, как бы по инерции, по логике вещей. Один, например, отвечая на вопрос «кто из авторов ему нравится», перечислив нескольких, затем, словно преодолевая сомнения, воскликнул: «... и все-таки Перельман!» Не в результате ли подобного «внутреннего борения» вылезли на свет Божий мои победные 28 процентов?

что им в журнале не нравится, их замечания и предложения? Критику в адрес «Время и мы» высказали немного немало — 44% процента выборки. Много замечаний (которые повторялись от анкеты к анкете) относились к периодичности журнала. «Малое количество журналов в год», «Журналы выходят редко», «Как бы хотелось, чтобы журнал выходил ежемесячно!», «Недостаточная периодичность», и снова «Редко выходит», «Мало журналов» — так говорили 12%. Но большинство все же отмечали недостатки самого издания: «Не ясно лицо журнала в современной ситуации», «Некоторые материалы заметно ниже среднего уровня», «Нет рецензий на книги», «Хотелось бы больше знать о современных американских писателях», «Много скучной прозы», «Слишком много статей, посвященных гаданию о судьбах России», «Нерешительность в выводах публицистики», «Нужно больше крупных прозаиков»...

5% говорили о небрежности языка — причем респонденты были предельно конкретны, до придирчивости скрупулезны. Вот письмо профессора Александра Туманова, из Канады, который, назвав 134 номера «Время и мы» «необъяснимым чудом огромного труда, посвященности и упорства», затем подробно останавливается на языковых погрешностях и, в частности, на переводах «Разговоров с Набоковым» (ном. 134), где, по его словам, много стилистической неуклюжести (нерусскости) или что хуже, неграмматичности: «Все, что я знаю, заключается в том...», «Будь то книга или картина, интересует меня, — не общие идеи, а личный вклад», «Заурядный или верховный представитель этого племени не могут...», «На вопрос, подвергался ли он психоанализу, Набоков в переводе восклицает: «Ради Бога, почему?» (Типичный англицизм «why» — это не вопрос, а проявление возмущения, которое следует перевести идиоматическими восклицанием вроде: «С какой стати?»)

### **Миллион читателей: откуда он взялся!**

Да, миллион! Не подумайте только, что все это фантастика или романтическая мечта редактора. Речь о самой

что ни на есть прозе жизни. Романтика будет позже. Что же до прозы жизни, то в анкете предстает она в виде простого и нехитрого вопроса: «Сколько человек из числа членов Вашей семьи и знакомых читает журнал «Время и мы», который вы выписываете?»

Вот ответы: «Только я» — 12%, «1-2 из членов семьи и знакомых» — 47%, «3 — 4 из членов семьи и знакомых» — 27%, «5 и более» — 14%.

Вопросы поставлены так, что ответы вряд ли подведут нас к математически точным выводам. В самом деле, совсем не одно и то же, когда журнал, кроме «главы семьи» читает лишь супруг или супруга. Или когда еще 2 детей и знакомых. Или, когда 3 знакомых. Или когда 5... Или когда 10. Все это разные вещи, хотя из вопросов анкеты это трудно понять.

Но приносят ли нам, вообще, удовлетворение все эти данные? Скорее всего, нет. Еще один-два члена семьи, еще один-два знакомых... Наш тайный замысел — подписать на «Время и мы» весь Нью-Йорк, Бостон, Лос-Анджелес, Филадельфию, да, вообще, всю Америку вместе с Россией, Европой и Израилем. Вот какие сумасшедшие мечты!

Но признайтесь: вы ведь обратили внимание на слово «подписать», не распространить, не найти тысячи новых читателей, а подписать, продать, реализовать за деньги! Вот и подхожу я к противоречию, выход из которого мне вряд ли найти на этом свете.

С одной стороны как редактор я рад, безумно рад каждому новому читателю, с другой стороны, как издателя (если только это читатель, а не подписчик) наводит этот персонаж на грустные размышления. Знаете ли вы, как шутят надо мной знакомые? Что, якобы, мир для меня давно уже не делится на врагов и друзей, на умных и глупых, на русских и американцев, на левых и правых — все это мне безразлично. Мир для меня делится на подписчиков и не-подписчиков! Все остальное от лукавого! А мысль-то проста, как слеза ребенка: если все будут читать и не подписываться, то как же существовать журналу? Такая вот малоприятная проза жизни. Поэтому,

когда вы с гордостью говорите, что даете читать журнал 7 — 8 вашим знакомым, захлестывает меня печальная мысль: ведь каждый из этой «великолепной семерки» мог стать подписчиком! Вот так, на своем горбу, мы чувствуем, как рынок упорно работает против журнала «Время и мы». Чем меньше подписчиков, тем дороже журнал. Чем дороже журнал, тем тяжелее редакции. Чем тяжелее редакции — тем меньше читателей... Не любопытно ли вам, за счет чего существует журнал «Время и мы»? Спонсоров нет. Грантов не получаем. (Один респектабельнейший эмигрантский автор сходу отменил сомнения: «Ха, если бы не на что было жить, не выпускали бы журнал, дураки перевелись!») Вопрос о дураках в силу его неоднозначности отложим.\*

Если мы даже будем делать в тысячу раз лучше номера, у нас, возможно, появится еще тысяча читателей. Нет, не подписчиков, а читателей (прокатиться на этом поле фуксом святое дело!), которые во весь голос будут петь дифирамбы журналу, но звучать они будут похоронным маршем. Грустное дело разбираться в этой диалектике, но никуда нам от нее не уйти. Вы спрашиваете, где обещанная выше романтика? Не волнуйтесь, с романтикой и энтузиазмом у нас всегда хорошо. Имеются даже для их измерения цифры. Ну, вот, пожалуйста: с 1975 года выпущено в свет около 250 тысяч журналов. А сколько их прочитали? В Америке? В Европе? В Израиле? В Южной Африке? В Австралии? В Новой Зеландии? Если опять же опираться на опрос (согласно которому в среднем каждый журнал прочитывает 4 члена семьи и знако-

\* А вот во что обходится нам каждый журнал, пожалуй, обнаружим: набор — 1,5 долл., печать внутренних страниц — 2,3 долл., обложка — 1,8 долл., гонорар — 2,4 долл., почта — 2 долл., адм. расходы — 1 долл. Всего 11 долл. Поскольку тираж «Время и мы» спокон веков относится к совершенно секретной информации, допустим, что он тысяча экземпляров. На год потребуется 44 тысячи долларов — сущий пустяк, не правда ли? Кстати, не упущена ли нами еще одна деталь: в себестоимости нет зарплат сотрудников и редактора. Первое понятно: нет сотрудников — нет и зарплат. А с редактором и того понятнее: если он такой талант, что способен обходиться без сотрудников, то без зарплат обойдется и подавно. Как остроумно заметил один из моих доброхотов: «Любишь кататься, люби и саночки возить».

мых подписчика), то и тогда 250 тысяч превратятся в хороший миллион. Но, а если в диссидентские времена «Время и мы» ксерокопировался во многих десятках и сотнях экземпляров, сколько на нашем счету тогда? От одних только этих цифр может закружиться голова, хотя от головокружения мало проку.

Интересно, что кого бы из московских знакомых я ни встретил, из какого бы интеллигентного круга человек ни был (писатели, врачи, ученые, художники, да мало ли кто еще), все знакомы с журналом «Время и мы». Что ни говорите, а 22 года — это срок. И что еще можно услышать: «Как? Неужели все еще выходит? Да сколько уж лет?» Чудо из чудес! Как писал мне из Праги мой старый знакомый, писатель Ицелев. Что на это ответить? Разве что чудо — это штука вполне человеческая. А о том, как оно сотворяется, сколько ни старайся, все равно объяснить невозможно.

*Редакция выражает благодарность профессору Владимиру Шляпентоху и социологу Татьяне Шаудхере за подготовку анкеты и консультации при организации опроса читателей.*

## НАС НЕЛЬЗЯ БЫЛО СЧИТАТЬ ТРОЦКИСТАМИ

Уважаемый г-н редактор!

Друзья передали мне сокращенный вариант книги Аллы Тумановой «Шаг вправо, шаг влево», напечатанный в журнале «Время и мы». За 20 лет журнал дважды опубликовал воспоминания участников еврейской молодежной организации: в 1976 г. — главы из книги Н. и М. Улановских и в 1996 г. — воспоминания Аллы Тумановой. Поскольку я был членом этой организации, хочу поблагодарить редколлегию журнала за внимание к данной теме.

Алла Туманова — очень способный человек и иметь ее в авторском активе журнала большая удача.

Тем не менее у меня есть некоторые замечания. Незадолго перед выходом книги Майя Улановская передала мне 5 глав с просьбой прокомментировать их («Один день в Лефортовской одиночке», «Встреча с Абакумовым», «Я и Берия», «Конец следствия», «Суд» и послесловие «30 лет спустя»). Пока я читал, пока я писал, пока мои замечания пересылались в Москву, книга уже вышла.

Последняя публикация дает мне моральное право напечатать свои замечания, которые я изложил в письме к Майе Улановской.

Так как в журнале напечатан сокращенный вариант книги, из текста выпали некоторые моменты, на которые я обратил внимание. В частности, отношение автора к «террористической деятельности» Жени Гуревича и ее моральная оценка.

Еще несколько слов о терминах протоколов, где рефреном проходит троцкизм как наше мировоззрение.

Троцкий являлся главным идейным врагом Сталина в 20-е годы. Это была официальная точка зрения. В 1950 г. мало кто мог бы изложить, в чем состояла угроза Сталину от убитого десять лет назад Троцкого. Абсолютное большинство населения СССР никогда Троцкого не читало, впрочем как и Маркса, Энгельса, Бернштейна, Каутского и других марксистов. Я глубоко сомневаюсь, что хотя бы треть студентов-экономистов прочитали весь «Капитал»... Физики, у которых была склонность к философии, иногда, может быть, читали естественнонаучные статьи Энгельса. Философский словарь, «Краткий курс истории ВКП(б)», вот источники марксистско-философского образования нескольких поколений советской интеллигенции.

Даже те, кто в молодости читал Троцкого, не могли интерпретировать его для другого времени.

Но Троцкий был главный идеологический ВРАГ, может быть страшнее Гитлера, и поэтому всякое идеологическое обвинение звучало как троцкизм.

Конечно, нас нельзя было считать троцкистами. Может быть, кому-то и посчастливилось прочитать какую-либо из статей Троцкого в чудом уцелевших книгах, но не это формировало наше мировоззрение. Троцкий привлекал наше внимание не столько как идеолог, сколько как человек, активно выступавший против Сталина. И это вызывало восхищение.

Мы были в полной идеологической пустоте. Статьи и книги официальной печати не объясняли нам сущность происходящего, а только раздражали своей явной несос-

тоятельностью, беспомощностью. Я, помню, прочитал какую-то книгу профессора Розенталя по философии — 103 стр., 106 цитат из классиков.

Надо было обладать действительно неукротимым желанием знать и понимать, для того, чтобы рыться в старых случайных книгах.

Был закрыт в спецхранах весь 20 век, не только политика, но и философия, история, литература. Гумилев, расстрелян, Бальмонт, Мережковский и Гиппиус стали белоэмигрантами, неясный шум доносился о Бунине, Есенин не запрещен, но и не рекомендован, Ахматову и Зощенко перестали печатать, публично высекли. Что обсуждалось? Проблемы генетики, языкознания, положение в теоретической химии и, конечно, космополитизм. А потом всякий раз покаяния, увольнения с работы, шепот об арестах.

Наши побуждения, наши протесты, наши маленькие действия носили антисталинский, антидиктаторский, демократический характер. Попытка понять происходящее, найти ему идеологическое объяснение. И только форма была марксистской, ведь не было ничего другого вокруг, за что можно было зацепиться.

Три фактора были решающими в формировании нашего протеста: национальная ущемленность и уязвимость, абсолютное гражданское бесправие и бессилие перед властью (у некоторых из нас были репрессированы родственники), нищета, в которой жила вся страна. Общий социальный смрад и страх.

Среди членов организации были и неевреи. Общая атмосфера была одна и та же, но, может быть, национальные аспекты играли не такую значительную роль.

Я был бы очень признателен, если бы журнал «Время и мы» опубликовал мои замечания.

*С уважением Владимир Мельников.  
23.7.97*

## ОДИН ЧАС В ЗАЛЕ ТЕАТРА КАБУКИ

Чувствую, что никак не обойтись мне без краткого, хотя бы в несколько строк пролога к этому театральному эссе. О том, какой открылась мне Япония, — в другой раз. А сейчас о театре Кабуки, в зале которого я оказался волей судьбы. Это был день нескончаемых сюрпризов, начиная с того, что даже в самом престижном районе Токио — Гинза — где, наверное, самый высокий процент интеллигенции, мало кто мог мне и жене объяснить, как добраться до театра Кабуки. Во-первых, вероятно, потому, что большинство японцев, к которым мы обращались, не понимали английского, а во-вторых — и это, по-видимому, главное, — само название этого возникшего еще в начале 17 века театра сегодня уже мало что говорит новому поколению. И в первую очередь молодому поколению, живущему в мире других ценностей, особенно, если принять во внимание, что современная Япония — это как минимум 21 век, чтобы не сказать сильнее. При ее достижениях на путях стремительной технической революции — это, может быть, уже 22 век, настолько ее цивилизация обогнала весь мир.

В общем, можно было вполне представить, что, разыскав наконец Кабуки, мы окажемся в полупустом зале, с приткнувшимся в нем древними старичками, выходцами из давно забытых эпох прошлого. Но тут поджидал нас новый сюрприз: зал театра даже в этот немодный, дневной час был набит до отказа. И, как мне показалось, людьми всех поколений и возрастов, к тому же заплативших за билет на двухчасовой спектакль в среднем по 16000 — 17000 йен (что равнялось нашим 140 — 150 долларам).

Наличных 300 долларов у нас с женой просто не оказалось. Однако день не мог состоять из одних неприятностей. Как выяснилось, существует шанс попасть на галерку Кабуки, правда, на один только акт — по 500 йен за билет — вполне демократичная цена, установленная для прилудших бродяг-туристов, студентов без гроша в кармане, театралов-пенсионеров и прочих неимущего статуса лиц, испытывавших, несмотря на пустые карманы, весьма сильное тяготение к культуре. Так я оказался на спектакле

Цуруа Намбоки, который был назван в англоязычной театральной программке мастером драматургии о «темных, сардонических заговорах».

По понятным причинам название пьесы по-японски приводить не буду. В переводе на английский это было нечто близкое к «Верности самураю». Сюжет, как я вычитал в той же программке, был как будто предельно прост, и в то же время, как это часто бывает на сцене Кабуки, достаточно замысловат.

Гейша по имени Коман сделала татуировку, которая представляла собой клятву Богу о том, что она посвятит свою жизнь и судьбу самураю Генгобею. Клятва, однако, не помешала ей завести любовника, которым стал простой лодочник по имени Сангоро. Задумав обольстить Сангоро и при этом остаться чистой перед Богом, Коман добавляет к своей татуировке несколько строк, благодаря чему последняя из клятвы верности самураю превращается в клятву верности любви. Генгобей, вне себя от гнева, намерен убить предательницу Коман. Но в это время лодочнику Сангоро становится известно, что самурай принадлежит семье, перед которой он, Сангоро, в большом долгу. И чтобы искупить перед этой семьей вину, он решает покончить жизнь самоубийством.

Как утверждается в программке, пьеса исполнена черного юмора и иронического отношения к жизни — именно эти ее качества, соответствующие традициям театра Кабуки, принесли широкую известность ее автору Цуруа Намбоки, ставшему мастером «драматургии темных заговоров».

Но сказать лишь это о спектаклях Кабуки — это не сказать ничего. Глядя на сцену со своей галерки, я наблюдал изящную и, как я понял, во многом стилизованную игру актеров. Все происходило под аккомпанемент весьма странной для моего слуха музыки, исполняемой на особых и опять же непривычных слуху неких деревянных инструментах. Но странное дело: исполняемые на явно чужой мне японской сцене и пришедшие из седой древности танцы не раздражали меня, как не резали слух впервые услышанные звуки незнакомых инструментов.

Может быть, самое главное, что позволяет Кабуки занять особое место в мировом театральном искусстве, — это гармония сценических форм, когда монологи актеров органически сочетаются с музыкой и танцами. И не только с ними, но и с костюмами актеров, с их гримом, движениями по сцене, звуковыми эффектами, мизансценами, — словом, если можно представить веками складывающийся и бесподобный по своей гармонии ансамбль, то таким ансамблем, вероятно, и является театр Кабуки.

Из всех его элементов, наверное, следует выделить особую в своей грациозности, женственную пластику актеров. Это при том, что в труппу Кабуки вообще, не входят женщины (исключен-

ные еще в давние времена из труппы ради сохранения общественной морали), а только актеры — мужчины, по-японски именуемые «Оннагата». И чем глубже, пластичнее и естественнее вживаются они в свои женские роли, тем выше оценивается публикой и прессой их актерское мастерство.

Впрочем, все не так просто, как это может показаться в моем, как я сам чувствую, наивно-беллетризованном изложении. Восток есть восток. Япония есть Япония. А театр Кабуки — это явление, рожденное в глубочайших недрах ее древней культуры. И я отдаю себе отчет в том, насколько я далек и от этого явления, насколько оно подготовлен к ее восприятию. Чтобы понять обаяние и гармонию Кабуки, нужно, вероятно, родиться и жить внутри этой культуры, жить ее категориями и сформировавшимися на протяжении веков ее особыми представлениями. Иначе, кажется, вообще, невозможно выйти за рамки привычных западных клише и представлений, которыми я в достатке обзавелся за четверть века в эмиграции.

Есть у этого эссе и свое послесловие. О том, что некоторое время назад в Японии вышла небольшая малоформатная книжечка (авторы — Ясуджи Таита и Чиаки Юшита), озаглавленная также, как и знаменитый театр: «Кабуки». Особенность книжечки в том, что она почти вся состоит из фотографий, иллюстрирующих спектакли Кабуки. Не стану комментировать их (думаю, что мне это просто не под силу), а лишь приведу некоторые из иллюстраций, которые, надеюсь, позволят читателям хоть как-то представить себе театр, родившийся много веков назад в недрах исключительно богатой японской культуры.

*В. Петровский*

Токио



Театр Кабуки.  
Сцена из спектакля «Двойное самоубийство в Зонезаки»



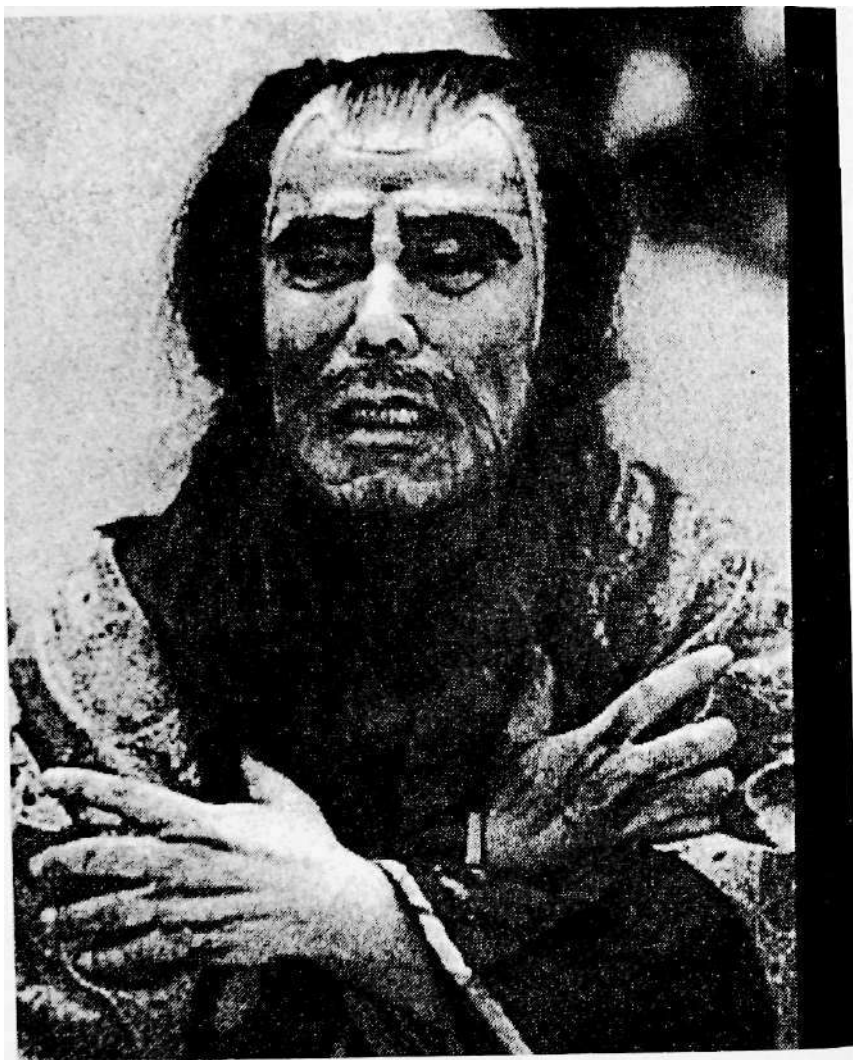
Театр Кабуки. Сцена из спектакля «Подписной лист»



Театр Кабуки. Сцена из спектакля «Военный лагерь в Морицуне»



Театр Кабуки. Сцена из спектакля «Подожди минуту»



Театр Кабуки. Актер Каширо в главной роли в спектакле «Шункан»



Театр Кабуки. Сцена из спектакля «Верные сорок семь»

*БИБЛИОТЕКА БЕСТСЕЛЛЕРОВ "ВРЕМЯ И МЫ"*

*ГОРДОН БРУК-ШЕФЕРД*

**СУДЬБА СОВЕТСКИХ ПЕРЕБЕЖЧИКОВ**

ЭТО КНИГА О ПОБЕГЕ НА ЗАПАД ВИДНЫХ СОВЕТСКИХ РАЗВЕДЧИКОВ, ПАРТИЙНЫХ РАБОТНИКОВ И ДИПЛОМАТОВ (ИГНАТИЯ РЕЙССА, ВАЛЬТЕРА КРИВИЦКОГО, ГРИГОРИЯ БЕСЕДОВСКОГО, ГЕОРГИЯ АГАБЕКОВА, АЛЕКСАНДРА ОРЛОВА, БОРИСА БАЖАНОВА И ДР.), О ИХ СТРЕМЛЕНИИ ОТКРЫТЬ ЗАПАДУ ГЛАЗА НА СТАЛИНСКУЮ РОССИЮ, О ИХ СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ЗАПАДНЫМИ РАЗВЕДКАМИ, О ПРОИСКАХ СОВЕТСКОЙ АГЕНТУРЫ В ЕВРОПЕ И НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ.

*КНИГА РАССКАЗЫВАЕТ, КАК ЗЛОВЕЩАЯ ТЕНЬ РАСПРАВЫ НЕОТСТУПНО ПРЕСЛЕДУЕТ КАЖДОГО СОВЕТСКОГО ПЕРЕБЕЖЧИКА. РАНО ИЛИ ПОЗДНО РУКА СОВЕТСКОЙ ПОЛИЦИИ НАСТИГАЕТ ОДНИХ, И ПЕРЕД ВЕЧНОЙ УГРОЗОЙ РАСПРАВЫ ДО ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ ЖИЗНИ ЖИВУТ ДРУГИЕ.*

ГОРДОН БРУК-ШЕФЕРД — ИЗВЕСТНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ПИСАТЕЛЬ И ПУБЛИЦИСТ — ПРЕДЛАГАЕТ ЧИТАТЕЛЮ ДО СИХ ПОР НЕИЗВЕСТНУЮ, УНИКАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, СОБРАННУЮ ИМ ВО МНОГИХ СТРАНАХ МИРА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ НАД КНИГОЙ.

КНИГА ПЕРЕЖИЛА НЕСКОЛЬКО ИЗДАНИЙ, ПЕРЕВЕДЕНА НА МНОГИЕ ЯЗЫКИ МИРА

*Цена книги — 15 долларов.*

*Заказы и чеки высылать по адресу:*

**"TIME AND WE", 409 HIGHWOOD AVENUE  
LEONIA, NJ 07605, USA  
Tel: (201) 592-6155**

## КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

**БОРИС ХАЗАНОВ** (Геннадий Файбусович). Родился в 1928. После войны, будучи студентом МГУ, был арестован и провел восемь лет в сталинских лагерях. Писательская известность пришла к Борису Хазанову в середине семидесятых годов, когда в журнале «Время и мы» была опубликована его повесть «Час короля», присланная автором из Москвы. В 1982 году Борис Хазанов покинул Москву и поселился в Мюнхене, где в течение нескольких лет редактировал журнал «Страна и мир». Борис Хазанов автор ряда книг, в том числе «Я Воскресение и Жизнь», «Запах звезд», «Миф-Россия» и др. В настоящее время постоянно выступает с художественной прозой и публицистикой, является автором «Литературной газеты» и других периодических изданий.

**ЮРИЙ КУВАЛДИН**. Родился в 1946 году. Автор книг прозы «Улица Мандельштама» (1989), «Философия печали» (1990), «Избушка на елке» (1993), «Так говорил Заратустра» (1994). Юрий Кувалдин — первый с 89 года частный издатель. В его издательстве «Книжный сад» вышли книги Сергея Антонова, Евгения Блажевского, Фазиля Искандера, Кирилла Ковальджи, Льва Копелева, Семена Липкина, Юрия Нагибина, Вл. Новикова, Льва Разгона, Станислава Рассадина, Инны Родянской, Льва Аннинского и других.

**ЛЕОНИД БУЛАНОВ**. Родился в Ленинграде, окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта (1956). Впервые подборка его стихов была напечатана в июне 1983 г. в газете «Новое русское слово». Стихи Леонида Буланова опубликованы в эмигрантских изданиях: «Альманах клуба русских писателей», альманахи «Клуб поэтов» и «Черновик», литературный сборник «Побережье», антология поэзии «Другие», журнал «Вестник». Подборки его стихов регулярно печатаются в газете «Новое русское слово». Буланов — автор двух книг: «Четыре действия» (1992) и «В поисках потерянного пульса» (1996). Эмигрировал в США в 1981 г., живет в Бронксе, работает инженером.

**ИРИНА МАШИНСКАЯ**. Родилась в Москве. Окончила Географический факультет МГУ. Эмигрировала в США в 1991 году. Живет в пригороде Нью-Йорка. Работает учителем естественных наук в средней школе.

До эмиграции Ирина Машинская практически не печаталась. С 1992 года — публикации в литературных изданиях США и Франции: "Русская мысль", «Слово», «Новое русское Слово», «Новый журнал», «Стетоскоп», «Время и мы», «Черновик», «Побе-режье», «Встречи» и др. В 1995 году вышел сборник стихов на русском и английском языках «Потому что мы здесь» (Нью-Йорк). В 1997 году в издательстве «Слово» вышла вторая книга — «После эпитафии». В 1997 году выходит книга переводов из американского поэта Крейга Чури «Параллельное течение». Публикации в современной России: «Звезда» (1997), «Строфы века» (антология), «Вечерняя Москва» (1997), «Вестник современного искусства» (Самара), «Арион» (в печати).

**ЛЕВ АННИНСКИЙ.** Родился в 1934 году, в Ростове-на-Дону. В 1956 году окончил филфак МГУ. Автор шестнадцати книг, среди которых «Ядро ореха» (1965), «Обрученный с идеей» (1971, 1986, 1988), «30-е — 70-е» (1978), «Лев Толстой и кинематограф» (1980), «Лесковское ожерелье» (1982, 1986), «Локти и крылья» (1990), «Билет в рай» (1989), «Серебро и чернь» (1997) и мн. др.

**МАРК ХОЛМЯНСКИЙ.** Родился в 1919 году, в Симбирске. Окончил московский инженерно-строительный институт. С первых дней войны и до ее конца был в действующей армии. Был дважды ранен. После войны работал на исследовательской и педагогической работе. Специализировался в области теории прочности бетона и железобетона. Автор около 150 научных статей и четырех монографий. Доктор технических наук, профессор. В 1992 году эмигрировал в Израиль, живет под Иерусалимом.

**ЕВГЕНИЙ МАНИН.** Родился в 1936 году, в Риге. Окончил историко-филологический институт в Тарту, по специальности истории Древнего Востока. Занимался археологическими изысканиями в Средней Азии. Изучал еврейскую историю и культуру. В США эмигрировал в 1976 году. 1979 год провел в Израиле. В архивах Хайфского музея изучал историю древнего искусства. В настоящее время живет в Филадельфии, систематически выступает в американской периодике.

**ЕФИМ МАНЕВИЧ.** Родился в 1937 году в Москве. Окончил Московский энергетический институт. В 1969 году защитил кандидатскую диссертацию. В 1972 году репатриировался в Израиль. С 1984 года живет в США, работая руководителем проектов в области автоматического управления в крупных американских корпорациях. Регулярно выступает на страницах журнала «Время и мы», газеты «Новое русское слово» и других американских

изданий. В 1990-1995 годах был политическим комментатором американского радио и телевидения на русском языке. Автор книги «Традиция ненависти», посвященной исследованию антисемитизма.

**БОРИС НОСИК.** Родился в 1931 году, в Москве. Окончил факультет журналистики МГУ и институт иностранных языков. Член Союза писателей. Борис Носик известен как писатель-документалист. Среди его очерковых и публицистических книг наибольшую известность получила биография Альберта Швейцера, вышедшая в серии ЖЗЛ и переведенная на иностранные языки. С начала перестройки широко публикуется в России, где сегодня практически напечатаны все произведения Бориса Носика, многие из которых долгие годы ходили в Самиздате. В журнале «Время и мы» опубликованы его повести «Большие птицы», «В турпоходе», «Анна и Амадео», а также многие рассказы.

**АНТОНИН ЛАДИНСКИЙ.** См. Краткое вступление к публикации.

## НОВОСТИ АЭРОФЛОТА

### Российско-французский альянс

5 сентября с.г. в Москве впервые авиакомпания «Аэрофлот — российские международные авиалинии», в лице генерального директора Валерия Окулова, подписала соглашение с авиакомпанией «Эр Франс», в лице делегированного директора Марка Верона. На основании договора обе компании, продолжая заботиться о своих собственных интересах, будут сотрудничать в различных областях пассажирских и грузовых перевозок, техническом обслуживании самолетов, обучении персонала и других совместных программах.

Стороны договорились о совместных грузовых перевозках. Самолет Ил-76ТД начнет выполнять один раз в неделю регулярные грузовые рейсы по маршруту Париж-Москва-Париж. Кроме того, российско-французское соглашение предусматривает координацию расписания пассажирских рейсов и стыковок между Москвой и Парижем, что позволит открыть новые возможности для Аэрофлота в Европе, Африке, Южной и Центральной Америке, странах Карибского бассейна и Юго-Восточной Азии, а для «Эр-Франс» — в России и СНГ.

«Мы ценим усилия Аэрофлота развивать внутренние и международные авиаперевозки и улучшать сервис для пассажиров. Стремление двух больших компаний работать вместе имеет историческое значение. Новый договор открывает новую эру сотрудничества и тем самым способствует развитию всей мировой транспортной системы», — подчеркнул Марк Верон на церемонии подписания соглашения.

### Аэрофлот будет участвовать в EXPO-98 в Португалии

Аэрофлот станет официальным авиаперевозчиком России на Всемирной выставке «Экспо-98». Четырехстороннее соглашение об этом подписали в августе 1997 года руководство Аэрофлота, Российского оргкомитета по подготовке выставки, АО «Интурист» и АО «Ингосстрах».

Всемирная выставка «Экспо-98» пройдет в Лиссабоне с 22 мая по 30 сентября 1998 года. Она посвящена международному году Океана, объявленному ООН. Тема выставки — «Океан. Наследие для будущего». В «Экспо-98» будут участвовать более 130 стран, в том числе и Россия, ООН, Европейский союз, Международный олимпийский комитет и другие международные организации. С российской стороны в выставке предполагается участие более 200 ведомств, предприятий и научных организаций из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Нижнего Новгорода, Иркутска и Владивостока. Ожидается, что за 4 месяца «Экспо-98» посетят около 20 млн. человек из разных стран мира. Аэрофлот станет перевозчиком российских участников.

— Основная задача Аэрофлота — обеспечить увеличенный объем пассажирских и грузовых авиаперевозок в период подготовки и проведения выставки, — отметил генеральный директор Аэрофлота Валерий Окулов после церемонии подписания соглашения. — Предусматриваются дополнительные рейсы, в период выставки на маршруте «Москва — Лиссабон — Москва» будет курсировать вместительный Ил-86 вместо Ту-154. В этом году, кроме традиционных полетов в Лиссабон, Аэрофлот открыл новый регулярный рейс из Москвы в португальский аэропорт Фаро на юге страны, откуда туристы, гости и участники выставки смогут также добраться до Лиссабона.

## Новые аптечки на борту

Аэрофлот на всех своих рейсах ввел новые медицинские аптечки. Теперь, отправляясь в полет, не обязательно брать с собой таблетки и предметы личной гигиены, включая tamраx. Все необходимые медикаменты имеются в переносной бортовой аптечке.

Новый ассортимент лекарств выгодно отличается от предыдущего. Раньше при головной или других болях в полете пассажиру традиционно предлагался анальгин или аспирин. Новый набор лекарств содержит несколько видов болеутоляющих и жаропонижающих, спазмолитических и сосудорасширяющих, противоаллергических и антимикробных препаратов, призванных быстро и качественно устранить недомогание.

Ежедневный контроль и подбор лекарств осуществляет специальная бригада врачей Медицинского центра авиакомпании. Прежде чем попасть в список, каждый препарат тщательно изучался на предмет правильного воздействия на организм в условиях полета. Например, для предупреждения развития воздушной болезни и снятия чувства тошноты достаточно принять одну таблетку «церутала». А для нормализации артериального давления доктора отдали предпочтение «папазолу», так как это лекарство мягкого действия, не требующее последующего врачебного контроля, в отличие от аналогичных гипотензивных и сосудорасширяющих препаратов.

В случае, если в самолете потребуется срочная врачебная помощь, например, принять роды, что иногда случается в пути, в аптечке имеются все вспомогательные средства: от разовых шприцов до системы внутривенных вливаний.

В планах компании ввести специальный набор детской бортовой аптечки и дополнить нынешний набор медикаментами врачебной помощи: стетоскопами и приборами для измерения артериального давления.

## Меню для гурманов: мидии и «Мадам Клико»

В зимнем сезоне 1997 года Аэрофлот предложил своим пассажирам новое меню — более разнообразное и изысканное. В этом году руководство Аэрофлота, понимая, что без качественного рациона не достичь высоких стандартов сервиса, на 25 процентов увеличило расходы на питание на борту, традиционно поставляемое фирмой «Аэромар». Причем, меню изменилось в лучшую сторону не за счет роста цен на билеты. Создано два варианта меню, которые будут меняться ежемесячно.

Благодаря нововведению почти полностью поменялся ассортимент рыбных продуктов в бизнес- и первом классах — пассажиров теперь будут потчевать форелью, осетриной и семгой вместо камбалы и трески, побалуют и копчеными мидиями.

В длительных полетах пассажиров кормят обычно два раза. В первом классе угощают черной икрой, аппетитными канапе, холодными закусками — мясными и рыбными. Здесь и пармская ветчина с дыней, и разнообразные мини-сыры, подобранные контрастно — острый и неострый на одном подносе. На горячее — запеченная рыба, телятина или утка на выбор. К мясным блюдам добавились более тонкие соусы — голландский, с перцем, горчичным зерном. Слегка изменились и гарниры. На завтрак пассажиров трансатлантических рейсов ждут йогурты и омлет со спаржей «кишларен», приготовленный по французскому рецепту, или блины и фруктовый салат. А кому-то придется по душе лазанья.

Согласитесь: вкусный обед не радует душу, если его не дополняют соответствующие напитки. В аэрофлотовском меню к традиционным болгарским винам теперь добавились грузинские вина, первосортные французские коньяки для пассажиров 1 класса — Martell, например. А на наиболее престижных линиях — в города США, в Париж, Лондон, Токио — пассажирам 1 класса предложат французское шампанское «Мадам Клико», а на десерт угостят фруктовым «шашлыком», домашним пирогом с малиной. При перелете в пункты Европы или СНГ можно полакомиться разнообразными пирожными. Одни названия чего стоят — «Святой Оноре», «Вишня с шампанским», «Марджолон», «Тирамизу», есть и более традиционные — торт «Прага», например. И еще одна новость — Аэрофлот поэтапно вводит посуду новой цветовой гаммы. Вместо привычных темно-синих подносов аэрофло-

товские завтраки и обеды сервируются на подносах или в ланч-боксах терракотового цвета, а в первом классе подаются на белом фарфоре. Посуда произведена специально для Аэрофлота голландской фирмой De Ster. Салфетки на подносе стилизованы под хохломскую роспись. «На терракотовом фоне особенно радует глаз свежая зелень — кудрявый салат эндайв, овощные салаты, да и все другие блюда выглядят более аппетитно», — говорит главный консультант фирмы «Аэромар» Лесс Фуллер, который вместе со специалистами Комплекса по обеспечению сервиса Аэрофлота продумывал дизайн блюд и их сочетаемость.

— Намного ли отличаются вкусы российских пассажиров от пассажиров зарубежных авиалиний, обслуживаемых «Аэромаром»?

— «Аэромар» поставляет питание в более чем 100 зарубежных и российских авиакомпаний, пролетающих через аэропорт «Шереметьево», и предлагает авиалиниям около 500 вариантов меню. Могу сказать абсолютно точно — из всех авиакомпаний в Аэрофлоте подаются самые большие порции. Каждая авиакомпания вносит в свое питание национальный колорит. У французов это — знаменитый паштет «пате», у британцев — цыпленок с приправой «карри», в Аэрофлоте — блины с черной икрой. Западные авиалинии заказывают stake tatar — сырое мясо по-татарски. Сырое мясо или бифштекс с кровью, однако, в Аэрофлоте неприемлемы — российский пассажир привык к хорошо проваренным или прожаренным мясным блюдам. Одно могу сказать: 50% продукции Аэромара предназначена Аэрофлоту, и по качеству она абсолютно не отличается от еды, заказываемой иностранными авиакомпаниями.

**Аэрофлот — Российские международные авиалинии возобновляет беспосадочные полеты в Лос-Анджелес, на западное побережье США, на новом самолете Ил-96.**

**Вылет из Шереметьево-2 по субботам. Прилет из Лос-Анджелеса по воскресеньям. Первый, бизнес- и экономический классы обслуживания. Удобные стыковки с рейсами Аэрофлота в Киев и Ереван**

**Билеты в кассах Аэрофлота —**  
**Коровий еаж., 7**  
**Фрунзенская набережная, 4**  
**Енисейская, 19**

**Информация по телефонам: 156-80-19**  
**753-80-30**

**Бронирование: 155-50-45**

## **Новость для пассажиров Аэрофлота**

**Консалтинговые услуги по оформлению полного комплекта выездных документов для граждан России**

**Для тех путешественников, которые не стремятся купить тур, включающий гостиницу, питание, экскурсии.**

**Для тех, кто отправляется за границу к друзьям, коллегам, партнерам.**

**Консалтинговые услуги для иностранцев по оформлению виз и приглашений для въезда в Россию.**

**В авиакассах Аэрофлота на Фрунзенской набережной, 4 (тел. 241-85-00)**

*«Аэрофлот — Российские  
международные авиалинии»  
представляют новый рейс*

с 10 октября 1997 г.  
Москва — Санкт-Петербург — Нью-Йорк  
на Боинге-767

**По пятницам**

Цена на участке «Санкт-Петербург — Нью-Йорк —  
Санкт-Петербург» — от 460 долларов

Вылет из Шереметьево-2 в 7.15  
Прилет в Пулково-2 в 8.55.  
Вылет из Пулково в 9.50.  
Прилет в Нью-Йорк — в 11.15  
Вылет из Нью-Йорка (пн.) в 13.15  
Прилет в Санкт-Петербург (суб.) в 5.50  
Вылет из Санкт-Петербурга в 6.50  
Прилет в Москву в 8-30.

*Бизнес- и экономический классы обслуживания  
Удобный транзит на участке  
«Санкт-Петербург — Москва»  
на рейсы Аэрофлота в Европу и Азию  
(прилет в Шереметьево-2)*

Информация и бронирование  
В Москве: тел. 155-50-45 156-80-19 753-80-30  
Коровий вал, 7,  
Фрунзенская набережная, 4  
Енисейская ул., 19

В Санкт-Петербурге: тел. 123-83-12  
аэропорт «Пулково-1», 3 этаж, офис 10  
или у агентов Аэрофлота в Санкт-Петербурге

**АНДРЕЙ ГРИЦМАН**

**«НИЧЕЙНАЯ ЗЕМЛЯ»**

*Поэтический сборник*

Первая книга автора. Сборник составляют вы-  
бранные стихи, в основном, написанные в Америке  
за последние 5-6 лет. В сборнике три части: стихи,  
связанные с Москвой, «личные» стихи и нью-йоркс-  
кий цикл. Основная энергия стихов этого периода —  
жизнь между двумя мирами. Включено также не-  
сколько свободных переводов из современной аме-  
риканской поэзии. Автор — поэт и эссеист, занима-  
ется американской поэзией. Многие стихи, вошед-  
шие в этот сборник, были опубликованы в русско-  
язычных изданиях в США, а также в России.

**ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПЕТРОПОЛЬ»,  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ, 45 СТР.**

Книгу можно заказать в США по адресу:  
1218 Emerson Ave., Teaneck, NJ 07666,  
или в России в издательстве «Петрополь»,  
Санкт-Петербург, 189620,  
Г.Пушкин, 2, ул. Ломоносова, 30.

Цена книги в США \$4.

**Виктор ПЕРЕЛЬМАН**

**ТЕАТР АБСУРДА**

**Комедийно-философское повествование о  
моих двух эмиграциях. Опыт антимемуаров**

СОДЕРЖАНИЕ:

**ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. РОДИНА, ТЕКСТЫ И Я**

Нью-Йорк; Правительство в изгнании; Шинау; Израиль; Бейт-Бродецкий; Рувен Веритас и другие; Снова Нью-Йорк; «Свободный мир»; Мой иностранный паспорт; Дядя Сол; Под знойным солнцем Тель-Авива; Что нужно бедному еврею?; Дом, в котором я жил.

**ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЗАЛП «АВРОРЫ»**

Инженер Сэм Житницкий; «Оплот Израиля»; Мы жили... Мы ждали; Судьбоносный день; Сага о черемухе.

**ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. НАХМАНИ, 62**

Мой Атлантик-Сити; Лорд Шацман и его персонал; Про Мейерхольда и Ворошилова; Странная штука — жизнь; Лефортовская одиссея; Ленин-Бланк и наша эмиграция; Мать и мачеха; Пир победителей; Облака плывут, облака.

*Книгу можно заказать в редакции «Время и мы».*

"TIME AND WE", 409 HIGHWOOD AVENUE  
LEONIA, NJ 07605, USA  
Tel. (201) 592-6155

Цена книги 10 долларов.  
В книге 254 стр.

**КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА "АНТИКВАРИАТ"**

- И. АКСЕНОВ. Пикассо в окрестности. — 12 долларов.*  
*М. БАХТИН. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и ренессанса. — 36 долларов.*  
*А. БЕЛЫЙ. Христос воскрес. — 5 долларов.*  
*К. ВАТИНОВ. Труды и дни Свистонова. — 10 долларов.*  
*Е. ДУМБАДЗЕ. На службе Чека и Коминтерна. — 10 долларов.*  
*П.П. ЗАВАРЗИН. Работа тайной полиции. — 10 долларов.*  
*А. КОТОМКИН. О чехословацких легионерах в Сибири. — 10 долларов.*  
*П.Н. КРУПЕНСКИЙ. Тайна императора. — 7 долларов.*  
*В.И. ЛЕБЕДЕВ. Борьба русской демократии против большевиков. — 12 долларов.*  
*Н. РЕЗНИКОВА. Пушкин и Собоньская. — 5 долларов.*  
*А.РЕМИЗОВ. Пляс Иродиады. — 12 долларов.*  
*И, СЕВЕРЯНИН. Колокола собора чувств. — 5 долларов.*  
*В. ШКЛОВСКИЙ. Ход коня. — 12 долларов.*  
*В. ШКЛОВСКИЙ. Гамбургский счет. — 15 долларов.*  
*В. ШКЛОВСКИЙ. Сентиментальное путешествие. — 20 долларов.*  
*В. ШКЛОВСКИЙ. Техника писательского ремесла. — 10 долларов.*  
*Э. и О. ШТЕЙН (составители). Чтобы Польша была Польшей. — 9 долларов.*
- Готовится к печати:*  
*В. К РЕЙД (составитель и автор комментариев) . Георгий Иванов — Несобранное. Ориентировочная цена — 25 долларов.*

*Деньги и чеки присылать по адресу:*

**E.SZTEIN'S ANTIQUARY**

594 Chestnut Ridge Rd.

Orange, CT 06477, USA.

## НОВАЯ КНИГА СТИХОВ

*ирины машинской 1*  
**После эпиграфа**

*"...Музыка "после музыки" — после звука и после тишины. Не "лучшие ноты на лучших местах", не "лучшие слова на лучших нотах"— музыка неровного дыхания, на которую и зазвучит отголосок у читателя стихов, т.е. по определению не спортсмена и не любителя бега трусцой, а человека тоже с неровным дыханием..."*

*"...Это как подслушанные трамвайно-вагонные разговоры: без начала, без конца, а ух как интересно!.. "*

*Наталья Горбаневская*

Заказы можно направлять по адресу:

"Слово — Word"  
 139 E.33rd Street #9M  
 New York, NY 10016  
 tel.(212)684-2356  
 тел. в Москве 705 — 38 — 06  
 в С.Петербурге 235-47-98  
 цена \$10

## ЖУРНАЛ «ВРЕМЯ И МЫ» - 1998

УСТАНОВЛЕННЫ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

Стоимость годовой подлиски в США — 63 доллара, с целью экономической поддержки редакции — 69 долларов; для библиотек — 94 доллара

Цена в розничной продаже — 19 долларов.  
 Подписка оплачивается в американских долларах чеками американских банков и иностранных банков, имеющих отделения в США, чеки высылаются по адресу: «Time and We».

409 HIGHWOOD AVENUE, LEONIA, NJ 07605, USA  
 TEL: (201) 592-6155

## ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Фамилия . . . . .  
 Имя . . . . .  
 Адрес . . . . .

Подписной период . . . . .  
 Прошу оформить подписку на журнал «ВРЕМЯ И МЫ» на.....  
 год. Высылать с номера..... Журнал высылать обычной (авиа)  
 почтой по адресу: .....

Подпись.....

304

Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их поводу редакция в переписку не вступает.

Редакция осуществляет стилистическую правку рукописей без дополнительного согласования с авторами.

MAIN OFFICE

409 Highwood Avenue, Leonia, NJ 07605, USA  
(201) 592-6155

На первой странице обложки:  
коллаж Вагрича Бахчаняна

На четвертой странице обложки: Театр Кабуки.  
Сцена из спектакля «Сукероку». Самый популярный из молодых актеров, исполняющих женские роли, Томаса Буро.

